1

а.ВЕЛИЧАНСКИЙ ПЕПЕЛ СЛОВ

а.ВЕЛИЧАНСКИЙ

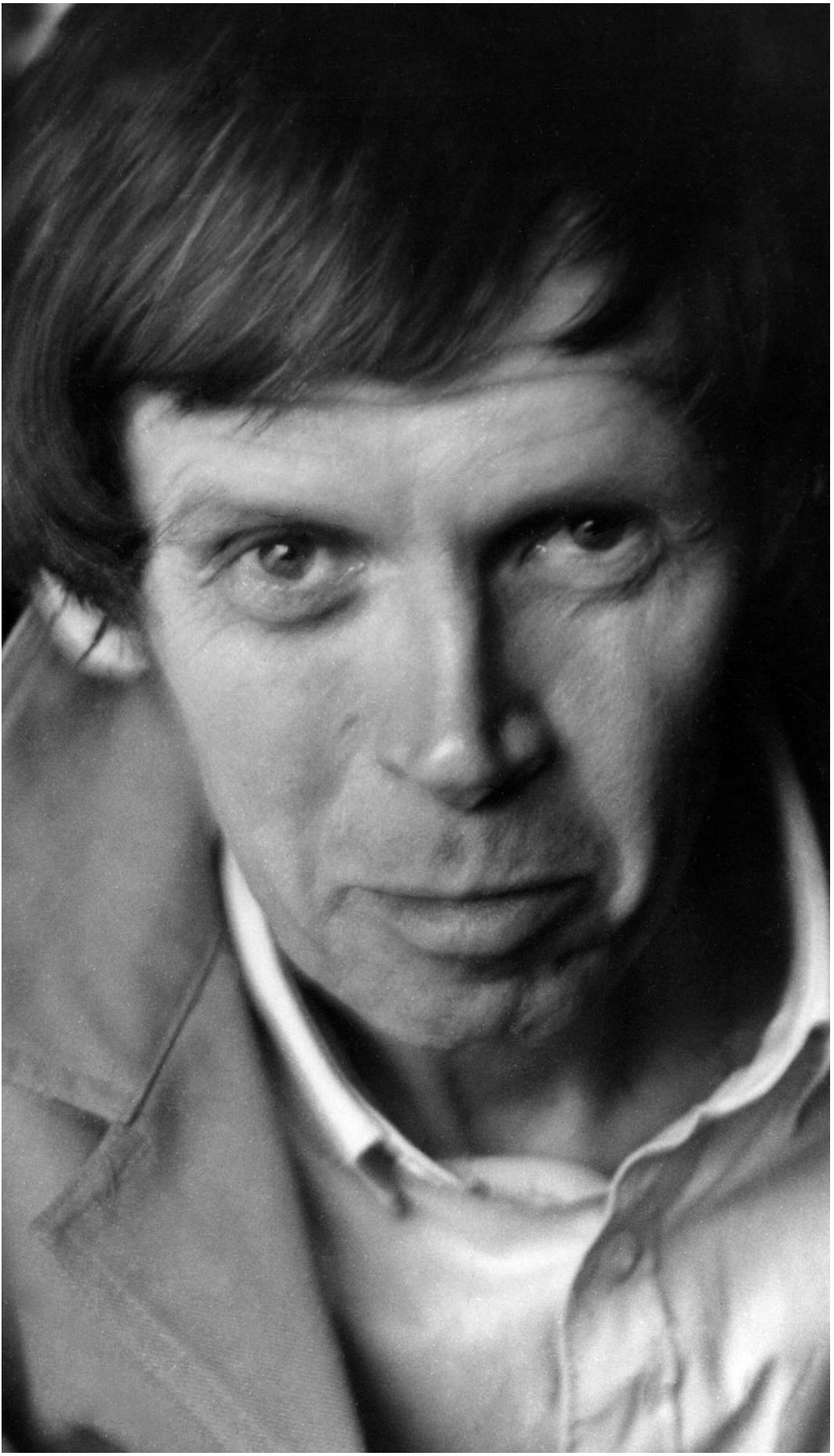
ПЕПЕЛ СЛОВ

1

ПЕПЕЛ СЛОВ

ПЕПЕЛ СЛОВ

Серебрится, яко
расписная змея
кровельная дранка
робкие чешуя —
хоть и не сгорело
дерево дотла
стало его тело
серым, как зола —
будто пламя с'ело,
а память сберегла.



АЛЕКСАНДР ВЕЛИЧАНСКИЙ

ПЕПЕЛ СЛОВ 1

УДК 8
ББК 84.5
В 27

Величанский А.Л.
В 27 Пепел слов. Т. 1. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. – 712 с., ил.

ISBN 978-5-89826-342-3
ISBN 978-5-89826-356-0

Двухтомник «Пепел слов» - наиболее полное издание стихотворений поэта Александра Величанского (1940–1990). За четверть века творческого труда он создал свыше двух десятков стихотворных сборников. Они невелики по объему, но каждый из них – это цельная книга со своим сюжетом, образным строем и композицией.

Творчество А. Величанского отличает разнообразие поэтических жанров, интерес к фольклорной стихии, чуткость к историческим, метафизическим и экзистенциальным аспектам бытия человека. Его поэтика тяготеет к парадоксальному, к смысловой и интеллектуальной напряженности, к слову, дерзающему раздвинуть границы нашего сознания, восприятия и понимания мира.

УДК 8
ББК 84.5

Приносим благодарность Вл. Величанскому, И. Орловой, Вл. Севрюгину за помощь в издании

ISBN 978-5-89826-342-3
ISBN 978-5-89826-356-0

© А.А. Величанский, 2010
© И.В. Орлова, оформление, 2010
© Прогресс-Традиция, 2010

ЗРЯЧИЙ ЗВУК.
ПОЭЗИЯ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИЧАНСКОГО

Почти два десятилетия минуло с тех пор, как ушел из жизни поэт Александр Величанский (1940–1990). Многое изменилось за эти годы. Завершился XX век, наступил век XXI – и «календарный», и «некалендарный», наверное, уже тоже. Советская литература с ее разделением на официальную и неофициальную осталась в далеком прошлом, художественное наследие советской эпохи подверглось радикальному переосмыслению. Сформировались новые поэтические поколения со своими бесспорными и спорными лидерами, вроде бы восстановилась связь времен – литература наконец-то перевернулась с головы на ноги, и в классиках, питающих своим живым словом молодых авторов, оказались действительно те, у кого слов – живое. Но прочитан ли по-настоящему Александр Величанский? Не уверен. Во всяком случае, за минувшие два десятилетия статей о его поэзии было опубликовано, если я не ошибаюсь, ровно две*. Если и ошибаюсь, то ненамного.

Сам Величанский писал: «...славы я не вожделел / эстрадной, всенародной – / признания желая лишь – / признания во всем». Что такое сейчас для поэта «всенародная слава», не очень понятно. Эстрада давно неактуальна. Ну а признание – «признание во всем» – у Величанского было всегда. То, что поэзия Величанского до сих пор не прочитана по-настоящему, – это проблема никак не поэзии Величанского. Это наша проблема – тех, кто живет в начале XXI века.

В 1968 году Александр Твардовский**, сомневающийся в целесообразности опубликования стихов Александра Величанского в журнале «Новый мир», сказал ему: «Простые люди этих стихов не поймут». «Может быть, их дети поймут», – ответил Величанский. Александр Трифонович удовлетворился

* *Слава Лён*. Посмертная слава Величанского // *НЛО*. № 24 (1997). С. 288–303. *Седакова Ольга*. Слово Александра Величанского. Предисловие к книге А. Величанского «Мгновения ока». М.: Прогресс-Традиция, 2005.

** По воспоминаниям Александра Величанского, приведенным в статье Ольги Седаковой.

ответом, и стихи были напечатаны (первая и последняя публикация Величанского в советское время). Сейчас ничто не мешает понять эти стихи – хоть отцам, хоть детям. Давайте же воспользуемся такой возможностью.

Основательно подзабытый и мало кому сейчас понятный феномен «эстрадной поэзии», противопоставленный Величанским собственной позиции в процитированном выше стихотворении из книжки «Непреступный свет» (1986–1987), действительно был в значительной мере тем, от чего ему пришлось отталкиваться в самом начале своей поэтической работы (и не только ему). Определившая «вокальный период в истории российской словесности» «поэзия гражданских поз и формальных псевдооткровений» (как характеризует этот феномен сам Величанский в статье «Грядущий благовест»* – о поэте-«смогисте» Владимире Алейникове) являлась в большой степени суррогатом, субститутом в принципе запрещенной общественно-политической деятельности и собирала огромную аудиторию – не только Политехнического музея, целые дворцы спорта. На поэзию ходили, как на антисталинистские митинги, вот поэзия и была, по сути, митинговой. (Твардовский в том памятном разговоре задал еще один вопрос Величанскому: «Почему у вас нет стихов против Сталина?» «Потому что я никогда не писал в его честь», – последовал ответ.) Митинговость возводилась, понятно, к Маяковскому, и митинговали поэты у его памятника, да вот поэзии даже в самых лиричных хитах поэтической эстрады той поры обычно было куда меньше, чем в самых «митинговых» агитках Маяковского.

От «формальной и смысловой примитивности самозахлебывавшейся риторики вокальной поэзии» и отталкивались поэты, оказавшиеся несколько позднее среди авторов непечатаемой, зато неподцензурной неофициальной литературы, публиковавшейся только в «там» и в «самиздате». Ко времени, когда Величанский формировался как автор, «убогости эстрадных осмыслений» «политехнической поэзии» уже была дана веская альтернатива. Величанский упоминает «ленинградскую»** и «лианозовскую» школы, «уже был сослан грядущий Бродский». Непосредственно на глазах Величанского и при некотором его участии возникала новая альтернатива – поэтическая группа СМОГ, один

* НЛО. № 20 (1996). С. 239–248.

** Очевидно, имеются в виду поэты так называемой филологической школы: Владимир Уфлянд, Михаил Еремин, Сергей Кулле, Леонид Виноградов, Александр Кондратов, Лев Лосев.

из основателей которой, уже упомянутый поэт Владимир Алейников, учился, как и Величанский, на историческом факультете МГУ.

Эту альтернативу Величанский подробно разобрал в статье, посвященной Владимиру Алейникову. И хотя иногда его, с оговорками, причисляли к группе СМОГ, сам Величанский безоговорочно от этой альтернативы дистанцировался. Его собственная поэзия в некоторой степени возникла и как альтернатива «альтернативной» поэзии смогистов, прежде всего Губанова и Алейникова.

«Хотя СМОГ и противопоставлял себя эстрадной поэзии, он делал это на ее же «территории», ее же средствами», – писал Величанский. Сам он категорически не желал ступать на эту территорию. И когда юные, моложе Величанского на 6 лет, Губанов и Алейников уже вовсю сочиняли и выступали, срывая овации, Величанский лишь примеривался к слову, делал первые наброски. Он не хотел, очертя голову, нырять в поэтические «бездны», рассчитывая, что талант «вывезет», да и сама природа его таланта к тому не располагала. «Эстетика внесмыслового откровения» (так Величанский охарактеризовал творческий метод смогистов) была явлением возрастным – и для новой поэзии, и для самих поэтов, а Величанский из этого возраста уже вышел. Его как раз интересовал смысл, и тут предстояла очень и очень кропотливая работа.

Отказавшись от эскапистской, по сути, стратегии «лирического захлеба», не нуждающейся в исторической конкретности, Величанский настраивает свое поэтическое зрение на окружающую реальность с предельным вниманием к бытовым деталям:

Николай, убравши сено,
загулял и запил сильно.
На слободке мотоцикл
залетел вчера в кювет.

Разумеется, у Величанского не просто быт, фиксирующий некие пространственно-временные координаты (процитированные стихи даже озаглавлены датой – «Лето 1953 года»). У Величанского историческое бытие, укорененность человека в могучем имперсональном потоке, который рано или поздно выбросит тебя на берег, но пока живешь – барахтайся:

За волной исчезнет берег моря,
за волной соседняя волна
исчезает, и за ней видна
только горная полоска надо мною.

Так за веком исчезает век,
так за годом исчезают годы,
и плывет волне своей в угоду
дальновидный с виду, голый человек.

Вот реальный горизонт человеческого бытия, «голого человека», который «плывет» в угоду вовсе не себе, а «волне», вот цена его дальновидности. Но волна все же у каждого своя, и в какой-то степени человек – ее причина, он, что называется, гонит волну, возмущая историческое бытие, а из этих-то персональных возмущений историческое бытие и состоит, ими формируется, в них обретает *форму*.
На этом процессе формообразования и фокусируется поэтическая оптика Величанского. «Времени невидимая твердь» – так называется его первая книга. Поэт делает твердь времени, истории «видимой», физически ощутимой:

Наверное, я направлялся в школу,
а в рыжей яме проводили газ,
и на отвале этой ямы голой
сидел мужик. И я запомнил нас.

Конечно, «твердь времени» стирается, осыпается, людские толпы редеют, растворяются в историческом потоке, несущем забвение:

Стерлась времени невидимая твердь:
через травы, временно безлюдные,
Боголюбову едва ль теперь видней
Нерль, чем Нерли видно Боголюбово.

Придут, понятно, другие толпы – может, и сюда, на травы «временно безлюдные». Но индивидуальное бытие «голого человека» слишком хрупко и краткосрочно, в сущности, мгновенно:

Вспыхнет молния одна:
на подрамнике окна
нарисует дом, ограду,
два соседних дома кряду,
человека под водой:
он бежит через природу –
он уже немолодой,
но бежит и ищет броду
и погаснет с наступившей темнотой.

Относительно собственной природы времени у человека не может быть надежных сведений:

Плывет волна, как опытный пловец,
куда-нивесть, но лишь бы плыть ей,
и кажется, что будущего весть
уже исчерпана ее упорной прытью.

Но прошлое – оно уводит вдаль
и где-то засыпает без просыпу...
и кажется, внутри волны такая же вода,
как и внутри у самой мертвой зыби.

Все мы «погаснем с наступившей темнотой», но все равно удел человека – барахтаться, искать броду, гнать волну бытия, а уж что там внутри волны, неважно. Наверное, там лишь забвение «мертвой зыби», но это ничего не меняет.
«Удел» – название второй книги Величанского. Задаваясь в своих стихах фундаментальными экзистенциальными вопросами, обсуждая удел человека, Величанский определяется и со способом обсуждения этих вопросов в поэзии, уделом поэта. То есть он отвечает на вопрос о самой природе поэта и поэтического ремесла, относительно чего у человека как раз могут быть более-менее надежные сведения. Книга «Удел» открывается программным стихотворением:

Крепчайшую вяжите сеть,
но бойтесь умысла, улавливая суть
(у истины запаса нет съестного:
у истины судьба – на волоске висеть).
Пусть вытекает слово,
как море из улова,
забыв свою оставшуюся сельдь.

Противопоставляя «эстетике внесмыслового откровения», «лирического захлеба» ясную и беспощадно трезвую рациональность, Величанский прекрасно понимает и правоту смогистов, бунтовавших даже не против заидеологизированности советской поэзии, а против ее унылой утилитарности, невыносимой банальности ее «версифицированной публицистики». «Непременный атрибут поэзии – сокровенность, – пишет Величанский в своих заметках о задачах поэтического перевода. – Каждое подлинно поэтическое произведение есть тайна... Несмотря на то что поэзия живет языком, она, если можно так выразиться, выше, шире языка... Поэзия есть средство сообщения душ, она словами

выражает, как это ни кажется парадоксально, невыразимое словами существо жизни человеческих душ. Сокровенное открывается в откровении, которым и старается быть подлинная поэзия».

В стихотворении «Удел» говорится именно об этой парадоксальной природе поэзии: способности выражать словами невыразимое словами. «Слово», язык – это море, которое «вытекает» из сплетенной поэтом сети стихотворения, чтобы оставить «суть-сельдь», свидетельствующую об истине человеческого бытия. Сеть должна быть «крепчайшей», иначе суть не уловишь. И впрок не напасешься: поэтическое ремесло – не промышленное производство, «у истины запаса нет съестного», сеть каждый раз приходится вязать заново. И можно представить, насколько «суть-сельдь», свидетельствующая об истине, хрупка и, в сущности, неуловима, если судьба самой истины – «на волоске висеть».

Откровение – это выход за пределы языка. Надо перестать болтать языком и услышать то, о чем язык молчит, что как раз и является заложенной в него изначально искомой сутью, откровением:

Язык сначала жил один:
один он по полю ходил
и по нехоженым лесам
один метался сам.

В горах ему поклоны било эхо,
в ручье вода разучивала трель,
и ветер плел свою траву, как враль,
и пересмешник помирал от смеха.

Потом язык нашел возделанных людей –
он впутался в их бороды и руки,
и сразу поглупел, помолодел –
доныне все к его молчанью глухи.

Задача поэта – прочистить «возделанным людям» уши, помочь им услышать «молчание языка», в котором вся суть, свидетельствующая об истине человеческого бытия.

Надо услышать *звук*, не то, о чем язык болтает, а то, что в нем звучит, когда наступает тишина:

Вы мне на слово не верьте –
верьте мне на звук
иль на отзвук лучше. Ведь я
сам лишь отзвук. Слух

всколыхнется, как разлука –
отзыв тайных уз –
и заблещут слитки звука,
вспыхнут сгустки уст.

«Дар речи – дар слышанья, слуха», – формулирует Величанский. И даже более того:

Непричастность к речи вязкой –
дар. Голосовые связки
не связуют звук
с провещавшим вдруг:
так заблещет влагой линий
тело лепестка –
из воды, безмозглой глины,
скудного песка.

Поэт «непричастен речи вязкой», потому что он действует посредством языка, но за его пределами. Поэт, как алхимик, превращает болтливую, путающуюся в «бородах и руках» речь в золотые «слитки звука». И голосовые связки, артикуляция не имеют к этому прямого отношения.
Величанский дает присягу верности звуку, «безъязыкой музыке»:

Звук, я чист перед тобою,
при моих грехах –
кто нас разольет водою
хоть на вздох и прах?
Безъязыкая музыка,
что тебя я без? –
атмосферы ль синей зыбка
или мрак небес?
Но, разумеется, это особый звук – звук, полный смысла.
«Зрячий», как у летучей мыши:
Удел летучей мыши:
в тисках ночных округ
всё мечется, и свыше
ей дан лишь зрячий звук.
А днем средь вечной грязи
в звучанья кладовой
она, подобно фразе,
висит вниз головой.

Удел поэта в какой-то степени такой же: видеть «звуком», потаенным ночным зрением, вырываясь, когда потребует

к священной жертве Апполон, из дневной «вечной грязи» стандартных фраз, висящих вниз головой в пыльной кладовке языка.

Смысл и звук – вот два полюса, формирующих все пространство поэзии Величанского. В предисловии к книге эпиграмм «Охота на эхо» (1981), объясняя свой интерес к этому классическому жанру, Величанский говорит о себе как об авторе, «всю жизнь выбиравшем между полной бессмыслицей мелодической цезуры и поэзией смысла, где даже цезура семантически перенасыщена». Он несколько утрирует, но и в самом деле эти два полюса, разность их потенциалов, создают огромное напряжение в стихах Величанского, пронизывают их высокоэнергетическими силовыми линиями, пробивающими звучными искрами смысла все возможные языковые зазоры – между строчками, синтагмами, отдельными словами, фонемами... Смысл у Величанского никогда не бывает плоским, одномерным, а звук – бессмысленно самоупоенным. «Блаженное, бессмысленное слово» – это не про Величанского. Он берет слова такими, какие они есть, а состояние их, надо сказать, было тогда весьма специфическим.

Здесь придется говорить уже не о том, о чем язык молчит, а как раз о том, о чем он болтает. Ведь другого материала у поэта нет. Впрочем, другого материала и не надо. Если бы люди не болтали языком, не о чем (и не чем) было бы и говорить. Это ведь тот самый шум времени, который делает бытие человека историчным, а, значит, разворачивает пространственно-временную перспективу, давая возможность прислушаться к первородному молчанию языка, приобщиться к тайне, свидетельствовать об истине, внять откровению. Это как раз то, от чего отмахнулись смогисты и на чем сфокусировался Величанский.

Михаил Айзенберг писал недавно о стиховом «разгоне» абсурдного и изначально лишенного тайны советского языка (понимаемого не как новояз, но как «вся совокупность семантических, синтаксических и прочих мутаций») до такой скорости, что меняется, как в циклотроне, сама физическая структура его материи. В результате носители этого языка обретают сверхчувствительное «ночное» зрение (вспомним «летучую мышь» Величанского), когда «обыденность, банальность перестают быть чем-то известным и понятным, становятся самой страшной сказкой и неразрешимой загадкой»*. Похоже, подобная релятивистская физика советского

* *Михаил Айзенберг.* «Стихи в темноте». OpenSpace.ru http://www.openspace.ru/literature/projects/130/details/6684/ 18.12.2008.

языка – родовое качество всей поэтической плеяды «бронзового века», несоветских поэтов последних десятилетий советской эпохи. И Величанский был среди первых, у кого получился столь удивительный результат.

Наверное, такие релятивистские эффекты возможны с любым языком. И вообще-то в поэзии они просто требуются – для любого языка, в том числе – и даже в первую очередь – для языка поэтических универсалий, на котором пытались объясняться смогисты. Но решающий художественный успех, судя по всему, достигается, когда высочайшая поэтическая энергия направляется на тот исторически-конкретный язык, чьим носителем ты являешься. Правда, ощутить, осознать свою историческую конкретность – это и впрямь целая история, эпохальная в буквальном смысле слова проблема, решаемая порой не одним, а несколькими поэтическими поколениями.

У Величанского в книге 1980 г. «Инверсии» есть такое стихотворение:

Рос я при социализме
победившем. Поздно в жизни
я очнулся. Звук
изо всех наук
поздно выбрав понаслышке,
я с тех пор поднесь –
весь – вокзальная одышка:
опоздал... конец.

Сходные мотивы звучали и у других поэтов, выросших «при социализме победившем», например у Кривулина, Гандлевского. «В чрезвычайной стране, в век сознаний и душ геноцида / целя не в бровь и не в глаз, нас породили отцы» – так характеризует свое поколение Величанский в книге «Охота на эхо». Тоталитарная промывка мозгов, «сознаний и душ геноцид» никого не миновали. От этого действительно требовалось «очнуться». Кому-то удавалось прийти в себя, к своему «звуку» раньше, кому-то позже, но с неизбежным опозданием, «временным лагом», и «понаслышке», то есть не естественно, органично, с «молоком матери», а с чужих слов. Это мучило потом всю жизнь. Приобщившись к утраченному раю не официального, советского, а истинного искусства, обычно персонифицируемому великими фигурами серебряного века, поэт ощущал свою «советскость» как родовое проклятье, а себя – изгнанным из рая, отверженным в мире высокого искусства: «опоздал... конец». И, однако же, этот чисто психологический комплекс неполноценности способ-

ствовал преодолению катастрофической культурной ситуации – тем, что давал хоть какую-то точку опоры, основу для поисков собственного языка.

То, что сейчас кажется очевидным, вовсе не являлось таковым 40–50 лет назад. Наоборот, эскапистская стратегия игнорирования советского абсурда, явленная, в частности, смогистами, выглядела совершенно естественной и единственно возможной. Лианозовская «барачная» поэзия и некоторые аналогичные опыты в Ленинграде воспринимались как радикальный авангард, а то и вовсе как политическая сатира, не имеющая прямого отношения к высокой поэтической традиции. Тем не менее Величанский с самого начала отвергает эскапистский языковой пуризм (на практике означающий актуализацию на собственном опыте языка поэтических универсалий в одной из его позднемодернистских версий), решительно открываясь навстречу советской языковой убогости и ущербности, а значит и шуму времени. Величанскому важен звук – ничего не попишешь, раз звук у этого времени такой.

Ну а дальше включилась та самая поэтическая физика высоких энергий, разгоняющая советский язык на звукосмысловом циклотроне вечного возвращения к исходному молчанию до таких, например, лирических шедевров, как стихотворение «Снегопад»:

Закат за осиновой сетью померк.
И лед выступает дыханья поверх.
И яркая щель, что ведет в магазин
всё ярче – с исходом небес и осин.

И снег заскрипел высоко в небесах
и падал потом, попадая впросак,
как в чашку лохматую сахар-песок –
исчез на губах, на ресницах просох.

Озимые люди по избам сидят.
Спасибо, соседи когда посетят:
ведь время – не сахар, и сердце – не лёд,
и снежная баба за водкой идет.

«Яркая щель» то и дело распахивающейся и закрывающейся в снежных сумерках двери винного отдела, «сахар-песок» по рублю за килограмм из того же сельпо, «озимые», которые бесконечно не то сеяли, не то жали по радио-телевизору, ну и, конечно, монументальный образ «снежной бабы» с бутылкой водки (своего рода девушка с веслом) – все это на-

столько же родное, насколько и советское. А речь-то ведется об абсолютно вроде бы невозможных в советском мире, слишком глубоких и тонких для него вещах. Оказывается, в полном соответствии с парадоксальной природой поэзии, все возможно, но, разумеется, не в убогом советском универсуме, существовавшем лишь как воля и представление партийной организации и партийной литературы, но в реальном времени-пространстве конкретной – в данном случае советской – эпохи.

Острота восприятия современной языковой ситуации, речевая точность на грани документальности сближали Величанского с лианозовским конкретизмом, что совершенно очевидно, например, в цикле «Лето 1953 года», где даже «слободка» упоминается, сразу же отсылая к красочным примитивистским лубкам Евгения Кропивницкого. «Барачность», бытописание советской жизни не чужды Величанскому, но, естественно, не в той степени, как Холину и Сапгиру, и не с такой эпичностью. Величанскому ближе Вс. Некрасов, его номинативно-предметный, игровой лиризм («детский случай») и его живописность:

Есть два дуба – «Близнецы» –
вблизости от магазина.
Ивы – полные корзины.
И под вечер под осинами
небо начало цвести.

Пейзажная лирика Величанского и Некрасова – явления в русской поэзии одного уровня, высшего, и внутренне глубоко родственные. Это стихи, возникшие из общей речевой ситуации сходным образом и с близкой образностью:

Длинный вечер через речку
перекинулся мостками,
и береза – белоручка
в черный ельник не идет,
за березою – деревня,
но деревня не простая:
в ней проживши месяц ровно,
мы запомнили ее.

(*Величанский, 1966*)

Серый, серый ветер
Тротуары вытер
Происходит вечер
Без особых вычур

Без особых штучек
И на восемь строчек
За домами туча
Темная как ночь
(*Вс. Некрасов, 1959*)

Конечно, Некрасов уйдет потом очень глубоко – глубже всех – в разговорную речь, разработав уникальную поэтику говорного, интонационного верлибра, Величанский не был и не будет столь эстетически радикален, как лианозовцы, но генетическое художественное родство сохранится.
Пейзаж у Величанского (неважно, городской или загородный) одновременно и социален, и экзистенциален. Общее смысловое, интеллектуальное напряжение не оставляет Величанского и в самых мирных картинах, выводя на философские обобщения как в цитировавшихся выше стихотворениях «За волной исчезнет берег моря» и «Вспыхнет молния одна». Величанский, глядя на любой пейзаж и любуясь им, пытается *понять* – и пейзаж, его место в общей картине бытия, и характер своего любования:

Летней ночью всё невнятно:
листьев паюсные пятна,
мышь летучая окошек
растопырила крыла,
двор пустынной белой тенью перекошен.
Всё существованье облегла
полутень небытия пустого –
полусвета полумгла,
что понятна только с полуслова.

«Полуслово» – еще один образ из ряда «молчащего языка», «зрячего звука», «безъязыкой музыки». Разумеется, ничего общего с импрессионизмом, поэзией летучих впечатлений, недомолвок и намеков. И в самых семантически сложных, поздних стихах Величанского царит полная языковая ясность: все доказано и досказано, домысливать нечего. Думать, мыслить – да, надо, но не домысливать. Может быть, поэтому в предельно сжатых, лаконичных стихотворениях Величанского, в том числе пейзажных, так просторно читателю, так легко и естественно дышится:

Мои стихи короче
июньской белой ночи,
но долгим свежим сумраком окружены они.
И вы о них мечтали

среди стекла и стали
в казенные безжизненные дни.

Ему действительно удавалось воплотить в слове всю свежесть сумрака «июньской белой ночи» – но именно потому, что это слово ни на секунду не теряло из виду «казенные безжизненные дни», не пыталось им себя противопоставить, а просто выполняло свою речевую работу, оставаясь таким, какое оно есть. То есть это слово было *непридуманное*, и сохранить его непридуманность являлось первейшей задачей автора – только так можно было реализовать и другие, свои, авторские виды на слово.

Сходный эффект возникает в картинах Эрика Булатова и Олега Васильева, когда взятый из окружающей ральности ярко маркированный социальный знак (зачастую как раз слово) формирует такое пространство, в котором изображение (к примеру, пейзаж) становится *непридуманным*, а значит, по-настоящему живым, способным передать и авторское состояние, и красоту живого мира. Известно, как важна живопись Э. Булатова и О. Васильева для поэзии Вс. Некрасова и как важна поэзия Вс. Некрасова для живописи Э. Булатова и О. Васильева. По сути, Булатов, Васильев, Некрасов – цельная художественно-поэтическая группа, занимающая важное место в русском искусстве последних десятилетий XX века и начала века XXI. В том же ряду логично упоминать и А. Величанского, который, конечно, был сам по себе, но, по сути, на тех же художественных путях и в непосредственной взаимообогощающей творческой (и личной) близости с этой группой.

Книга стихов Величанского 1981–1983 гг. «Бездонный челн» открывается посвящением: «Э. Булатову, с которым я встретился в это прощальное время 5.9.1983». Некрасов встретился с Булатовым несколько раньше, но и до встречи они двигались в одном направлении, которое вскоре получило название «московский концептуализм». У Величанского в уже упоминавшейся книге эпиграмм «Охота на эхо» (1981) есть такое высказывание: «О, концептуализм! – не брак – ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ. / И по расчету лишь на столь вожделенный успех». Концептуалистом Величанский себя точно не считал. Считал ли он концептуалистами Некрасова и Булатова – большой вопрос. Что вообще следует считать в русском искусстве концептуализмом – вопрос отдельный и тоже не такой уж простой. Но «любви по расчету» среди тех, кто связывал и связывает себя с концептуализмом, и впрямь хватало. И тем ценнее опыт фактических основателей этого художественного течения, которые на самом деле

ничего не основывали, а просто делали свое дело – так, как требовали интересы этого дела.
И нет ничего удивительного в том, что интересы антиконцептуалиста Величанского совпали с интересами классиков концептуализма – Некрасова, Булатова, Васильева. Ведь по большому счету заняты они были одним делом, действовали в тех же условиях и получили близкие результаты.
В книге «Вплоть» у Величанского есть стихотворение «Улица Красикова», написанное по мотивам одноименной картины Булатова:

Снизойдя до нашей прозы
в тень, отбрасывают тень
внеслужебные березы,
внеслужебная сирень,
и, обтянутые в ситцы
до мучных советских плеч,
внеслужебные девицы
движутся себе навстречь.

Величанский увидел в принципиально случайных персонажах картины Булатова – обычных прохожих, спешащих утром на работу, на службу вдоль унылого забора к бодро шагающему с ними в ногу Ленину с огромного уличного плаката – своих героинь из книги «Подземная нимфа» (1977), гетевско-блоковскую вечную женственность, загнанную в катакомбы метро, в давку часа пик, в «людское тесто». Вечная женственность может быть и из этого теста, «обтянутая в ситцы до мучных советских плеч». Картина Булатова – обезличенное (все прохожие изображены со спины) тотально социальное пространство, прорываемое агрессивным идеологическим знаком – шагающим, словно из параллельного мира (хотя и в ногу с прохожими), из каких-то дверей, окна в другое измерение, плакатным Лениным. Разбалансированное таким образом пространство тут же становится иным, больше социального, приобретает другой баланс, иную природу – «внеслужебную», и спешащие на службу девицы тоже превращаются во «внеслужебных». Примерно то же самое происходит в книге «Подземная нифма», когда в разные жестокие романсы на советский лад, в почти документальное психологически-бытовое повествование вплетается язык библейского эпоса, язык Иакова, Рахили, Ревекки, и советский язык, порой данный Величанским совсем по-концептуалистски, как прямая цитата, преображается: оказывается, что это один язык и один сюжет, социальное оборачивается экзистенциальным.

«Улица Красикова» получила развитие в другом стихотворении книги «Вплоть», образовав своего рода диптих:

Внеслужебные деревья.
Внеслужебная вода.
Первых листьев оперенье
внеслужебно, как всегда.
Внеслужебны облак гребни.
Два по слякоти следа.
Только люди внеслужебны
не бывают никогда.

Здесь подсказанное картиной Булатова ключевое слово дает мысли Величанского новый поворот. «Внеслужебность» – выход за пределы социального к экзистенциальному и к красоте, в том числе к красоте природы, живого мира. Но человек социален, а современный человек социален тотально (поздний советский тоталитаризм – лишь частный и менее комфортный, менее консьюмеристский случай такой тотальности), и у нас нет иной точки зрения, кроме как из своей социальности. Деревья, талая вода, первые листья могут быть «внеслужебными», человек – нет. Это с одной стороны. С другой – а кто способен увидеть красоту живого мира, «внеслужебность» деревьев, талой воды, первых листьев? Только человек – и благодаря как раз тому, что «люди внеслужебны не бывают никогда», то есть занимают внешнюю живой природе точку зрения. Но увидеть красоту – значит выйти за пределы социального к экзистенциальному, оттолкнувшись от своей повседневной, внешней по отношению к красоте точке зрения, заняв точку зрения иную, «внеслужебную». И тут речь ведется уже не о советской «службе», а об экзистенциальном служении, постоянном ощущении онтологического горизонта, которое присуще человеку вне зависимости от того, видит ли он линию этого горизонта, или она наглухо закрыта от него тотальной социальностью (как в картине Булатова «Горизонт»). «Люди внеслужебны не бывают никогда» еще и в этом смысле.

Поэзия, вообще искусство, демонстрируя парадоксальную способность выражать невыразимое, оказываются возможными благодаря парадоксальной способности человека, оставаясь тотально социальным, выходить за пределы социального. Выход за пределы социального осуществляется парадоксальным выходом за пределы языка, что делается возможным благодаря парадоксальной природе языка, который, с одной стороны, тотально социален, с другой – является «домом человеческого бытия». Осознав и декларировав

в самом начале своего творческого пути принципиальную парадоксальность поэзии и языка, Величанский сформировал оригинальную звукосмысловую поэтику, чуждую «лирического захлеба», которая вполне логично привела его к жанру тяготеющей к парадоксальному афоризму философско-лирической миниатюры:

Не глупая игра в лото,
где цифры совпадут едва ли –
нет, неожиданность есть то,
что мы всю жизнь невольно ждали.

А потому не сочиняй,
не фантазируй своевольно –
и так живем мы невзначай,
и с нас случайностей довольно.

С точки зрения логики сплошной парадокс: жизнь – не игра в лото, где совпадение цифр определяет случай, поскольку любая неожиданность в жизни – это то, чего мы ждали, и в то же время своевольничать бессмысленно, потому что вся жизнь состоит из случайностей. Однако вполне понятно, что хотел сказать Величанский. И сказано это настолько убедительно, что не поспоришь. Между прочим, «не сочиняй, не фантазируй своевольно» адресовано еще и поэтам, и самому себе как поэту – это выражение все той же осознанной установки на непридуманное слово: «дар речи – дар слышанья, слуха».
Как правило, интеллектуально-философские парадоксы формируются и формулируются Величанским как парадоксы языковые, возникающие из каламбура, омонимии, вообще, ,полисемантики. Величанский постоянно готов на игру словами, даже в самых лиричных и программных своих вещах:

Душа моя! – гулять бы ей на воле.
А мне б ее искать, как ветра в поле –
в полях, в которых сколько не паши
минувший тлен, не встретишь ни души.

Фразеологические значения сталкиваются с лексическими, языковая метафора тут же реализуется в поэтической, слова цепляются за слова, звуки за звуки... Понятно, что такая техника письма – тоже одно из следствий принципиальной языковой открытости, стремления брать слово таким, как оно есть, то есть отчужденным, как бы анонимным, неавторским, зато со всем его семантическим полем и функциональной, речевой конкретностью. Разумеется, прямая игра сло-

вами и разговорная речь в поэтике Величанского играют не столь решающую роль, как, скажем, у того же Вс. Некрасова, но Величанский скуп на поэтические красоты и риторику не меньше минималиста Некрасова, и игра слов, пусть не столь каламбурная, плетение словес – ажурное, тонкое, но порой весьма прихотливое – главное выразительное средство Величанского. В каком-то смысле каждое его стихотворение – игра слов, оборачивающаяся откровением:

А истина? – а истина –
не лабиринт крота –
как нагота таинственна,
проста, как нагота –
она умом незрячим
окутывает нас,
мы ж прячем ее, прячем...
но как-то напоказ.

Лирическая миниатюра, преобладающий, «фирменный» жанр Величанского, дополняется изрядным количеством повествовательных, балладных текстов, игра и парадоксальность в которых переносится из философско-лирической плоскости в сюжетно-драматическую. Однако и самые пространные баллады Величанского сохраняют те же качества предельной семантической сжатости и лаконичности («мои стихи короче июньской белой ночи») за счет простоты строфической структуры и документальной лапидарности рассказа, зачастую ведущегося от лица персонажа.

Четкая структурированность каждого текста Величанского распространяется и на весь «метатекст» – полный корпус его поэтических сочинений. Величанский писал книгами, создав за четверть века свыше двух десятков стихотворных сборников. В 1989–1991 гг. большая их часть была издана за счет средств автора и спонсора Д.А. Орлова – всего 7 книг, в некоторых под одной обложкой по нескольку сборников. Последняя книга «Вплоть» (1991), куда вошли авторские сборники «Мгновения ока» (1983–1985), «Непреступный свет» (1986–1987), и собственно «Вплоть» (1984–1989) – уже посмертное издание.

Было также прижизненное издание в еще советском «Современнике», небольшое избранное под названием «Времени невидимая твердь» (1990). И две книги, составленные вдовой поэта Е.Д. Горжевской и выпущенные издательством «Прогресс-Традиция» мизерным тиражом (500 экз.) уже в новом веке, – «Охота на эхо» (2000, стихи и переводы), «Мгновения ока» (2005, избранная лирика).

Некоторые сборники Величанского невелики по объему, но все равно каждый раз перед нами цельная книга со своим сюжетом, образным строем, композицией. В ряде случаев «книгообразующим» фактором является жанр, определенная стилистика, а порой даже некий стилистический прием. Например, книга эпиграмм «Охота на эхо». Или «Инверсии», где название сборнику дал именно положенный в его основу стилистический прием. Или сборник «Непреступный свет» (1986–1987), снабженный подзаголовком: «Книга открытых сравнений», – цикл текстов, построенных по общей схеме, где каждое стихотворение представляет собой лишь один, первый, элемент сравнительной синтаксической конструкции «как – вот так и»:

О, НЕПРЕСТУПНЫЙ СВЕТ – пред ним
мы все, как есть, слепые –
и тот, кто честно слеп, и тот,
кто зрячим мнит себя,
вот так и...

Бывало, что Величанский писал пару книг параллельно, но обычно книги возникали и создавались последовательно, и автор очень основательно, досконально разрабатывал новые пласты своего творчества, новые темы и мотивы и новые выразительные средства, которые потом закреплялись в его художественном арсенале и применялись по мере надобности. Так, «Росстань» (1979–1980) позволила Величанскому определиться относительно так называемых фольклорных мотивов и приемов в русской поэтической традиции. Позиция Величанского по этому вопросу, выраженная им в предисловии к этой книге, которое было опубликовано лишь в 2000 г., в сборнике стихов и переводов «Охота на эхо», резко полемична и, следует признать, весьма обоснованна. Фольклорные стилизации, по мнению Величанского, не имеют отношения к реальному фольклору, поэтому поэт определяет жанр своей книги как «антистилизации» и показывает, какова аутентичная просодия русского фольклора, используя ее, понятно, в своих авторских целях (как и античные эпиграммы в «Охоте на эхо»). Все последующие тексты Величанского, имеющие фольклорную окраску, восходят к этой фундаментальной поэтически-филологической работе, проведенной в «Росстани».

Порой сборники приобретали сквозное сюжетное развитие, характер лирико-философского романа. Прежде всего это «Помолвка» (1976–1977) с подзаголовком «несостоявшийся роман» о разорванной помолвке Киркегора и отчасти пред-

восхитивший эту книгу «Речитатив» (1974–1975) – «античный роман» по мотивам «Илиады» и «Одиссеи». «Кахетинские стихи» (1985–1986) – грузинский цикл, в котором Величанский и полемизирует с богатой кавказской традицией русской поэзии, возражая против ее пышной экзотичности, «ориентализма», и ярко продолжает ее:

Очертанья гор старинных,
лиц старинных очертанья,
словно надпись на забытом
языке... Открыть секрет
очевидный не удастся
даже пылкому Рамазу...
Мало ль на земле загадок,
а отгадок вовсе нет.

Наиболее «социальные», жесткие, на грани лианозовской «барачности» книги – «Подземная нимфа» (1976–1977), о вечной женственности в советском воплощении, и «Баста» (1973–1975) с «сентиментальной пионерской балладой» о «Лене, полюбившей Айзенштата», предвосхищающими Гандлевского армейскими мотивами ХБ и «лейтенанта Алдобергенова» («маленький восточный деспот, укротитель пятой роты»). В «Басте» есть и «эпизод» (так называется стихотворение) практически чистого соц-арта:

Однажды Луначарский,
сказавши речь про классы
и увидав начальство,
как будто в страшном сне,
упал с трибуны в массы,
упал с трибуны в массы,
разбился и измазался
и потерял пенсне.

Естественно, как уже говорилось, советская бытовая конкретика воспринимается и воплощается Величанским не на бытовом, а на историософском уровне, поэтому «упавший в массы» Луначарский и горнист Айзенштат соседствуют с Робеспьером, Мирабо и даже бедным Йориком, чей монолог о Гамлете следует сразу за монологом «мотающего срок» в дисбате штрафника и выдержан в схожей «приблатненной» стилистике.

«При слияньи» (1982–1983) – книга, посвященная городу Пскову, древнерусской архитектуре, а шире – вообще русской духовной традиции, фундаментальным основам на-

шей национальной культуры. Духовная, религиозная тема – сквозная для всего творчества Величанского, и рассматривается она вовсе не только как национальная (в «Помолвке», например), а как общечеловеческая, метафизическая, экзистенциальная. Но, взятая в национальном аспекте, эта тема у Величанского звучит особенно остро. Духовный уровень советского образа жизни известен, и у Величанского тут не было никаких иллюзий:

Есть и люди во Пскове
(кто не видел людей?).
Но мельканье людское
к благолепью церквей
непричастно: настолько
посторонни они –
эти люди – устоям
собственной старины,
что почти незаметны
рядом с этой красой –
столь странны, несусветны,
что НЕСХОЖИ с СОБОЙ.

Однако обратим внимание на последнюю строчку: типичный парадокс Величанского раскрывает всю неоднозначность ситуации и глубину понимания ее поэтом. Люди несхожи сами с собой – значит, их «самость» где-то остается, и не где-нибудь, а в них, в этих людях. Просто она существует в неявном, «снятом» виде (точно так же, как «вечная женственность» в персонажах «Подземной нимфы»). Таким образом, в историософских масштабах советское умопомрачение ничего в русской культуре не меняет. Да, служит горьким уроком, порождает много болезненных вопросов, но «устои старины», их «краса» никуда не денутся. К тому же и храмы, зримое воплощение этой красы, большевики не все осквернили и разрушили. Те, что выжили, свое дело еще сделают, да и никогда не прекращали его делать, и сейчас делают – средь брежневских безликих новостроек:

Как во Пскове стоят
храмы древние
меж безбожных домов?
А вот так стоят:
ты и шаг не шагнешь,
а приблизишься,
ты рукой не подашь,
а заручишься.

Последняя книга «Вплоть» (1984–1989) была издана уже после смерти поэта, без его окончательной редактуры. Но структура сборника и название – авторские. «Вплоть» – это собрание лирики указанных выше годов (поскольку без авторского отбора – полное), не вошедшей в другие писавшиеся отчасти в тот же период книги («Мгновения ока», «Кахетинские стихи», «Непреступный свет»). Структура (в книге 6 разделов), по-видимому, большей частью хронологическая, хотя есть и свои композиционные жанрово-тематические узлы, которые, видимо, были бы отчетливее проартикулированы автором при окончательном формировании книги. Но книга осталась недописанной. Последнее стихотворение датировано: 8 августа 1990 года – день, когда поэт скончался, через несколько дней после пятидесятилетия. Это псалом:

Высоко иль низко,
тяжко иль легко,
но пока Ты близко –
мы недалеко:
Ты – фитиль, мы воска
жар и холод враз,
пока, словно воздух, Ты
окружаешь нас.

Раньше или позже,
но в урочный час,
удаляясь, Боже,
оглянись на нас
еще не испитых
судьбою до дна,
пока даль путей Твоих
не отдалена.

Величанский создал за свою жизнь немало псалмов и, по свидетельству вдовы, Е.Д. Горжевской, говорил о том, что счастлив должен быть поэт, написавший в день своей смерти именно псалом. Так и вышло.

«Вплоть» – книга многоплановая, итоговая, сводящая воедино все центральные мотивы творчества поэта. Название, ключевой образ «вплоть» – еще один, может, самый важный и емкий из ряда философски-языковых парадоксов Величанского. Конечно, имеется в виду фундаментальная религиозно-экзистенциальная проблема плоти и духа, двуплановости человеческого бытия. Конечно, тут звучит христианская заветная тема воплощения Бога во плоти и искупления: «В нашей плоти провал и проруху / кануть оной

Прообразу вдруг? – / не во плоть Он облекся, а в муку, / в корчи наших разбойничьих мук». Конечно, тут и воскресение во плоти: «Иль – вверх, иль – вниз, / иль сторонишься краем, / но знаешь из Евангелия ты: / воскресший во плоти / неузнаваем, / и как теперь найти / тебя, найти». И самое главное – обогащенное этими бесконечными коннотациями прямое грамматическое значение наречия «вплоть», выражение темпоральности человека, окутанного «временем тонким», стержень историчности и телеологичности человеческого бытия, века, отмеренного человеку: «И жизни вплоть, и смерти вплоть / век связывает нить». И даже смерть оказывается воплощеньем: «Смерть – водопад недвижного потока / в мир, уж во всяком случае, безводный. / Смерть это тоже ВОПЛОЩЕНЬЕ, только / души БЕСПЛОТНОЙ». Очередной парадокс – и снова откровение, не ответ, не отгадка («а отгадок, вовсе нет»), но зримый свет истины.

Проделав колоссальную, фундаментальную художественную, философскую и филологическую работу, Александр Величанский поэтике «внесмыслового откровения», не говоря уже об утилитарном рифмоплетстве советских лауреатов, смог противопоставить поэтику откровения смыслового, поэтику простого и понятного и тем не менее полного тайны непридуманного слова, способного высказать несказанное, выразить невыразимое. Конечно, это слово – музыка, это звук, но звук чуткий и зрячий, смысловой. Это поэзия, которую многим молодым людям еще предстоит для себя открыть, в чем им можно лишь позавидовать.

Владислав Кулаков

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Сборники
издательства «Прометей»
1989–1991

ВРЕМЕНИ НЕВИДИМАЯ ТВЕРДЬ

1966–1968

ЛЕТО 1953 ГОДА
(три стихотворения)

1.
Бор высокий и тугой
воду пробовал ногой.
Комариный шел дымок.
Трав запутывались лески.
Берег искоса промок.
На воде – кувшинок ласты.
Голова плывет одна,
восклицая: «Нету дна!»

2.
Николай, убравши сено,
загулял и запил сильно.
На слободке мотоцикл
залетел вчера в кювет.
У запруды – два солдата
с третьей девушкой в косынке
нарушают указанья.
Есть два дуба – «Близнецы» –
вблизости от магазина.
Ивы – полные корзины.
И под вечер за осинами
небо начало цвести.

3.
Длинный вечер через речку
перекинулся мостками,
и береза-белоручка
в черный ельник не идет,
за березою – деревня,
но деревня не простая:
в ней проживши месяц ровно,
мы запомнили ее.

БЕРЕЗЫ

Было рано. Было лоно.
Мы кричали: «Эй, на лодке!»
Через черную Оку
с плеском мы переезжали:

съемки в этот день мы отложили,
и, как того нам оператор повелел,
мы берез искали побелей –
чтоб белее были белых Пропилей:

ровно трое было нас,
каждый что-нибудь да нес –
у меня была коряга, как Б. Рассела анфас.

ЕЛИ

День сырости, когда грибы растут
то там, то тут.
Когда стекают крылья елей
зеленою водой – на самом деле.
Такой неясный день от утренней поры
до вечера. Огромны комары.
И горько, горько лесу дождевому
в свой подъеловый опускаться омут.

ДУБЫ

Дубы бодучи – вот что! –
аж листьев не хватает это скрыть,
и выражение коры
у них морщинистое, серое и волчье.
Дубы к тому же индивидуальней
других деревьев – это уж совсем
из рук вон плохо с точки зрения повальных,
незрелых, одинаковых осин.

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО

В овраг углубилась смазливая глина,
и городом пахнет больная малина,
и сосны песчаные, кислые ели
качаются две непрерывных недели.
Дождя облетевшая тучно пыльца
(в которой седеют оград кружевные собаки,
за ними – сады и строенья-рубаки)
на жухлых дорогах себе не находит лица.

АВГУСТ

День стоял, расставив вилы.
Вся трава, как лошадь, пала.
И лежала, как попало,
позабыв хотя бы хруст.
Как над куполом могилы
коршун образует крест.
Рожь ржавела и являла
сухомятку сельских крыш.
Шмель забыл, что он – как улей,
жук забыл, что он – как пуля.
Коршун окружает поле.
Этот коршун съел бы мышь.

АВГУСТ

Ночь крупна! И млечная дорога
означила печально ранний час,
когда огромные прозрачные коровы
исчезли, за ограды просочась –
пахучие и сочные коровы... Далеко
плывет, плывет, качается, сочится лай собачий,
и реют призрачные дети вдоль обочин,
пока не выгонит лесок из чащи ночи
луну, исполненную белым молоком.

ВОДОПАД В ЧЕРКЕССКОЙ ДОЛИНЕ

Вода, как кошка, падает на лапы,
хоть кошке показалось бы нелепым
сравненье это, а вода –
есть ею ставшие прошедшие года:
как знать, что ей казалось прошлым летом,
во что ей верилось тогда.

***

Плывет волна, как опытный пловец,
куда-нивесть, но лишь бы плыть ей,

и кажется, что будущего весть
уже исчерпана ее упорной прытью.
Но прошлое – оно уводит вдаль
и где-то засыпает без просы́пу...
и кажется, внутри волны такая же вода,
как и внутри у самой мертвой зыби.

***

За волной исчезнет берег моря,
за волной соседняя волна
исчезает, и за ней видна
только горная полоска надо мною.
Так за веком исчезает век,
так за годом исчезают годы,
и плывет волне своей в угоду
дальновидный с виду, голый человек.

МЕРТВОЕ ОЗЕРО БАЙКАЛ

Сдохли омули в Байкале,
проданные наперед
чехам. И вода такая,
будто морщится, а пьет.
Берега. На сопках – гарь и
худосочная тайга.
Вот Байкал. Вода икает,
задевая берега
каменистые. Олифой
кроет озеро закат.
Реки катят, как Сизифы,
камни круглые. Бурят,
злой бурят – начальник края –
через щели толстых глаз
с пика Черского взирает
на воды большой запас.

КОЛЬ СУЖДЕНО ВАМ УТОНУТЬ

Коль суждено вам утонуть
в безвкусном и бессмысленном Байкале,

вы долго будете идти, идти ко дну
и не дойдете – далеко
до дна его, до тайников:
пора всплывать. Вас ищут. Далеко ли
теперь до верхних синих волн? – ох, далеко!
Лишь люди с катера на них глядят до боли.

ВРЕМЕНИ НЕВИДИМАЯ ТВЕРДЬ

Стерлась времени невидимая твердь:
через травы, временно безлюдные,
Боголюбову едва ль теперь видней
Нерль, чем Нерли видно Боголюбово.
А на насыпи пустое полотно
между ними поровну видно.

В ПОИСКАХ ЦЕРКВИ СПАС НА КУПАЛИЩЕ

Спустились тучи не дождем, а сами.
Песчаная дорога. Со слезами
сосновая мучительная даль.
И вдоль дороги высушенной, вдоль
рассыпавшейся колеи дорожной,
где водяные знаки ставит пыль,
сухой дымится акварелью вереск,
приблизившись и, наконец, уверясь
в дороге белой и пустопорожней.

ОПОЛЬЕ
(три стихотворения)

1.
Закругляются, как кони,
небеса и колокольни.
Оттого лишь не парят –
на крестах – на якорях.
И на нет друг друга сводят
переходы, и на камне,
как в каком-то эпизоде,
башня старая сидит.

2.
Как встарь, дороги далеки,
как встарь, они – землепроходцы,
и плавает, как встарь, на веточках Оки
церквей речное пароходство.
И лишь голубенькие вдруг
поскрипывают нам таблицы,
что здесь убитые, убийцы
зарыты, где откоса круп.

3. (НЕПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ В ТЕХ МЕСТАХ ВЕТЕР)
Ветер до лучших времен долетал.
Гнал по лесам небеса вороные.
И колоколен колодезный гул
он в три погибели гнул
(что ни погибель – плита)...

Надо кричать, чтоб скорее его воротили,
остановить на бегу –
есть и на нашем веку
стены кургузые, непроходимые своды:
всюду навешаны петли воров и ворот,
вырван с корнями слепого спасения ров –

здесь ты лишишься навеки своей несусветной
свободы.

(ХОХЛОМА)

В разгаре совести леса
бросаются, голов не очертивши.
Ручьи дорог, вчера журчавших тише,
теперь несутся, даль не очертивши,
в спустившиеся наземь небеса
с откосов, от околиц черновых...
И человек, плетущийся в магáзин,
в разгаре совести другому помогает –
старинному, с разбитыми ногами,
крутобородому и ясному на вид.

ЗЛАЯ И ЖАДНАЯ СТАРУХА

Было у старухи деревянное лицо.
Червь над ним подзуживал – черный древоточец.
До сих пор живет она в полосе лесной –
не родилась заново и не исчезла тотчас.
Кроме внука Вовки, огорода, огурцов,
яйцевидных кур ее, гусей продолговатых,
было у старухи деревянное лицо –
то, в котором, темная, она не виновата.

***

Вспыхнет молния одна:
на подрамнике окна
нарисует дом, ограду,
два соседних дома кряду,
человека под водой:
он бежит через природу –
он уже немолодой,
но бежит и ищет броду
и погаснет с наступившей темнотой.

***

Про каждый лист известно столько слов:
Еще на дереве он пожелтел, ослаб,
его рвало и прям-таки качало,
в теченье месяца он чахнул...
И вот однажды он на улице упал.
И умер, разумеется – опал.

ПРОШЛОГОДНИЕ СТИХИ О МОСКВЕ

Тесно городу, как плачу.
(Никуда тебя не спрячу,
ото всех не унесу.)
Здесь плетут такие судьбы! –
тесно городу в лесу,
как на море тесно судну,
потерпевшему грозу.

ПРОФИЛЬ

Длинный ниспадает лоб
слишком глубоко, и глаз – как рыба:
никогда о том не говорила,
понесла какой она улов.
Лишь ресничье перышко скосив
рыбного голодного скелета,
поднимала голову с колена,
яблоко глазное закусив.

***

Человеку остается
больше, чем ему дается,
более, чем удается
взять ему, – и потому
нам с тобою будет страшно
день возобновить вчерашний,
потому так осторожно
он начнется поутру.

***

А русые метели
на саночках летели,
на расписных на саночках
невиданной красы,
ах, в расписных косыночках
на саночках косых.

Их колокольцы звякали
и окликали всякого:
коллежского асессора,
гусара, мужика,
вельможу и профессора
в сугробе парика,

и девушку дворовую,
и деятеля правого,
и барыню с лакеями,
и Пушкина с пером –

никто не знал, откедова
метели мы берем.
С Крещения до Масляной,
весь пост великонравственный
скакали кони в пене,
оскалясь на мороз,
иль это вдохновение
из наших душ рвалось?

***

Мужичок пришел в кабак и шапку сдал.
Сколько дали, столько выпил, пьяным стал.
Мужичок, эх мужичок,
если хочется еще,
я б поставил, если б денег я достал.
По колено он уходит по снегам.
(Это очередь приходит сапогам.)
Оттого любили вина,
что болела сердцевина
и уже до половины
жизнь свою мы разобрали по слогам.

***

По Москве идут солдаты.
Ах, как дамы и валеты
по обочинам дороги
удивительно стоят:
кавалеры бородаты
(по! Москве! идут! солдаты!)
барышни – как афродиты,
а мальчишки – как всегда –
по Москве идут солдаты –
горе не беда!

По бокам стоят трактиры,
кабаки, адвокатуры,
канцелярии бежавших
наполняются опять,
бутошников полосатых,
краснорожих и усатых
даже не видать.

Ать!
дважды два – четыре:
ну, что за офицеры
в дорогом отечестве –
ишь офицера́!
и глядят холопы,
и глядят халупы,
как идут солдаты –
кудри набекрень –
ну, прямо целый день!

...А посередине
той шеренги третьей,
видишь, третий слева –
это я иду!
Я ужасно трусил
и курить не бросил,
но теперь вернулся,
наконец, к тебе.

БАЛЛАДА О ДОСТАТОЧНОМ ОСНОВАНИИ

Ну что ж, выходит, отравила.
Отравила, падло, что ж –
в землю черную положь,
заместо креста в могилу
ты всади мой ясный нож:

пусть, когда заря на решку
выпадет, как медный грош,
кореш кореша зарежет,
если кореш не хорош.

***

Упадок, где твой Рим
в тряпье племен приблудших
и для времен не лучших
грядущий пилигрим?

Упадок, где твой Рим? –
твой новый бог из воска

и средиземноморский
его ультрамарин?

Упадок, где твой Бог,
твой Сын рыжеволосый,
казнящие колеса
катящий за собой?

...Куда же мы пойдем
и как себя поделим?
Сколь глубоко паденье,
таящее подъем?

***

В смятеньи мы, как караси – в сметане.
Из нас не следовало выводов и дел.
Фонарь светил на нас, и дни на нас светали,
и нас любили те, кто этого хотел.

***

На санях ли давеча
ехали – не шли,
потеряли девочку –
после не нашли.

По причине водочки,
песен и ухаб,
потерялся сверточек,
в колею упав.

Завершились поиски.
Отдышался пар.
Лишь дорога по лесу
бродит до сих пор.

ПРОБЫ

1964–1965

***

Мы эклектики, из клетки
вышедшие на простор –
если яркий он, то блеклый,
если сложный, то простой.
Мы вдоль современных улиц
на теперешнем огне
не вперед пошли – вернулись,
мы вернулись внутрь извне.

***

Сегодня возили гравий.
И завтра –
возили гравий.
Сегодня в карты играли,
и завтра –
в карты играли.
А девочки шлют фотографии,
и службы проходит срок.
Вот скоро покончим с гравием
и будем возить
песок.

***

Уже крошилась грудь, и зарастали руки,
глаза уже – мелеть,
проваливаться – рот –
всё началось с начал ничуть не трудных,
чтоб стать, в конце концов, наоборот –
преобразиться: волосы седели
у старого холма на голове,
где маленькие лавочки сидели,
и памятник стоял, как человек.

***

Как в отсутствие Одиссея
Пенелопа себя вела? –

женихи ее так и сели,
так и бросили все дела.
Только солнышко над Элладой –
ткет старуха, что было сил,
а им теперь ничего не надо –
лишь бы выпил да закусил.

***

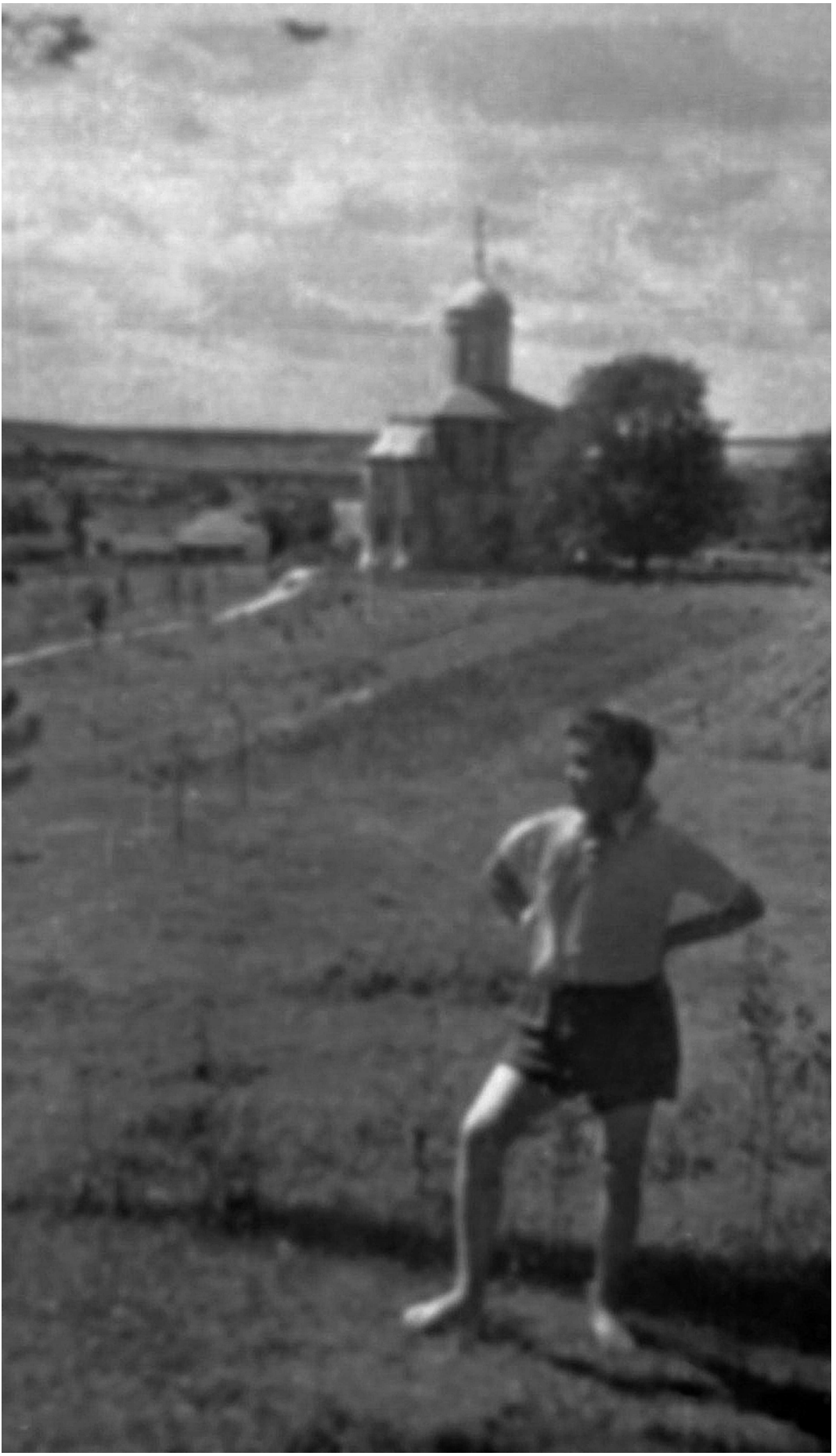
Разбрелось его лицо –
щеки распрощались с носом.
Только коже подвесной
долго не было износу.
Волосы росли вдали
головы его покатой...
А по полю люди шли:
объявления, плакаты.

КОСТРЫ
(Из цикла «Канун»)

Разговоры их остались тайной.
Мысли тайные оставлены при них.
К ним с деревьев сумерки слетали
и ложились смирно. И притих
каждый, и никто не чистил кивер –
гробовая стала синева
вечера, и красные такие
развевались сучья и слова.

***

Трубят трубы гарью,
над городом горечь.
Идут хулиганы –
за корешом кореш.
И в черных машинах,
зашторив оконца,
кто делал ошибки –
садовые кольца?



***

Не какой-нибудь там,
а простой парусиновый парус,
и порядковый номер, и буква на парусе том,
паруса задыхались, как люди,
как люди трепались
и белели, как люди,
на синем,
потом на седом.

УДЕЛ

1968

***

Крепчайшую вяжите сеть,
но бойтесь умысла, улавливая суть
(у истины запаса нет съестного:
у истины судьба – на волоске висеть).
Пусть вытекает слово,
как море из улова,
забыв свою оставшуюся сельдь.

***

О себе я не пекусь –
без возврата, без прогресса –
я согласен быть процессом
даже после смерти. Пусть.

Если нечего терять,
велика ль тогда потеря?
Сколько надобно бактерий –
разложить мою тетрадь?

ВЕСНА

Два бестрепетных виска.
Два начальных лепестка
тонких губ. Натянут, млад –
глаз разрез, бровей разлад.
Золотых волос массив
неподвижен и красив.
А глаза не видят толком –
разве что – предвидят только,
не оттаяв, но в душе
так и прыгают уже:
в них играет каждый атом,
будто в фавне ноздреватом, –
то-то рад он тут же рядом до ушей.

***

Зной настал. Завыли осы.
Тень отбросили навесы.
Над водою белобрысой
легкий мрак затрепетал.
В полукруг песчаной бухты
тихо навострились яхты,
отраженьем в водах – ух ты –
отливая, как металл.

Но не в этот день, а прежде
на разбросанной одежде,
притворив отрадно вежды,
эта женщина одна
здесь лежала (день был хмурый –
тучи горбились, как горы) –
вся пропитана загаром,
проникающим до дна.

***

Животы лежат на спинах.
На боку лежат бока.
(Сникла ветра парусина,
и провисли облака.)

Вот красавица умело
поворачивает тело:
и для солнца, и для глаз
наблюдающих – как раз.

Вот сидит атлета тело.
Встало. Что-то захотело.
Вон влюбленные вдали:
на песок они легли.

Возводя дворец песочный,
ползал мальчик худосочный –
у него делым-дела,
а мама плавать уплыла.

***

Волн качаются весы.
Дна качается завеса.
Вот уже коснулся леса
звук летающей осы.
От береговой косы
до полдневного курорта
всё идут вполоборота
дюн песчаные часы,
будто их туда завел, запутал кто-то.

***

На дне воды лежал песок.
И посмотри, насколько зыбки
в воде мелькающие рыбки.
Пора, но посмотри еще разок,
запомни все. Осока. Лист осины.
Жук-плавунец.
И заросли трясины.
И берега сырой наискосок.

***

Ноготки – цветки такие
в клумбе, где одна полынь.
Заборов грязные полы.
И дома: дома совсем плохие.

Папа Юрику велел
посмотреть, в каком он, Юрик, виде.
Вовка вечером не выйдет:
малярией заболел.

Ветер дунул и нарушил штиль.
Окна с громом закрывают.
На сараях дождевая –
доски сыпью покрывая –
на земную пала пыль.

ДЕТСТВО

Нагревается белый кафель.
Там за кафелем – наш картофель
зашипел... На зеленой стене –
наши трещины в старой краске:
горы, головы, войны, сказки...
И окно начинает синеть –
становиться все гуще, гуще...
занавески слипаются... Вмиг
исчезает из печки пища,
исчезают из комнаты вещи –
вещь за вещью... и даже спящий
навсегда исчезает в них.

***

Сентябрь гас. В который раз
тряслись и осыпались рощи,
и насаждений маленькие мощи
долой, казалось, исчезали с глаз.

Наверное, я направлялся в школу,
а в рыжей яме проводили газ,
и на отвале этой ямы голой
сидел мужик. И я запомнил нас.

На силикатной стройке в этот час
жгли кучно мусор – белый и огромный –
и в нашем парке, в нашем мире кровном
горели листья, небом облачась.

Окончилась пора небес и гроз,
крепчайший дуб однажды расщепивши...
Сентябрь. Мужик, к работе приступивший.
Учителем поставленный вопрос.

***

В Перове стояли дымы.
И дым, состоящий из тьмы,

блистал под луною своими пустыми боками,
как столп соляной, как колонны шлифованный
камень –
вот так исчезали из нашего прошлого мы.

Так душ неизбывная связь,
что правит житейским содомом –
она исчезает, виясь,
как дым между небом и домом.

***

Зима, и чуть что – ночь.
Прости меня, что павший,
как снег, везде лежавший,
такой же я точь-в-точь –
в погоде ледяной
среди прохожих редких,
под ледяные реки
опущенных на дно.

***

Был белокаменный мороз,
ряд каменных деревьев рос,
дымились толпы, каменел
дыханья дым, дыханья мел,
снег, превращавшийся в песок,
скрипел настилом из досóк,
и был мучительно далек
тот путь, что летом мал...
Спасибо, был на свете человек,
который это знал и понимал.

***

Покой? Запомни хоть такой,
когда кружились над рекой
древесные крутые кроны,
и неземные ив поклоны,
и чащи внутренний покой,
льняных полян цветные складки,

полей глухой переполох
и сеновал, густой и сладкий,
в котором сенокос заглох,
всю деревянную деревню,
чужую тучу за бугром,
и горизонта видимые гребни,
и тишина, как в летописи древней –
мы жили здесь и здесь опять умрем.

***

Всех лесов опальный пал
под забвением пропал.
Догорел до мелких щеп
горькой осени ущерб.
Под забвеньем, как под кровом –
только люди да коровы –
измененья замели
все извилины земли.
Белый снег Твой, Боже Правый,
не забудем только мы –
белобокие холмы,
черно-бурые дубравы.

***

На жалком теле фитилек –
летает смертный мотылек,
и огоньком полета
его сжигает кто-то.

Летает в поле мотылек,
и утоляет уголек
его слепого тела –
пространства и пределы.

Куда как мал и недалек,
ежесекундный мотылек,
что за собою ты повлек,
охваченный полетом,
как луг с его болотом,
как лес и дол и неба потолок?

„Лик ВЕЛИК"
Вл. Величковић

***

О, она живет и шутит,
зря свою водицу мутит,
опечалившись на миг;
в подвернувшейся минуте
отстоится легкий лик.

И растет себе по стеблю:
позабудет, а не стерпит,
и отчаянья свои
развлечет – не утаит.

Безответна, как мгновенье,
что маячит впереди...
Временных часов биенье
до поры, до упоенья
слышится в ее груди.

***

Страшен город Ленинград:
он походит на трактат,
что переведен с латыни
на российский невпопад.
К людям улицы стоят
корешками золотыми.
Там летает снег и гарь.

Там гарцует медный царь –
псевдопервенец великий
с головою многоликой
над жестянкой невских вод,
серых, как водопровод.

В Ленинграде моря нет –
только камни да каналы,
да болот полуподвалы,
да дворцы без эполет –
на ближайших триста лет
море спрятано в анналы.

Но на Невский, как бывало,
вывел даму удалой ее валет.

***

Перестали птицы петь,
потому что птицы ведь –
не железо и не медь –
вот и лето: было, минуло, постыло.
Будет дождь хлестать, как плеть,
холод заросли палить,
а деревья оголить:
металлические сетки у постелей.

До свиданья. Хорошо, что посетили.
Я не в силах вновь об этом сожалеть.

***

Одиночество всей ночи перед вспышкой
сигареты.
(Говорит земли поверхность:
ЧЕРВЬ, ты глубже океана!)
Одиночество топи
в океане увядающего лета...
Одиночество толпы
перед ликом одинокого тирана.

***

Люди не ведают страха –
они привыкают к нему:
обеденный стол их не плаха,
и дом не похож на тюрьму.
Бесстрашные, словно камни,
и вечные, словно прах,
пощелкивают замками
и сами внушают страх.

***

Спускалось солнце в просеку.
С небес свисала ель.

Стоял солдатик простенький,
похожий на шинель,
глядел он виновато
на желтые снега –
с ножом и автоматом
похожий на врага.

Снега валились с дерева
сквозь веток канитель.
Стоял солдатик серенький,
похожий на шинель,
и видел: на закате,
судьбу свою кляня,
стоит другой солдатик,
похожий на меня.

***

Бездонный дождь на улице бездомной.
Зачем встречались сумерки на ней?
Зачем встречались люди и безмолвно
шли – каждый по отдельной стороне?

Была, быть может, некая надежда,
ну, где-нибудь на улице другой,
и дождь стоял слепой преградой между
прохожим и надеждой дорогой?

Но даже если не было надежды,
как у дождя – ни проблеска, ни дна,
то всё ж она была когда-то прежде
надежда сокровенная одна.

***

Надежда одна не оставит – она не оставит
креста –
надежда в надежнейших путах:
ведь могут же люди быть лучше, добрее, чем
будут,
и в прошлом, надеюсь, могли бы не злобствовать
так.

***

Язык сначала жил один:
один он по полю ходил
и по нехоженым лесам
один метался сам.

В горах ему поклоны било эхо,
в ручье вода разучивала трель,
и ветер плел свою траву, как враль,
и пересмешник помирал от смеха.

Потом язык нашел возделанных людей –
он впутался в их бороды и руки
и сразу поглупел, помолодел –
доныне все к его молчанью глухи.

БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ ЭМИЛИ ДИКИНСОН

Пчелы, бабочки, шмели
улетучились вдали.
Потускнела вся трава,
и деревья – как дрова,
и цветы завяли;
и цвели едва ли.

Ствол осины бел и сух.
Изваяния старух
на порогах клонит в сон
под постриженный газон.
Не глядит в жилища
небо-пепелище.

Вот опять, опять, опять
медленно – за пядью пядь –
Эмили идет сюда
в белом платье, как всегда,
в роще пропадая,
и совсем седая.

Двадцать, тридцать, сорок лет
белый цвет на ней одет.
Времена – какой пустяк:

в пальцах стебель не иссяк,
обрываясь астрой –
старой, но прекрасной.

Нет ни бабочек, ни пчел.
Ей известно – что почем –
правды смертная цена –
черных прядей седина:
и холмы, и поле –
изваянье боли.

ВОСПОМИНАНИЯ о СМЕРТИ

1969

1. ВОСПОМИНАНИЯ О СМЕРТИ

***

Вне душ. Вне вех. Прошел тот век,
что рифмовался с человеком.
И мы живем уже поверх
того, что было нашим веком.
А в этом умираем без помех.

***

Наш век жесток и в верованиях крут.
Но даже в нем хотелось бы остаться,
когда по нашей улице идут,
окончив подневольный труд,
красавицы и святотатцы,
а между ними там и тут
всё дети кружатся, выкрикивая святцы.

***

Я бы жил совсем иначе.
Я бы жил не так,
не бежал бы, сжав в комочек,
проездной пятак.

Не толкался бы в вагоне,
стоя бы не спал.
На меня б двумя ногами
гражданин не встал.

Я бы жил в лесу усатом,
в наливном саду
этак в тыща восьмисотом
с хвостиком году.

И ко мне бы ездил в гости
через жнивь и гать
представитель старой власти
в карты поиграть.

СНЕГ

Деревянная махорка. Спичек нету.
От «Известий» длинные клочки.
К моему двоюродному деду
ниточкой привязаны очки.

Он читает графа Л. Толстого –
из «Войны и мира» два листа:
не красоты замысла и слога –
лишь иноязычные места.

Бабушки готовят и ругаются,
разгребая в печке красный пыл,
оттого, что несожженного Брокгауза
и Эфрона дедушка пропил.

...Он кончал училище реальное
и из юнкерского вовремя сбежал.
Прóпил свою должность театральную,
осужденье общее стяжал.

И в театре, где сперва заведовал,
стал он декорации носить.
Новому начальству не завидовал
и взаймы на выпивку просил.

А потом жена ушла с детишками.
Всю жилплощадь бомбой разнесло.
И остался дедушка с усмешками
всем сознательным племянникам назло.

Но пред смертью был допущен внуков пестовать.
Поколоть дрова. Принесть воды.
Тут и полегчало: бросил пьянствовать –
холил сад и огород садил.

Стряпал. И ребят любил. И минуло
столько лет, на сколько стало сил.
Умер, обирая куст малиновый:
отдохнуть на лавочку присел.

Бабушки жалеют деда мертвого
и о нем умеют горевать:

каждый год в день ангела именного
ездят снег от деда отгребать.

***

В продолжении рода спасенья себе не ищи:
нищету своей памяти ты завещаешь потомкам –
и не видят они, как ты медленно таешь в ночи –
на глазах исчезают, окутаны временем тонким.

Никого не вини. Никому не печалуйся в том.
Одиноким виденьем становится жизни истома.
А кругом – тот же скарб, тот же скрип у дверей –
тот же дом,
тот же скверик с детьми перед окнами зримого
дома.

***

Когда Россия всё была Россией,
ее трудящиеся, выйдя за порог,
бездельников и странников дорог
пожаловать к себе в избу просили,

поили и кормили их
и слушали их странные сказанья,
забыв хотя бы на единый миг,
что труд дарован людям в наказанье.

***

Когда на вас навалится зима
всей беспросветною декабрьской тьмою,
возьмите черный том Карамзина:
что в нем заложено кровавою тесьмою? –

всё те ж снега с прорехой зорь,
дымок жилья у волка на примете,
всея равнины самодержец – ветер
да слез морозных кристаллическая соль.

Быть может, вам пригрезится тогда:
декабрь и есть декабрь – и никогда не минет
его незрячий ветер на равнине
да золотая зорь его орда.

ЛЕРМОНТОВ
(три стихотворения)

1. ПАРУС
Душа страшна и холодна.
И страсть одна – как жизнь одна.
Лишь раздувает серой парусиной
по небесам бескрайнюю Россию –
для одиночества она уже годна.

2.
И где бы на своем пути он не был,
ему всегда сопутствовала смерть:
не страх, не романтическая небыль –
а нечто точное всей бестолочи средь.
И он молчал, как власть имущий демон,
пером гусиным жалобно писал
и землю рвал с ее насущным небом,
как в трех местах простреленный гусар.

3.
В пустыне, скорее всего, сгоряча
Три Пальмы роптали на Господа Бога:
никто, де, под ними не пил из ручья,
отвека никто не купался в тени их глубокой.

Но Бог их услышал. Верблюды людей привезли.
Прекрасно горели весь вечер старинные пальмы.
Источник кипел. Но пески и его закопали.
И стала пустыннее пустошь Господней земли.

***

Смерть в том, что Пушкин Блока не прочел.
Жизнь в том, что Блок всю жизнь бормочет
с Тютчевым.
И всё бы проще, всё бы нипочем,
Да жаль его – проклятого грядущего.

Лишь в замыслах чуть теплится оно
(ведь выраженье – замыслу отместка).
И Пушкин чувствовал «Воздмездье» Блока, но
ему об этом, к счастью, было неизвестно.

***

Мы мстим, и мстим, и мстим кому-нивесть:
отмщенья ярость зверская – людя́м большая
честь! –
веками вечными одно лишь мщенье длилось.

Но если справедливость только месть,
и если в зверстве добродетель есть –
будь они прокляты – добро и справедливость.

***

Не играют евреи на псалтирях,
не играют на цитрах и кимвалах,
на высотах и в рощах посвященных
не курят своим Астартам и Ваалам.

Обмелели молочные реки,
побережный выветрился сахар.
Опустели Израиль и Иудея –
Бог ревнивый проклял их навеки.

Пусто на земле обетованной:
по вселенной люд ее рассеян –
как в безвыходной пустыне Аравийской:
месть кругом, и нету Моисея.

АВЕССАЛОМ

«И бысть спасение в той день
и рыдание всем людям»
II Царств, 19, 2.

... И камнями, буреломом
яму ту с Авессаломом
забросали: поделом
ты погиб, Авессалом!

...И пустыня угасает
безутешная на вид –
обветшалыми глазами
плачет царь Давид:

Авессалом! Авессалом!
Все домочадцы за столом,
где столько снеди, столько вин –
и только твой отец один.

Пропала царская овца! –
где сын, продолживший отца? –
побега лучшего надлом –
Авессалом! Авессалом!

Мой сын, теперь ты знаешь сам,
что Бог не внемлет мертвецам –
и это главный мой псалом:
Авессалом! Авессалом!

Огня не скроет гарь и дым.
И проклят Иерусалим.
И опустел Давидов дом:
Авессалом! Авессалом!

КАК НЫНЕ СБИРАЕТСЯ ВЕЩИЙ ОЛЕГ

Как ныне сбирается вещий Олег
пройти через рощи развилистых рек,
соседей ограбить и славы найти –
кудесник встает у него на пути.

«Кудесник старинный, кудесник седой,
когда дорожишь ты своей бородой,
поведай, что видят слепые белки,
грядущее князю правдиво реки́!»

Над степью широкие встали орлы.
И топчутся кони, ретивы и злы.
Старик навалился на посох сухой,
и степь огласилася речью такой:

«Смешны мне живые, пока не умрут,
смешны их сраженья и тягостный труд –

иссякнут и слава, и злоба, и месть –
в забвении ложь неизбежная есть

по имени ПАМЯТЬ... Великий Олег,
добычу несет тебе новый набег,
и за́ море дальнее вольный поход
дружине несет небывалый доход.

Куда ни помчит тебя верный твой конь,
встает на дыбы неизбежный огонь,
куда ни причалит твой княжеский челн –
река кровяная к нему притечет.

Сожженные нивы, обугленный кров,
заморского хмеля горячая кровь,
рабы и рабыни, восточный булат
и злато для киевских будет палат.

Над павшими в прахе – Олегова длань –
такая Олегу по жребию дань:
велик ты и славен... Не знаешь ты лишь,
какою кончиною жизнь утолишь.

И верно, мы смертны, отважнейший князь,
да только не помним того отродясь.
Но гибели сколько по свету ни сей,
а смерти случайность тревожит князей.

Ну что же, ты волен, как самая смерть –
вольна и она в твоем сердце коснеть
проклятьем над далью оставшихся лет:
олегова гибель вольней, чем Олег!

Она не откроет свой срок никому –
ни вещей душе, ни слепому уму –
она ведь сама не решила пока,
когда тебе, князю, свалять дурака –

в бою ль просчитаться иль пьяным упасть
о камень – твоя непомерная власть
ее забавляет и даже смешит,
покончить с тобою она не спешит.

Но всласть полежав у тебя на душе,
кровавых потомков плодила уже:

коварства и ярости смрадный ручей
течет уж по жилам у Ольговичей.

Посмертный покой – это жалкая ложь:
ты жизни достоин и ты не умрешь:
останешься мучить, останешься жечь –
устанет рука и источится меч –

устанешь от вопля, от пепла в кострах,
запросишь забвенья, запросишься в прах...
Но смерть ПОСТОЯННА. И будешь палим
проклятьями новыми, купно с моим».

...Старик поднимает слепое лицо.
Стучатся цикады, как сбруи кольцо.
Мешают свой запах степные ростки
с дыханием конским и потом людским.

«Вещун! – восклицает разгневанный князь, –
ты, нищий, дерзнул ли Олега проклясть?
Мой рок под моею трепещет стопой –
предвидишь ли, отче, что будет с тобой?

Для бредней пещеры с чащобами есть –
пристала кудесникам лживая лесть:
варягу сражаться, кудеснику – лгать.
Кого ты посмел своим страхом пугать?

Для правды – бесправный, для света – слепой,
ты в жизни нашел лишь посмертный покой,
и в смерти найдешь только пустошь да ночь –
бессилием истину да не порочь!»
.....

Уходит дружина Олегу вослед.
Столп пыли остался спокоен и сед.
Исчезла дорога в невидимый лес.
И ворон кудесника видит с небес.

***

Нам смерти совестно бояться,
и она себе вольна:
много пива и вина,

ангелов и святотатцев –
есть у смерти много душ,
в магазине – много туш –
ей не совестно собою оставаться.
Бойся смерти, серый волк,
бойся смерти, серый заяц –
от самих себя спасаясь,
не бояться смерти наш священный долг.

ПРИНЦ ГАМЛЕТ

Когда же ты, Гамлет, убьешь короля?
Когда же ты, Гамлет, убьешь короля?
Вон тень за тобой волочится, пыля –
а ты не убил своего короля.

Зачем же ты, Гамлет, убил старика?
Зачем же ты, Гамлет, убил старика? –
в крови благородная стала рука –
зачем же ты, Гамлет, убил старика?

Ах, Гамлет, опять ты попал в переплет!
Ах, Гамлет, опять ты попал в переплет –
Офелия тонет, а Гамлет плывет –
ну, как же ты, Гамлет, попал в переплет?

С какой-то костяшкой ну что ты стоишь?
Ах, Гамлет, с пустышкой ну что ты стоишь?
твой верный убийца покинул Париж –
ну, что же ты, Гамлет, стоишь и стоишь!

Ах, Гамлет, спускайся с высоких вершин!
Скорее спускайся с высоких вершин! –
несут королеве отравы кувшин –
Ах, Гамлет, спускайся с высоких вершин!

Ох, Гамлет, опять ты убил не того!
Ох, Гамлет, опять ты убил не того! –
видать, ты и вправду немного того! –
ни за что ни про что убил не того!

Когда же ты, Гамлет, убьешь короля?
Когда же ты, Гамлет, убьешь короля? –

два трупа на берег сошли с корабля,
а ты не убил своего короля!

Скорее, скорей убивай короля!
Ах, Гамлет, скорей убивай короля! –
наполнилась трупами наша земля,
и нету ни Гамлета, ни короля.

***

О, наша жизнь недалека,
идальго, рыцарь мой беспечный!
но наше чувство бесконечно,
и всадник мчит наверняка,
не в направленьи ветряка,
а в направлении своей кончины вечной –

она-то уж наступит на века
в отличие от счастия, идальго,
от славы до забвенья путь не дальний,
и всадник мчит наверняка
не в направленьи ветряка,
а в направлении кончины моментальной –

сколь тяжесть отошедшая легка,
и нету больше следствий из причины –
идальго, рыцарь скорби и кручины,
скачите же наверняка
не в направленьи ветряка,
а просто с чистой совестью скачите.

***

Не поможет больше друг,
не поможет доктор,
как замкнется этот круг
навсегда: надолго.

Не поможет прежний труд,
сделанная польза:
поблагодарив, умрут
те, кто будут после.

Не поможет больше снедь,
не поможет влага.
Не поможет даже – смерть
почитать за благо.

...Не всплывем из лона вод
в будущем несметном,
не воскреснем, оттого
что не верим в смерть мы.

***

Всех часов уже кончается завод.
Не кричит петух – к предательству зовет.
Крик петуший по-над городом потух.
Потянулись в небе стаи черных мух.
На земле уже все заняты места.
Надломились над землею небеса.
Толпы выли, грызлись, плакали навзрыд.
Вырывали толпам кольца из ноздри.
Тряс петух своей кровавой бородой
над оставшейся от времени бедой.
Тихо. Вот и прекратились времена.
Все исчезло – и забвенье, и вина.
Остается лишь вращения моток,
да отчаянного вопля на глоток.

ЛЕТО

Здесь, на этом самом месте,
где зарыт ничейный клад,
год настанет неизвестный –
неизвестней, чем солдат.

Но пока тюльпаны алы,
толпы в сумерках белы,
и везут, везут вокзалы
тонны будущей золы.

***

«...Как в землю закопанный клад»

Анна Ахматова

Измученная богиня,
без всяких земных прикрас,
не раз найдут ваше Имя
и потеряют Вас.

Найденная утрата,
как в чаще – небесный свет,
как прежних скитаний след
в скитаниях без возврата.

***

«Для славы мертвых нет».*

Анна Ахматова

Для славы нет живых: в живых скрывайся либо
ей неизвестности отдай последний миг.
Она приходит тихо, не гремит
и на толпу взирает молчаливо.

***

Но сколько нужно сделать ПОСЛЕ смерти:
во всем увериться, надежд осуществить,
пока еще горит вечерний свет,
пока грядущего последний день не смеркнет.

***

Вот увидишь – умрешь,
и тебя поймут.
Станет правдою ложь
через пять минут.

* Случайно узнал, что чтение этой строки – результат цензурной правки. У Ахматовой сказано: «Для Бога мертвых нет».

Ненадежно житье,
как гнилая гать –
ну, а смерть не гниет,
надо полагать.

Тлен прекрасен и бел –
лишь окаменев.
А коль горько я пел –
по своей вине.

Принимаю удел –
временно не быть.
Я и сам не умел
вовремя любить.

***

Вот и снесли тебя, вот и снесли,
дом, где я вырос из старой земли,
будто и впрямь доказать захотели,
что меня не было на самом деле
там за годами в густой тополиной дали.

Нет ни сараев твоих дровяных,
ни раздиравшего душу бурьяна,
нету ворон, что зимою багряной
вместе с деревьями оголены.
Поздно жалеть, раз уж прежде жалеть было рано.

В этих стихах остаются холодные сени,
где половицы косят, под извечный скрываясь
сундук,
стол под истлевшей газетой,
оконце с погодой весенней,
лестница, с плачем насилу ведущая в сени,
наших шагов по которой спускается стук.

Низкие комнаты жмутся к нагревшейся печке,
есть на заслонке чугунной забытого века клеймо,
окна зимой на заре оплывают, как сальные
свечки,
вечер, и в комнате, словно в грядущем, темно.
Вот и снесли тебя, теплая, детская вечность.

Плачь, человек:
обесцветило время глаза!
Плачь, человек:
надломилась спины крестовина!
Плачь, человек:
ты не в силах об этом сказать –
плачь и рыдай
над молчанием непоправимым.

***

Пришли друзья, родные, сослуживцы –
живые, жалкие... И женщины, склонясь
друг к другу, плакали о мимолетной жизни.
Мужчины землю втаптывали в грязь.

Как нищие пред власть имущим,
они стояли у Нее в тени –
уж лучше бы они просили, лучше б
унизились... но не могли они...

Слезилось зрение при виде этой дали.
Бездонной глубины пугала гладь.
Лишь близкие у праха хлопотали:
любимых и родных не в силах смерть пугать.

2. ПОЛУСЛОВО

ВЕСНА

Осинник тонкорунный
умаялся к утру.
Лишь кустик семиструнный
играет на ветру.

Гуляли Пасху весело
на улице вчерась,
а нынче небо – месиво,
и замерзает грязь.

Трава застыла внешняя,
деревья не в листе,

и скорлупа яичная
валяется везде.

***

Лист оборвавшийся в каменном городе кружит.
В каменном городе – синие стекла да камни.
Камнем упала огромная первая капля
в полуистлевшие старые пыльные лужи.

Красный трамвай через мост продвигается
синий.
Черная очередь вьется у желтой палатки.
Серые листья на землю лиловую падки.
Водки зеленой куплю поскорей в магазине.

***

Жил да был боярышник
у житья на воле.
Даже был пятерышник
в своей кирпичной школе.

Боярышник, боярышник,
д'нас не хватит на́ год:
больше нет, боярышник,
сафьяновых ягод.

***

Осенью – напомни мне
(всё равно ведь будет осень) –
съездим за город ко мне,
ключ заранее попросим.
Там наступит тишина –
будут дачники в отъезде –
там побудешь ты одна
наконец-то.

***

Умер соседский заброшенный пёс.
Я его прах на участок принес.
Вырыл могилу двора позади
и на могиле сирень посадил.
Если вам грустно и если не лень,
будет на месте собаки сирень.

СНЕГОПАД

Закат за осиновой сетью померк.
И лед выступает дыханья поверх.
И яркая щель, что ведет в магазин
всё ярче – с исходом небес и осин.

И снег заскрипел высоко в небесах
и падал потом, попадая впросак,
как в чашку лохматую сахар-песок –
исчез на губах, на ресницах просох.

Озимые люди по избам сидят.
Спасибо, соседи когда посетят:
ведь время – не сахар, и сердце – не лёд,
и снежная баба за водкой идет.

***

Нет, лучше уж октябрь –
отчаявшийся, грязный:
он горевал хотя б
над жизнью безобразной,

пустую глину ел
и воду пил из лужи.
А снег уж слишком бел,
жесток и равнодушен,

как будто из забвения он к людям прилетел.

***

Царского Села
рисованная арка.
Посиневший влажный снег
у подножья парка.
От вчерашней стужи – ни следа,
и деревья дочерна прогоркли,
и стоит прозрачная вода
по следам оттаявшей прогулки.

***

Замоскворечье плывет по реке
и по каналу, и по каналу.
Люди белеют тепла вдалеке,
как перед балом.

Замоскворечье в канале плывет
по поворотам, по поворотам.
Скачут огни по поверхности вод,
как по болоту.

Сладкие липы да тополя мгла
в сумерках встречных –
в сумерках встречных идти до угла
Замоскворечью.

***

Летней ночью всё невнятно:
листьев паюсные пятна,
мышь летучая окошек
растопырила крыла,
двор пустынной белой тенью перекошен.
Всё существованье облегла
полутень небытия пустого –
полусвета полумгла,
что понятна только с полуслова.

***

Ночью город сам не свой.
И по тусклой мостовой
человек идет единственный куда-то.
За высокими домами тлеет лето.
Тени тянут.
Реки тонут.
Ночь темнит.
Но с востока веет тополью рассвета,
и редеет электричества гранит.

***

Предрассветный сумрак – порох:
неземных прохожих шорох
странно ясен, странно чист
в смутных сумерках, в которых
накопился птичий свист,
и, скопившись в нетерпеньи,
весь огромный город тенью
над пространством исчезающим повис.

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Каждый город до квартиры
или до двора
уменьшается под вечер,
будто детвора.
Тьмой и камнем отделенный
от своих широт,
начинает просыпаться –
дышит и живет.

.....

И сперва приходит дворник
в золотых очках:
тонконогая брюнетка
в золотых очках –
она злится, если видят,
как она метет:
ей, конечно, очень стыдно,
что она метет.

А потом приходит сторож
и приходит пёс:
чуть голубоватый сторож,
сероватый пёс –
сторож медленно ступает,
быстро рыщет пёс –
по кустам бутылки ищет
этот умный пёс.

А потом совсем стемнеет
и приходят в сад
чуть очерченные люди
целоваться в сад:
входят в черные деревья,
в серые кусты –
и сливаются деревья,
люди и кусты.

Возникают восклицанья –
чистый гласный звук!
Только счастью ведом этот
чистый гласный звук.
И когда они смеются,
просят прикурить –
всяк прохожий с наслажденьем
даст им прикурить.

А когда они устанут
и покинут сад –
тут уж пьяницы приходят
в этот самый сад:
водку беленькую делят
в полной темноте,
неразборчиво ругаясь
в этой темноте.

А потом уйдут, исчезнут,
упадут во тьме.
И уже рассвет как будто
забелел во тьме.
В это время в сад белесый
входит человек –
ежедневный, предрассветный,
странный человек.

Тихой бережной походкой
двигается он.
И невидимою скорбью
мучается он.
Сев на лавочку косую,
достает вино,
не сгибаясь, выпивает
все свое вино.

А по брезжущей дорожке
уже мчится пёс,
и хвостом уже виляет
этот славный пёс.
А за ним и смутный сторож
к лавочке спешит,
через силу улыбаясь,
медленно спешит.

Человек, чуть-чуть согнувшись,
молча гладит пса:
сторожу отдал бутылку
и погладил пса.
Сторож молча человеку
сунул покурить
и присел к нему на лавку,
чтобы покурить.

Так наутро каждой ночи
настает рассвет,
освещая эту встречу,
пасмурный рассвет:
сторож, пьяница, собака
явятся, а вслед
все кусты, пустые травы
явятся на свет,

а потом – деревья, зданья,
город вкруг двора,
остальное мирозданье,
явное с утра,
и, в конечном счете, дворник –
девочка в очках –
и ученая, наверно:
в золотых очках –

вот метет она сердито
павшие листы
и за мусором газетным
лазит сквозь кусты...
(А домов все больше, больше,
и сквозь дерева
к ним уборщицы-старушки
прибегут сперва,

а потом толпа такая –
зданий не видать,
и начнет огромный город,
как во сне, витать:
позабудет все на свете –
с самого утра –
остаются – зной да дети,
мрак да детвора.)

...Вот и день, а вот и транспорт
появился вдруг
и замкнул на всем пространстве
жизни тесный круг.

***

Мои стихи короче
июньской белой ночи,
но долгим свежим сумраком окружены они.
И вы о них мечтали
среди стекла и стали
в казенные безжизненные дни.

***

В ночи колыхалась гроза.
Она подбиралась неслышно,
и было: при первой же вспышке
вскочили деревья, спросонья зажмурив глаза.

Качнулась стоячая тьма. Замигала.
Камнями с неба посыпались в город дома.

Вскочили деревья. Качнулась испуганно тьма.
И град фонарей застучал в темноте вполнакала.

В ночи колыхалась гроза.
Безмолвие было истошным.
И в воздухе, связанном в узел удушья,
кривились мучений забрезжившие голоса.

***

У реки приземистой –
водянистый запах.
У земли обрывистой –
травы все в слезах.

На речном течении
много лун внезапных –
как бы в изначальную
снова их связать.

3. ИЗ ПЕСНИ ПЕСНЕЙ

1.
Не гляди, что я смугла,
что черна, как летний полдень –
я для братьев стерегла
виноградник их нагорный.

Я найти тебя смогла,
где стада твои, как волны,
не гляди, что я смугла,
я темна, как летний полдень.

2.
Когда б тебя я братом называла,
Когда б одни сосцы питали нас, тогда б
я , повстречав, тебя поцеловала
на улице, не ведая стыда,
и привела бы к матери, сюда,
ты б говорил со мною, как бывало,
а я бы яблок сок, налившийся в садах,
и влажное вино в твой кубок наливала.

3.
Дождь иссяк, перестал.
Зима прошла, миновала.
Расцвела смоковница за оградой.
Виноградный лист заблистал.

Время горлицам петь родным,
время неба синего и песен,
время лозам ползти по склонам,
время солнца и лилий под ним.

Дождь иссяк, перестал,
яблоки гранатовые пахнут,
встань, возлюбленная, прекрасная моя, выйди –
тень прохладна в ущелье под сводом
нагревшихся скал.

4.
Мой возлюбленный мелькает за оградой.
Он стоит в тени полдневной за стеной.
В том окне мелькали утром его взгляды,
где ночами одиноко и темно.

5.
Вернись ко мне, беги, как серны и олени,
покуда дышит день, и убегают тени –
возлюбленный, беги!

Через холмы полей, исполненный любовью,
по лилиям сияющего дня,
чтоб левая рука лежала в изголовье,
а правою рукой он обнимал меня –
возлюбленный, беги!

Любимый мой, кого душа моя любила –
стучится голос твой в бестрепетную дверь –
зачем сняла хитон, зачем я ноги мыла,
и как ему открою я теперь? –
возлюбленный, беги!

6.
Пробежишь открыть мне двери неодетой
и босой,
потому что ночь покрыла мои волосы росой.

Отворивши, на пороге затрепещешь, как трава,
потому что влажны кудри, точно ночи синева.

7.
Мой возлюбленный – как яблоня:
когда солнце трепетное явлено,
когда зной отягощает день,
яблоки его свежи, как тень.

8.
О, возлюбленный души,
я пьяна, изнемогаю –
укрепи меня вином,
яблоками освежи.

О, возлюбленный, роса
омывает наши зори,
в виноградниках, наверно,
расцвела лоза.

ВОСПОМИНАНИЯ о СУЩЕМ

1969–1970

***

Эту серую сирень
помню я прекрасно.
Было сыро во дворе,
в небесах ненастно.

Пахло свежею травой,
сладкой тонкою листвою
лет за двадцать до того,
как мы встретились с тобою.

***

Научусь тебе, мгновенье:
ты – последний медный грош –
позади одно забвенье,
и в забвенье ты уйдешь.

Неразменный миг отрады,
и мучений вечный миг,
и еще чему-то надо
научиться мне у них.

***

Ты прости моим словам.
Я твое дыханье слышу.
Дождь трепещет, данный свыше
потемневшим деревам.

Сада смутную красу
дождь тишайший не пугает:
я ведь теми же губами
это все произнесу.

***

Почернеют звезды,
задохнется слово,
запрокинет голову
сосен крутизна.

Этот дождь тишайший
нами зацелован,
и на наших лицах
утра белизна.

***

Вдали вдоль погоды
плывут пароходы
совсем невесомые
издалека,
а мы остаемся,
а мы остаемся,
как этот песок,
насчитавший века.

***

О, этот миг пропащий,
куда же ты пропал? –
на пляже барабанщик
стучался в барабан –
он был едва заметен –
был маленький совсем,
и вот сейчас поэтому
исчез он насовсем.

***

Время небывалое
уплывало,
и рябина алая
горевала,
и погода белая
вечером, когда
не уходит милая
никуда.

***

Потянулись минуты,
потянулись часы.

Облака почему-то
чрезвычайной красы.

О, помедли хотя бы
ты, земная теплынь,
красноватый сентябрь,
голубая полынь.

Проходи, расставанье,
день, сменись на другой!
Да хранит расстоянье
свой подземный покой.

***

Ты не плачь, моя прекрасная,
я молиться научусь,
чтоб печаль твоя безгласная
полегчала хоть чуть-чуть.

Ты не плачь, моя печальная,
это мне не по плечу –
чистым золотом отчаянья
я за это заплачу.

***

По чужим октябрям
чьи-то птицы кричали,
в чьих-то парках трещали
листопадов слои...
Мы с тобою еще
никогда не встречались,
и теперь наконец-то
это нам предстоит.

***

И вдруг она покинула меня,
на миг один с листвой смешавшись павшей.
Был ветер, волосы ее едва трепавший,
и был октябрь на исходе дня.

Она мелькнула в обнаженной чаще,
где водоросли дерев прозрачны и стройны,
и, ослепленный близостью щемящей,
я не узнал ее со стороны.

***

Не заходите в березняк,
когда затих его сквозняк
и листьев серая труха
лежит на дне березняка,
когда чуть теплится денек
в берестяном его дыму:
он тоже слишком одинок
и не до вас теперь ему.

***

Столько нежности сжалось во мне,
столько горькой тоски по тебе я вобрал в свою
душу,
что порой удивительно даже,
как ты можешь еще оставаться вовне,
как ты можешь еще оставаться снаружи –
на чужбине ноябрьской стужи,
на бульваре пустом с ледяною скамьей наравне.

***

Осени плачевной
наступил черед –
листьев предвечерних
кончен перелет.

Легкое ненастье
зарослей лесных
над опавшим настом
солнечной листвы.

Увяданья влага –
выжимки лучей.

В глубине оврага
почернел ручей.

Так на нас с тобою
сквозь стволов зазор
дикою ордою
наступал простор.

И в последних числах
мертвой тишины
слышишь: это смыслом
мы окружены.

***

А если вправду только грусть
нас с мирозданием роднит,
пусть утолит молчанье уст
холодной осени родник:

октябрь догорит дотла,
природы кончится полет,
и наши бренные тела –
тепла последнего оплот.

***

Твое дыхание все призрачней и тише –
сейчас и я усну тебе вослед.
Ты рядом теплишься, чуть видишься и дышишь
и ты, двоясь, приснишься мне во сне.

Жилья чужого глохнут водостоки,
чужой рассвет за окнами затих.
Мы никогда не будем одиноки –
ни наяву, ни в страшных снах своих.

***

Мы долго искали
Никольскую церковь.
Качались в канале

моторные лодки
и цепи.

Мы так хохотали,
что было прохожим неловко.
Бежали без удержу.
И улыбались бесцельно.

Потом мы курили
на скверике буром и редком.
Расправив платок, ты покрыла открытые пряди.
Потом оказалось, что вовсе размазались веки,
и ты рисовала их,
в зеркальце смутное глядя.

Никольская церковь в ветвях пустовавших
висела.
Кормить голубей запрещалось на дворике
ровном.
Стесняясь друг друга,
вступили мы в сумрак огромный.
Но служба окончилась.
Церковь почти опустела.

***

Есть тишь царскосельского чуда,
спокойствия царская тишь:
вершины исполнены гуда,
и листья летят ниоткуда,
плывут по поверхности пруда,
где плавают отблески лишь.

Листвы годовалая груда,
и весь этот мир под листвой –
забвением скрытое чудо:
листы на поверхности пруда,
вершины старинного гуда –
всей нашей души естество.

Приходит оно ниоткуда,
отвека навеки дано,
и отблески листьев повсюду –
и в небе, и в проблесках пруда.

Спокойствие свойственно чуду
и свойственно очень давно.

***

Тяжелый снежный лес
в слепящей белой пене
от солнца спрятал тени
и в глубине исчез.

Там столько лет подряд
стволы стояли прямо.
Следов лосиных ямы
там в зарослях стоят.

Там тише тишина,
черней под снегом хвоя,
и ветка над тобою
качается одна.

***

Под музыку Вивальди,
Вивальди! Вивальди!
под музыку Вивальди,
под вьюгу за окном,
печалиться давайте,
давайте! давайте!
печалиться давайте
об этом и о том.

Вы слышите, как жалко,
как жалко, как жалко!
вы слышите, как жалко
и безнадежно как!
Заплакали сеньоры,
их жены и служанки,
собаки на лежанках
и дети на руках.

И всем нам стало ясно,
так ясно! так ясно!

что на дворе ненастно,
как на́ сердце у нас,
что жизнь была напрасна,
что жизнь была прекрасна,
что все мы будем счастливы
когда-нибудь, Бог даст.

И только ты молчала,
молчала... молчала.
И головой качала
любви печальной в такт.
А после говорила:
поставьте всё сначала!
Мы всё начнем сначала,
любимый мой... Итак,

под музыку Вивальди,
Вивальди! Вивальди!
под музыку Вивальди,
под славный клавесин,
под скрипок переливы
и вьюги завыванье
условимся друг друга
любить что было сил.

***

Быстро блекнут зим покровы:
то декабрь, то январь.
Почернел закат багровый.
Дом зажегся, как фонарь.

Но в глуши небес румяных
наши ночи хороши:
бесконечны, постоянны,
как бессмертие души.

***

Если все открылось разом,
то чему благодаря? –
над морозом, как над газом,
розоватая заря:

все детали отличатся,
пропадавшие зазря –
станет ясно: это счастье,
утро, проще говоря.

Навсегда увидим мы:
в толщах крыш стоят дымы,
и над нами, и под нами –
осчастливлен снег тенями –
ласковым касаньем тьмы.

***

Темнота предместий –
чем она горчит? –
мы с тобой не вместе –
всяк в своей ночи.

И редки, как звезды,
средь небытия,
в этом мраке розном
огоньки жилья.

***

Да знаешь ли, о чем она молчит
и что таит в излучинах улыбки? –
как переливы тела, гибки
сознанья потаенного лучи.
И счастлив тот, кто счастлив по ошибке –
кто со счастливых губ молчанье пил в ночи.

***

Твой город укромный,
обида! обида!
с печалью огромней
печали Давида –
смолчал бы, стерпел бы,
не подал бы вида –
кричал бы и пел бы:
обида! обида!

***

В ней спокойствие есть молодое –
оболочка смятений и снов,
но внезапно взлетят ладони,
губы выгнутся силой слов –
вся вперед подается, силясь
проясниться сквозь эту гладь, –
и потом стихает опять:
только глаз остается вырез.

***

Ты умеешь чувство придержать
и прикрыть чуть подведенным веком,
удается многоводным рекам
неподвижно блещущая гладь –
и порою легкий ветер вспять
тянет их течение со смехом.

***

Мне хочется не красоты пустячной,
но чуда, перешедшего за край:
искусство, не старайся, не играй,
но лишь услышать ей возможность дай,
когда я крикну ей, еще такой вчерашней:
родная, сжалься! Видишь, как я стражду –
не говори так буднично и страшно,
не привыкай ко мне, не привыкай.

***

Что больней – расставанье?
или встреч упоенье?
или боль пониманья?
или стихотворенье?
или тайная смута
у сомнений на дне,
когда вдруг на минуту
ты забыла о мне?

***

А в женской мысли, нежной и незрячей,
я смысла никогда не замечал:
она, как огонек жилья горячий
в ночи без окончаний и начал,
она любого смысла легче –
не различить ее и не отвлечь:
ночами так округлы плечи
и нечленораздельна речь...
И вечный мрак вкруг женской мысли вечен.

***

Есть мученье душ холодных –
всех мучительней оно:
равнодушию дано
долго мучиться, бесплодно.

Это вечная разлука –
жить, одним собой томясь, –
вот на что уходит мука –
душ единственная связь.

(КОМАРОВО)

Я писал о себе –
или нет – о любимой,
нет – о времени тонком,
как небес полутон,
но всегда оставлял
этот день нелюдимый,
ну, хотя бы назавтра,
навсегда, на потом.

Но когда вспоминал,
то шептал я невольно,
каждый нынешний день
отгоняя от глаз,
мы приехали к Вам
со своею любовью,
ни о чем не жалея,
ничего не стыдясь.

Мы приехали в тишь
перелесков предзимних,
где в небесных озерах
плавал листьев кумач,
где сквозят в сосняке,
как в забвенье бессильном,
и без признаков жизни –
только призраки дач.

Та дорога сквозь лес
не вела, не кружила –
оставалась на месте
возле крепких оград.
И сосновых высот
не скрипели пружины.
Лишь шагов наших шорох
возвращался назад.

По чужим октябрям
чьи-то птицы кричали,
оставляя всю тишь
лишь тогдашнему дню:
мы приехали к Вам
в той светлейшей печали,
что походит на осень,
если не на весну.

Мы приехали к Вам –
не к живой, не к почившей
и не к жившей когда-то
и не к сущей поднесь.
(Если можно сказать,
отчего же молчишь ты:
только небыли нет –
то, что было, то есть.)

Мы глядели на тень:
по цветам на могиле
солнце быстро бежало,
очертанья теней
искажались легко,
зябко ежились, жили –
тень стального креста,
тень голубки стальной.

Мы приехали к Вам.
Был невидимый полдень.
Жег кладбищенский сторож
погребений труху –
ленты тленных венков,
хвою, стебли – но полно –
их осенний дымок
так витал наверху.

Мы молчали вдвоем.
Было легким молчанье.
И взглянуть друг на друга
мы боялись вдвоем.
Тень отбрасывать тень
наземь не в состояньи:
свет проходит насквозь
очертанья ее.

Но нельзя горевать.
Не печально, не больно –
только странно и трудно
все додумать до дна:
мы приехали к Вам
со своею любовью,
прихватив по дороге
сигарет и вина.

...А сегодня зима,
и достаточно снега,
чтобы всё, что угодно,
этой явью затмить.
Но таков был тот день –
будто вовсе он не был,
ну, а то, чего не было,
невозможно забыть.

***

С каждым днем для меня всё ясней твое имя
и лица перемены, и рук безутешная гладь.
Нужно очень спешить: ты изменишься
непоправимо
через день, через миг – даже рук не успеем
разнять.

Станешь новой, а та, что осталась
в безжизненном прошлом
(как я помню сейчас этот чуткий наклон головы)
несказанною станет, неясной, совсем
невозможной.
Я и сам невозможен. И старые строки новы.

***

Ничего, ничего, еще будет в чести
эта малость тепла в человечьей горсти –
стает снег во дворе под твоею озябшею тенью –
только ты не забудь, не отчаивайся и прости.

Ничего, ничего...

***

Кто уничтожит волю злую,
вражды безбожную межу –
затем, что руки ей целую,
в глаза счастливые гляжу,
затем, что мучаюсь разлукой
и задыхаюсь счастьем встреч,
за все отчаянье, за звуки,
которым счастья не сберечь.

***

Случись со мною сказка,
чтоб шелковый клубок
катиться до развязки
передо мною мог.

Но вот уже калитка –
искомый терем, сад...
И остается нитка,
ведущая назад.

***

А если станет тяжелей,
о счастии не сожалей:
не изменяй ему случайно –
печалуйся одной печалью,
и будет счастие целей.

СОЛНЦЕСТОЯНЬЕ

1970

***

Только летом, только летом
есть в году такой пробел:
перед зеленью и светом
слабый сумрак оробел.
В эту пору, в эту пору
свет всеобщий, мрак – ничей.
Это тот пробел, в котором
катятся черемух горы
в прорубь черную ночей.

***

Летом из холодной печки
пахнет стужею и сажей.
На плите неразогретой –
полстакана молока,
пачка соли, нож и спички
и еще комок бумажный
из засаленной газеты
от январского денька.

***

Деревьев новые овины
прикрыли день наполовину.
Вблизи от зарослей малины,
явившись призрачно и вдруг,
стоят огромные люпины
и озираются вокруг.

***

Вот у нас какие маки:
восклицательные знаки! –
поглядят на них и, глядь –
начинают восклицать
все окрестные соседи и зеваки.

***

Мы растворяемся в погоде,
прозрачной, словно благодать.
Хоть дни подобны длинной оде –
солнцестоянье на исходе –
и что-то надо предпринять.

***

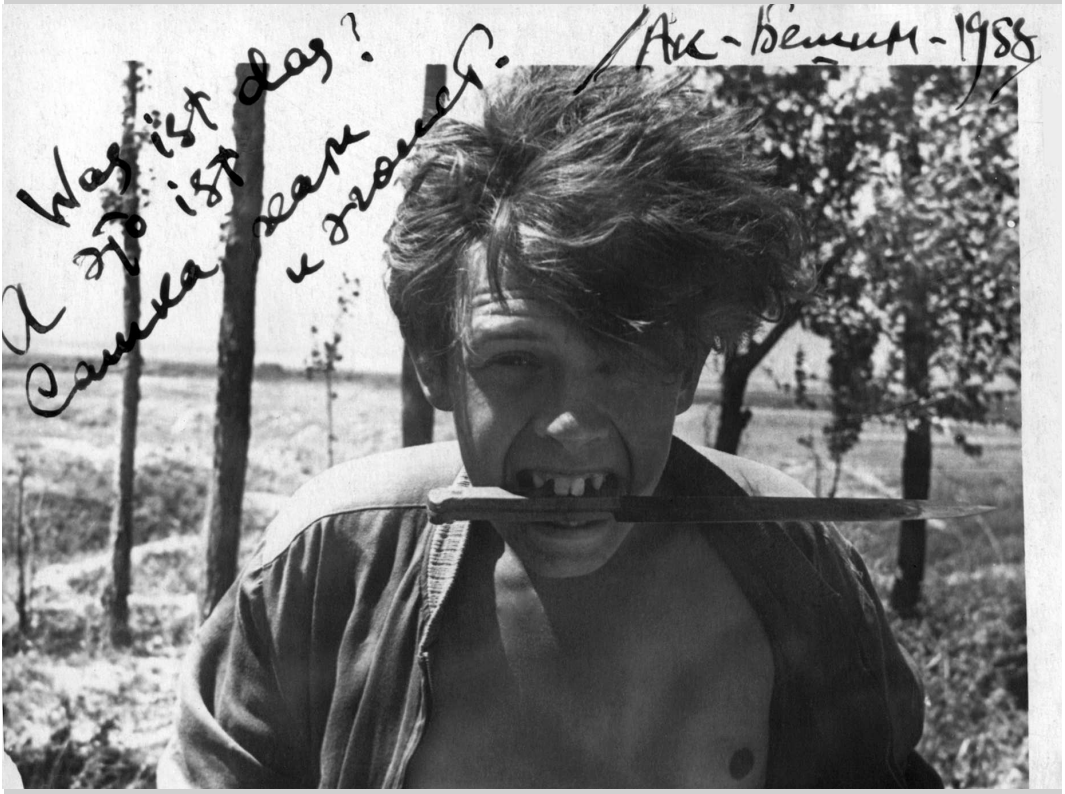
Был день от зноя лиловатый.
Шиповник цвел аляповатый.
Кричали малые ребята.
И лаял пёс.
И лаял пёс.
По рытвинам между берез
тащился облачный обоз
и нас с тобою вез да вез
куда-то.

***

Май на одуванчик дунет –
целый месяц улетит.
Что прозрачнее июня
зорька узкая глядит.
А в июле
нам вернули
года пыльный монолит.

***

Мы поедем без билета
в убывающее лето.
Пассажиров сквозь газеты,
как сквозь сито протрясло.
Оттого в пустом вагоне
никого сегодня нету:
на платформе, как в июне,
пусто: пусто и светло.


Was ist das?
А это ist
Самка
и
Ак-Бешим-1988

***

Был ли каждый Божий миг
мал, как мотылек?
Иль, как небо, был велик
и, как даль, далек?

Уместился в коробке
спичечном моем –
иль, как камушек в реке,
мир исчезнет в нем?

ПЫЛАЮЩЕЕ ОЧЕРТАНЬЕ

1970–1971

1. ДЕКАБРЬ БЕЗ ЯНВАРЯ

***

Гасите верхний свет и со стекла
житейские живые отраженья
исчезнут. И декабрьская мгла
во мраке электрического тленья
за окнами предстанет без движенья,
неощутимая для жалкого тепла.

***

В декабре не рассветает вовсе.
Пассажиры тусклые на транспорт
стаями бросаются с утра.
В предрассветном отсвете постылом
побледнел забитый снегом диск
угловых часов. Кто с недосыпу,
кто с похмелья. Холодно. Вдали –
огонек болотный: то троллейбус! –
и с газетным шорохом метель
мчит ему навстречу. Приготовься.
Соблюдай закон очередей.
Будь достоин сутолоки и давки:
после анонимного удара
локтем бей куда-то наугад.

***

Глотайте зимний дым!
Дыханием седым
ловите оторопь неразличимой жизни.
Цепляйтесь за крючки очередей,
работайте, старайтесь быть полезней,
катитесь с гор на иностранных лыжах,
выращивайте маленьких детей...
И отразитесь вы, авось, в весенних лужах,
и отпуска дождетесь наконец.

***

Заполночь. Захвачены такси.
Опустев, скривились переулки,
а проспекты – те еще прямей
стали. Неприметные метели
к ночи вдруг почуяли простор.
Да мигает желтый светофор.
Вот покой: все так его хотели.

Но взгляни на мерзлое стекло:
по открытым улицам окраин,
по набухшим кромкам пустырей
по-кошачьи выгнув спины, плечи,
странные, прозрачные фигуры
движутся как будто наугад,
будто ищут след или пропажу.

Ты, увидев их, подумай так:
«Вот что нам припас кромешный мрак,
вот они – владельцы тишины,
обладатели всеобщего покоя...

Может быть, давно они погибли
или не погибнут никогда...»

Если только может быть такое.

***

Зажглось окошек решето
на стенах дальних новостроек.
На снежных подступах к Москве
все отсветы зажглись.
Пьяна: в заляпанном пальто
(не больше года как пошила) –
сестру не может отыскать
в насиженных снегах.

СУМЕРКИ

«Папа, ты такой дурак –
это же не наш барак,

и крыльцо совсем не наше,
и не наш внизу овраг», –
говорит отцу Наташа.

«Не садись же, говорят!
Видишь – окна не горят,
трубы не дымят, папаша,
наших нет нигде ребят», –
говорит отцу Наташа.

«Ну, проснись же, ну, проснись!
Видишь, сколько кошек – брысь!
А людей не видно даже,
только вон один, кажись...»

Нет, их четверо, Наташа.

***

Замело метелью перепутья.
Опустились ледяные прутья
деревянных веток во дворе.
Этой ночи больше нету в декабре.
Но курятся всё еще сугробы,
и никто не знает, чем полны
их ночные черные утробы –
кроме мусора всея страны,
может быть, в них крест лежит нательный,
или документ какой поддельный,
или пьяный человек: ветеран войны.

В МЕТРО

Я монетку черную найду
в толчее опилок и народа:
ну, монетка, ты какого года?
кто на медь добыл тебе руду?

ОКРАИНА

Остановлюсь. Застыну здесь навек.
И буду, разве что, протягивать окурок

со звездочкой огня – кривым пьянчугам,
мальчонке с личиком хмельным,
благополучным созидателям, идущим
на поводу у комнатных собак,
художнику в лохмотьях бороды,
в восторженном полупальто, старушке
с белесым крылышком фабричной стрижки
древней
с разрезанным морщинами лицом.

Но никому не укажу дорогу,
совета не подам, не подбодрю.
Черт дернул нас идти.
Ступайте сами.

***

Правда ли, что Дельвиг спился
в холодеющем халате
у поддельного камина
средь задернутых гардин?

(Не унять заветной дрожи
в слабых пальцах. Из прихожей
слышен шепот голосов
и кандальный звон часов.)

Кажется, что быть того не может.

***

Декабрьский снег – напоминанье.
И всё ж за ним не уследишь
в застенке дня. И сумрак ранний
наполнит улицы до крыш,
сольется с облачностью низкой...
Сойдутся годы близко-близко,
как эти два прохожих странных
у вновь расклеенных афиш.

2. ЭХО

***

Все на свете мне помеха,
все предметы ни к чему –
только эха, только эха
бы дыханья моему!
Пустота – залог успеха:
распахнется тесный звук –
тишины далекой веха –
лишь безжизненное эхо
утоляет жадный слух.

***

«Не должен быть слишком несчастным,
А, главное, скрытным... поэт».

А. Ахматова

Что надобно для красоты? –
всей жизни ей мало, но ты
не должен быть слишком несчастным,
пусть боль твоя ежечасна,
привычна, невыносима,
но такова игра:
нет тяжести свыше силы –
всё – легкий полет пера.

***

Что горше горя? –
ан горя мало!
Не можешь даже
сказать наверно:
где было больно,
где было скверно
и где удача
подстерегала.

***

Когда цветут деревья
и ночь лежит в цветах,
без зависти и ревности
я говорю ей так:
не сравниваю даже
свой стих с твоей красой,
но со своею давешней
душевной пустотой.

***

Когда приходит ясность,
неведомая связь,
вдруг странная бесстрастность
и даже неприязнь
овладевает мною,
и долго мне претит
нежданное, иное,
невнятное на вид.

Так встретившись нечаянно
и буднично с тобой,
сперва не замечали мы
свершенное судьбой.

***

Сольчей, чем соль, печаль твоя
и боль твоя, о, Боттичелли,
как раны гвоздные на теле,
в котором нету бытия.

Подкрашенный церковный воск –
он у тебя чуть-чуть подтаял:
Флоренции кровавые порталы
еще расплывчаты от слез.

***

Может быть, всего мудрее
быть картинной галереей,
где картины друг на друга
с удивлением глядят,
где навеки всё забыто,
кроме цвета, кроме вида,
и в безвременьи упругом
спрятан жизни горький яд.

***

Наш город картонажный
придуманный, ненужный:
прекрасно изогнулись
подъемы цепких улиц,
и будто вправду были –
лотки, локомобили,
и облака, и облака,
и гроздь арбузов у ларька,
деревья на пригорке и
городовых фигурки, и
деви́цы в шляпках скромных,
в платьицах укромных,
и молодые господа,
что мельком забрели сюда,
и ты с вечерним веером
смотрела и не верила –
доверчива и вечно молода.

***

Во время оно,
незнамо когда,
жил-был Иона
во чреве кита.

«Будешь пророком», –
сказал ему Бог.
Этой мороки
страшился пророк.

И Иегова
судил это так:
верное слово
хранит Он в китах.

Не оттого ли
горды иногда
мы и неволей
во чреве кита?

***

«How happy is the little stone».

E. Dickinson*

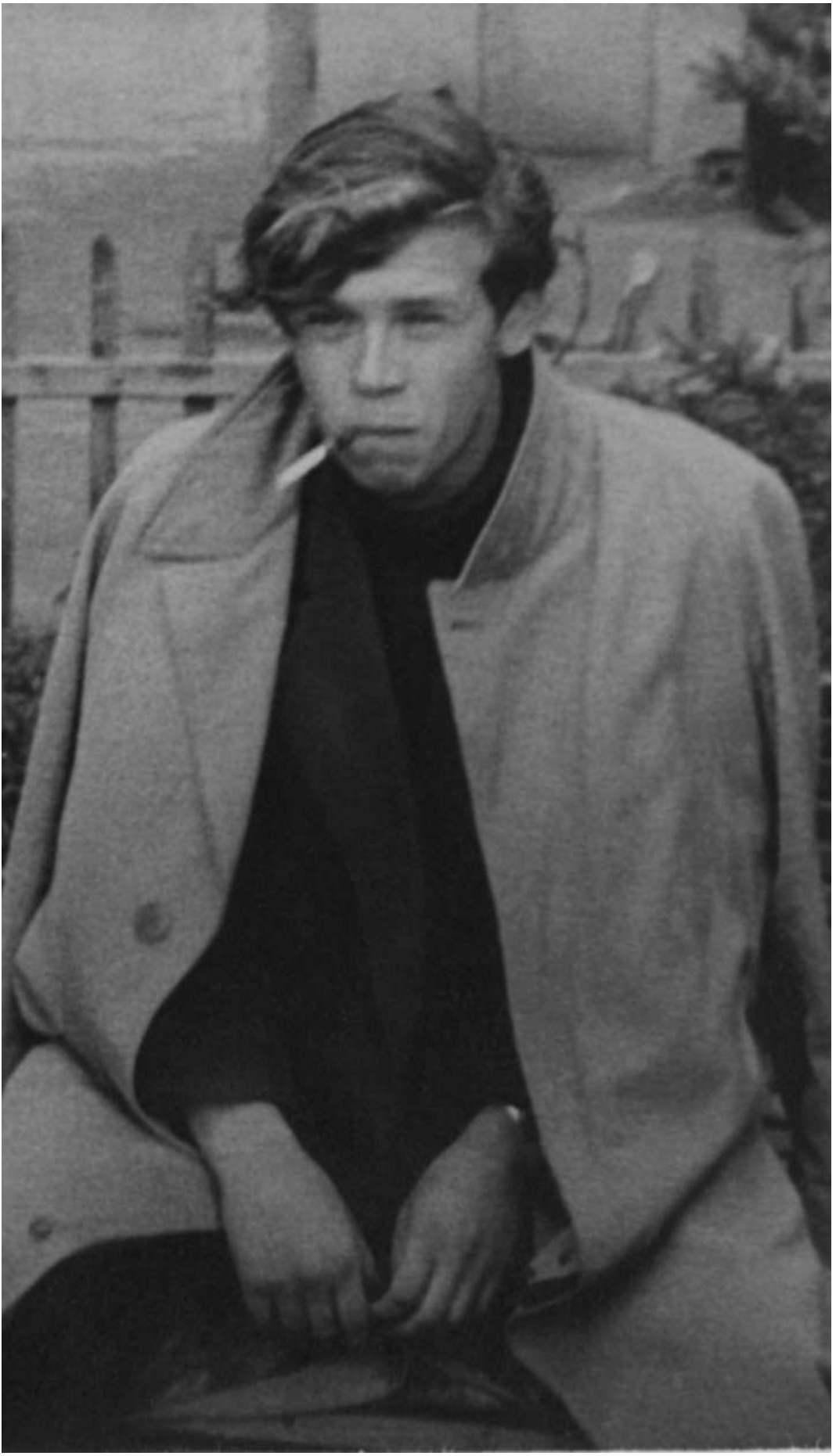
Уважаемая мисс Дикинсон,
Ваш маленький камушек
такой неприметный... пыльный,
беззаботный и в вечность канувший,
затерявшийся на земле обильной –
он больше любого огромного камня,
хоть тот настоящий и его можно потрогать,
и он даже не уместился бы на дороге,
по которой Вы гуляете вечером несказанным,
уважаемая мисс Дикинсон,
аккуратно глядевшая себе под ноги.

***

Не глупая игра в лото,
где цифры совпадут едва ли –
нет, неожиданность есть то,
что мы всю жизнь невольно ждали.

А потому не сочиняй,
не фантазируй своевольно –
и так живем мы невзначай,
и с нас случайностей довольно.

* «Как счастлив какой-нибудь камушек». Э. Дикинсон (*англ.*)



***

Пускай за горечь прорицаний,
отравленных сознаньем лжи,
звучать мой голос перестанет –
хоть в нем неправду накажи,
и пусть других людская жалость
поглаживает вдоль волос...
Вот если б песня не сбывалась,
а только пение сбылось.

***

Сгорела ветвь дотла.
Но ты б еще смогла
на миг былого прорастанья
пылающее очертанье
увидеть в сполохах тепла,
и, отстраняясь от клочьев дыма,
заплакать неисповедимо.

***

Это легкость паденья,
что совсем не легка:
ожило притяженье
и земли, и стиха –
столь весенняя легкость,
что того и гляди
очевидностей пропасть
разорвется в груди.

***

Выходи на воздух вешний –
в нем развешаны скворешни,
всё в нем видно до листка
и невидима тоска
за прозрачностью кромешной.

В РАННИХ СУМЕРКАХ ПОД УТРО

Две головы в подушке
рассвету не ясны.
Объятья двоедушны:
их разрывают сны.

И по-дневному мелко,
чуть различая срок,
глядит на них побелкой
летучий потолок.

***

За одиночество, мой друг,
нам надо выпить – годы вхожи
к нам запросто теперь, и ворох шуб,
и пьяный шум исчезли из прихожей.
По улицам бегут весельчаки,
к гитарам прислоняются чубами,
и девочки чуть теплыми губами
улыбок открывают тайники.
Лучатся фонари. И скоро – полночь.
Итак, за одиночество, мой друг,
единственное, может быть, единство.
За время, удлиняющее ночь.

ГОВОРЯЩИЙ СКВОРЕЦ

1.
Окурки. Книги. Водки
остатки, наконец.
А у разбитой фортки –
в дворце своем скворец

висит себе – незрячим,
нечистым языком
бормочет что-то зря. Чем
болтать – поклюй молчком.

...Насыпать крошек в ящик,
воды в лоток налить –

но с птицей говорящей
о чем же говорить?

2.
Скворец говорливый
под вечер умолк,
и стало тоскливо,
и в горле комок.
И клетки болтался
в углу теремок.
Никто не пытался –
никто не помог.

***

«What inn is this?»
E. Dickinson*

Что за странный предвечерний
постоялый двор? –
у крыльца бродяга черный
да глухой забор.

Где хозяин? – только эхо –
нету до сих пор.
Не дозваться человека,
девку – экий вздор!

Что за комната-прореха!
не трещит очаг,
лишь сумерничают тихо
тени при свечах.

Щас бы пива для почину...
Эй, хозяин – ты? –
что еще за чертовщина,
Господи прости?

***

Люблю их всех – красивых и дурных,
ученых книжниц и пьянчужек плотоядных.

* «Что за трактир?» Э. Дикинсон (*англ.*)

Настанет осень. Будет много яблок
и на коленях нераскрытых книг.
Мне нравится смотреть на них,
когда они забудутся на миг
(им память вообще дается туго):
они всегда бесстыдны, как в раю,
и за надменность гордую свою
всё ненавидят загодя друг друга.

НОКТЮРН

Оттого, что сильный дождь,
мокнет конь и мокнет вождь,
композитор и поэт,
генерал без эполет.

И до нитки, и до нитки
мой сюртук промок гранитный,
оттого, что до зари
лопаются пузыри.

3. ПЫЛАЮЩЕЕ ОЧЕРТАНЬЕ

АРЛЕКИН, ПЬЕРО И КОЛОМБИНА

1.
Ах, Пьеро – такой простак!
А Арлекин любить мастак
и вот эдак, и вот так,
и вот эдак!
Коломбину за плечо
он хватает горячо,
и, поцеловав еще
в губки напоследок,
говорит: чего коснеть,
Коломбина!
Бузина пошла краснеть
и рябина!
Лик мой ясен,
бел мой торс
и волос красивый ворс
так прекрасен.

А Коломбина думает: Пьеро,
вы так играли на губной гармонике!
Зачем же вы не доблестный герой,
а только умоляете и молите?
У вас к тому же – серые глаза,
и над глазами – серые ресницы...
Но Арлекин ее хватает за –
за, мягко говоря, за поясницу:

и пойдут они в трактир –
как не пить вермут
с Арлекином таким
необыкновенным!

(Ах, безрадостный Пьеро,
бери бумагу и перо,
чернила фиолетовые,
промокашку розовую:
улетело лето,
наступила проза
в этом самом лучшем из миров:
Арлекин Коломбину
уволок за куртину,
или прям, на перину,
ах, Пьеро, Пьеро...)

2.
Арлекин, в графине пусто.
Киснет кислая капуста.
И давно доел пирог
этот выродок Пьеро.
В кружках сохнет пепел, пена.
И с похмелья Коломбина
после давешней возни
истерична, черт возьми.

Коломбина спит босая
(к ней пристроился поэт).
Снится ей сажень косая
и какой-нибудь обед.
Снятся руки, снятся ноги,
заключения врача.
И лежит Пьеро убогий
у роскошного плеча.

3.
Коломбина, видишь сон? –
двух обличий унисон:
горечь глаз, горячка рук
и стыда порочный круг.

«Ты прекрасна, Коломбина:
хризантема, георгина
или лучше – василек...»

Руки вздев и выгнув спину,
гаснет свечки фитилек –
остается злобный стон.
Коломбина, видишь сон? –

вот по грудь ты входишь в речку,
вот вода покрыла плечи,
кто-то машет рукавом,
и внезапно – никого:

не приемлет больше вин
потускневший Арлекин,
не толкается в нутро
неродившийся Пьеро.

Возле берега записка
проплывает близко-близко.
По песку бегут следы:
Коломбина, это – ты.

ВЫХОДЦЫ

Перебив зеркала,
в том священнейшем осатаненьи,
когда сажа бела,
начинают они свое жадное пенье,
и всплывают из каверзных вод их слепые тела.

И звучит: «Приходи
на условленный угол с витриной!
Ревновать прекрати –
порываю я с той паутиной!..»

И, ослепнув, пруды
покрываются жадною тиной,
и звучит голосок
сквозь бесценных мгновений песок:

«Из бездонных зеркал
мы не зря, мы не зря ускользнули
в этот летний провал,
где лиловые тени в июле.
Позабудем себя –
что отрадней такого забвенья...»

Но осколки слепят,
вновь слепят их до дна на мгновенье.

***

«He is stark mad who ever saith
That he hath been in love an hour».

J. Donne*

Безумен утверждавший,
что он хоть миг любил.
Таким безумцем ставши,
он лишь любимым был:
твоей любовью жил он,
владел твоей тоской...
А ты – ты не твердила
бессмыслицы такой.

***

Безоглядна мысли гладь
(только боль владеет далью).
Вера это – ожиданье:
что ж без веры ожидать?
Покидая свой подвал
(сумрак, запах керосина),
слепо погляди на синий
неба летнего провал.

* Эпиграф достаточно точно переведен в первых двух строках стихотворения.

ВО СПАСЕНИЕ

1971–1972

1. ВО СПАСЕНИЕ

***

Пусть останутся в минувшем,
когда дни покинут нас,
те слова, что наши души
прошептали в первый раз.
Если всё на свете – тайна,
всё чудовищно случайно –
пусть вовеки не подслушать
нашей тайны никому.

***

А ты, мой ангел во плоти,
еще за то меня прости,
что я тебя – земную –
небесной именую.

Нельзя ж пред женщиною ведь
безжалостно благоговеть,
а ангелов тревожных
жалеть никак не можно.

Я не приду к тебе домой –
душа твоя и так со мной:
таит проникновенье
такое отдаленье.

А если не простишь, пойму,
что ты осталась в том дому
у окружной дороги,
где зимы-недотроги.

***

Вдали от милых дней
печаль всего родней,
раз лжет уже воспоминанье,
и сердце ошибается в биеньи –

вдали от милых дней
лишь счастие видней,
и, может быть, печаль о нем случайно
является забытою печалью.

***

Уже давно я продал эту книгу,
где говорилось о любви прекрасной,
что равносильна вечности и мигу,
и счастью чистому, и лжи, и муке крестной.

Теперь продать мне нечего, а надо б.
И вспомнил я старинного поэта,
и все, что им таинственно воспето
слепой любви в укор или в награду.

***

Я женщину эту люблю, как всегда.
Она же, как прежде, как встарь, молода,
хоть смотрит больнее, хоть помнит о том,
что я ей шептал зацелованным ртом.
Я женщину эту люблю, как всегда,
хоть вторник сегодня, а завтра – среда,
хоть спали до света – да снова темно,
хоть, может быть, нет нас на свете давно.

***

Совесть моя тесная,
вовсе на краю
вот какую песенку
я тебе спою:

«Ходики да печка.
Чайника шумок.
Вот бы где навечно
я остаться смог.

Хороши сторожка,
бестолковый пес,

и забор заброшенный
бузиной зарос.

Даже святотатцу
в глубине стыда
хочется остаться
где-то навсегда –

кем угодно – сбоку
от больших дорог –
сторожем, собакой,
колыханьем дров.

***

Ну как тебя благодарить мне –
в каком борении и ритме,
ну как тебя благодарить мне
и как любить еще больней?
Среди бессонницы, рыданья
не мне нашла ты оправданье,
лишь счастья нашего наитье
оправдано душой твоей.

2. ПРИ ДАЛЕКОМ КОЛОКОЛЬНОМ ЗВОНЕ

***

Тоньше, тоньше жизнь с годами,
тоньше посвиста птенца.
Что не ждали, не гадали –
всё свершилось до конца.

И когда необходимо
стану я пред грозный суд,
все посмотрят сквозь и мимо –
не осудят, не спасут.

***

В чернозем смертей посеяно
и грехом воспалено –

не искусство, а спасение,
нет – виновности вино.

Что ж мы ждем от вопля, лепета,
наши души разгласив:
красота сама бестрепетна,
трепет груб и некрасив.

***

Потаенную жестокость
в женском сердце не жалей.
Потаенно и жестоко
преклоняйся перед ней.
Ты не знал ее до срока
или знал едва-едва –
безвозвратно, одиноко
сохрани ее слова.

***

Кромешной тьмы глаза
стихов моих касались.
Но ты, слепая зависть,
смогла их наказать
непониманьем, сном,
сладчайшей черной злобой,
всегда глядевшей в оба
и знавшей об одном.

***

Я заблудился, не найти
ногам пути в затонах моха;
над чащей плещется просвет,
заметно заалев.
Любое дерево в лесу –
оно настолько одиноко,
что никому не отыскать
его среди дерев.

***

Поклон примите от прохожего,
который не живет нигде:
ни в чаще леса непогожего,
ни в городе и ни в избе,
ни в пустоши необитаемой
и ни в пути с сумой вдвоем,
ни на виду у всех, ни в тайне,
ни в одиночестве своем –

от проходимца – нет, от странника
среди земного иль астрального
хаоса (космос мнится нам) –
поклон всем кольям и дворам.

ПРИ ДАЛЕКОМ КОЛОКОЛЬНОМ ЗВОНЕ

Жил на свете человек (а может, не жил).
Утром воду приносил, поленья – к ночи.
Ко Христову Воскресенью нес гостинцы –
что жене своей, что малым своим деткам.
Что ни день – будь в непогоду или в вёдро –
запрягал он свою утлую кобылу,
день гонял ее по взмыленным дорогам,
а под вечер они вместе возвращались
при далеком звоне колокольном –
на кого бы царь ни опалялся,
у кого бы вор ни крал пожитки,
кто б пред Господом ни впал в какую ересь,
кто б ни умер, кто бы ни родился.

ВМЕСТО ПЕРЕВОДА

Когда она проезжала
мимо заката солнца,
мимо детей ученых,
мимо людских могил,
то рожь сильнее рыжела,
и дети кричали отчетливей,
и слышали звук колокольца
те, кто в могилах был.

***

Да, когда-нибудь, когда не
станет горя и утрат,
всё внезапно явным станет –
тут узнает в аккурат
жалкий раб бумажной дести,
что за месть в себе несет –
что когда-то было детство
и младенчество...
и всё.

3. ЖИВАЯ ОГРАДА

Памяти моего отца

1.
У всякого – своя полынь.
Всему своя полынь.
Простимся ныне навсегда
и сразу отболим.

У всякого – свой сонный мак.
Всему свой цвет и сон,
былого хлеба лебеда,
и свет, и мрак...
и всё.

2.
Прощай шиповник, и жасмин и навсегда
прощай, смородины колючая ограда,
крыжовник, яблони в цвету, и навсегда –
рябина и береза у ограды.

Прощайте ирисы, тюльпаны, водосбор,
пионы, лилии и флоксы, и навеки –
большие маки... и огромный мир,
давящий на смородинные ветки.

3.
Живая ограда
живет до поры.
Под снежные груды
уходят дворы.

Над твердью могильной
летят под уклон
раскосые крылья
окрестных ворон.

То ветер на свечку
слетел с высоты.
И в зимнюю спячку
впадают кусты.

Смородинных веток
тончайший узор
не сдержат вовеки
подобный напор.

В дому запоздалом,
в древесной тиши
не стало, не стало
теперь ни души.

Вкруг жизни, вкруг сада,
его детворы –
живая ограда
живет до поры.

4.
Провал, и безопорье, и дыра,
в бессмысленном пространстве злая точка –
преображенье завтра во вчера,
когда цветок узнает точно,

что восходить ему пора,
когда почует срок тугая почка,
когда трава надумает вставать,
а птицы – время точно обозначить.

5.
Что нас окутало кругом?
Что нас преследует и душит?
Ребячья простота присуща душам,
а мы не ведали о том.

6.
Мы вновь приедем в этот дом,
построенный его трудом.
Там сруба запах сладкий
и сад его посадки.

И по следам его следов
тропинкой узкой вдоль кустов
рябины черноплодной
пройдем мы в дом холодный.

То будет осенью: денек
сентябрьский будет одинок,
как эта тропка лисья,
смешав следы и листья.

Крылечко скрипнет. Стукнет дверь.
И одиночество теперь
в бревенчатом затворе
уже почти что горе.

Так выйдем в сад повеселей:
следы и листья на земле,
и каждое растенье –
его поминовенье.

В саду становится видней,
насколько крепче и вольней,
чем наш удел непрочный,
дыханье этой почвы.

7.
Деревьям ли мерещится война?
земле ль понять людские разногласья?
Судьбе-молчальнице видна
земля, исполненная ясного бесстрастья:

ее парные зеленя,
наплывы или удаленья,
в беспечности ее огня –
рачительное тленье...

И, углубляясь в грунт на штык,
побег грядущий прививая,
вне человечьей суеты
мы в этом мире пребываем.

8.
Утра дачного туман.
Тени хороши.
Распечатанный тюльпан
на столе лежит.

Вы из запредельных стран
получили днесь
распечатанный тюльпан –
дорогую весть.

9.
Тропинка малая в клубничной толкотне,
впитавшая в себя песок и гальку,
сама вернется поутру ко мне,
сама вернется поутру ко мне,
какою б я не обернулся далью.

10.
В лесу сиротливом
есть высохший пруд.
Лопух и крапива
на взгорье растут.

Лопух и крапива –
житейский сорняк –
в лесу сиротливом,
где хвоя да прах.

Не знает окрестный
заброшенный люд,
чей век безвозмездный
окончился тут

и чье здесь когда-то
дымилось жилье,
куда без возврата
исчезло живьем.

В лесу беспечальном
поляна и пруд
нечайно, случайно
на вас набредут –

былого истома,
томление лет –
те вязы вкруг дома,
которого нет.

МНЕ КАЖЕТСЯ, ДУША

1972–1973

Посвящается В.А. Севрюгину

***

Для трагика невидима
и для слепца безлична –
трагедия обыденна,
обыденность трагична.
И не с набатом в унисон
людская бьется мука,
нет, внемлешь ты сквозь смертный сон,
как в стекла бьется муха.

***

Бывает всякое: сентябрь бывает, май...
Сентябрь, пайщиков своих пересчитай –
всех садоводов, их детей и их собак –
ясны их тени в облетающих садах.
А, впрочем, нет, пускай безоблачно-пестры
во всех садах горят деревья и костры,
и мальчик на большом велосипеде,
как маятник, качается и едет.

***

На этой теплой травянистой льдине
по морю дальнему осенних зорких дней
плыву, и ветер гнется в паутине
(куда нам плыть – не решено доныне,
но есть еще решения на дне),
один – никто меня не сыщет, не покинет –
со всеми я наедине.

***

Был последний летний день, и оттого
так отбрасывались тени от него,
будто птицы ни с того и ни с сего
вдруг шарахались от крика своего.

Ты готовился об этом вспоминать
и в затишья нотную тетрадь
заносил забвенье – каждый звук
был лишь сердца запоздалый стук.

ОКТЯБРЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

О том, что я живу у насыпи,
и коль бессонница пуста,
по насыпи несутся наспех
в ваш сонный город поезда –
экспрессы с пыльными названьями –
о том, как слушаю подчас
их частый стук и завывания,
я напишу... кому из вас?

ПОСТОЯНСТВО

Всего важней для мудреца,
чтобы закат был слева от крыльца.
Есть постоянство, что упало с неба:
куда ты слепо ни свернешь,
всё сердце остается слева
от тех минут, которых не вернешь,
от яблони, от полдня, от напева.

Я НАУЧИЛСЯ ПЛАВАТЬ

Я научился плавать, знаешь, где? –
в эгейской одиссеевой воде,
да, по которой плыл к своей беде
царь Агамемнон в наказанье –
и ветер нес обрывки кос Кассандры-
кликуши, а на Патмосе пророк
лежал ничком. Пророческая пена –
предтеча будущего пепла –
теснила берега ребяческий мирок.

...Два дюжих югослава, раскачав,
меня в прибой швыряли, и волна мне
помочь старалась выбраться на камни,
еще чуть теплые сначала, сгоряча.

Неподалеку от Афин,
в воде не чуя огненного сплава,
узнал я, что уменье плавать
в том, что плывешь один.

***

Нет, вам меня не надо знать.
Зачем вам эта благодать? –
придется думать, клеветать,
и это неспроста.
Раздвоен будет облик ваш:
в глазах – восторженности раж,
а за душой никчемность та ж –
и ложь кривит уста.

***

Капель хрупкая посуда
бьется об пол потому,
что дождь повсюду,
ночь повсюду –
а мне славно одному,
потому что я отшельник,
капель стук мне по нутру:
я снимаю свой ошейник,
забираясь в конуру.

***

К чему, и сам я толком не пойму,
но только вот о чем ты мне напомни:
три дня лил дождь, и нынче потому
луна явилась в свет почти что полной,
зеленоватой, но, видать,
и ей желтеть и увядать.

***

Приземлился листьев суховей.
И осталась скоропись ветвей –

расписка в совершеньи буйства,
предписанного травам и листве.

Окрест любого совершенства – пусто.

ПОЛНОЧЬ БЬЕТ

Стучится сердце в гул пустот,
едва ли внятных мне.
И если даже сердце бьет,
я слушаю извне.
Куда летит далекий стук,
гудок товарняка –
не распознать в ночи на слух
наверняка.

ТРАПЕЗА

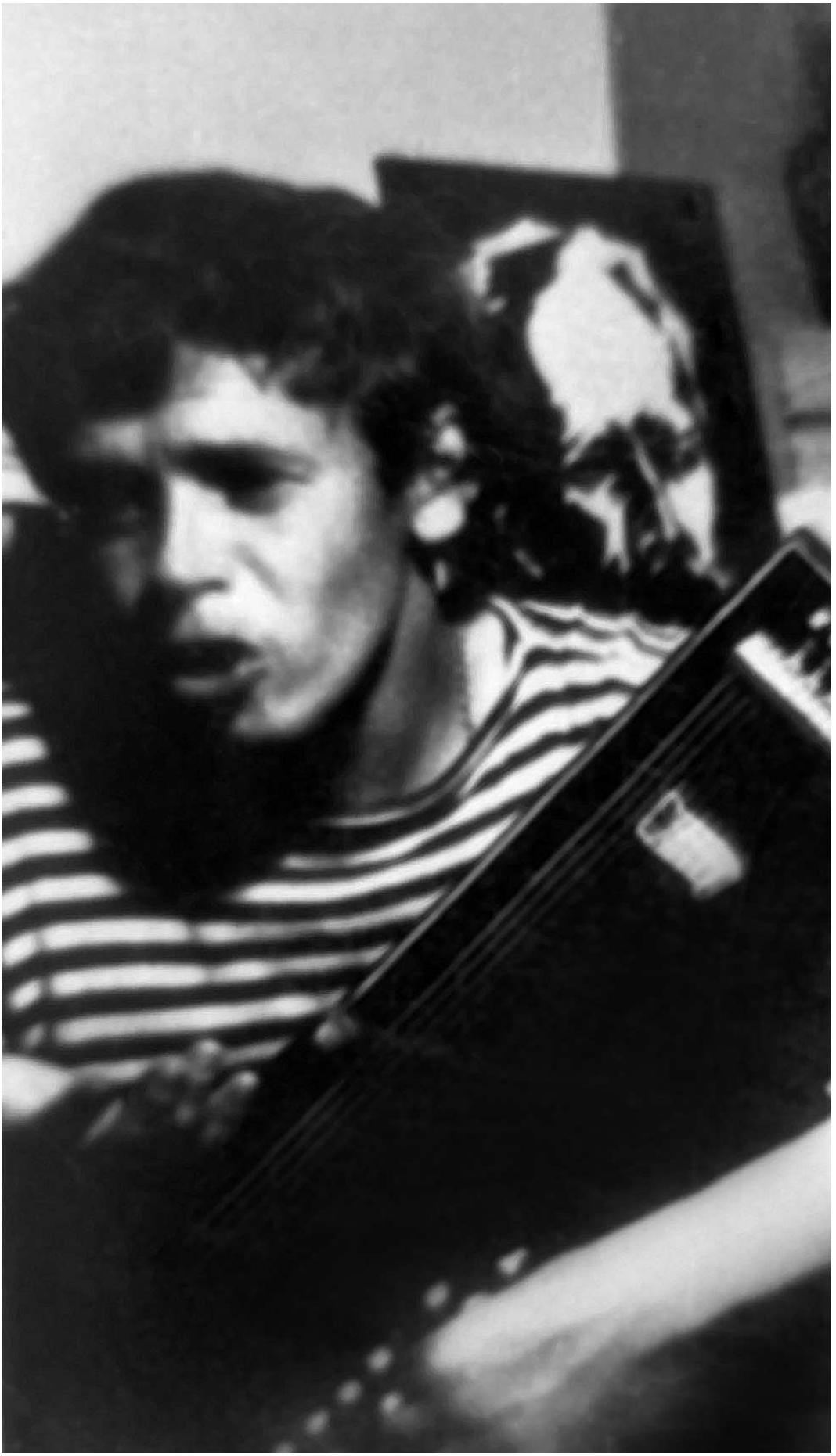
Не хочешь ли запить вот этот хлеб водой?
Хлеб из поддельной городской пшеницы,
зато есть соли острые крупицы,
зато вода почти что из криницы,
хоть есть насос, что облегчит надой.

Хлеб черств, да голод свеж.
К тому ж по-своему пахуч ломоть несвежий.
Вот кружка. Погоди, сейчас отрежу.
Ты долго шел куда-нибудь. Поешь.

***

Гитары шум грудной.
Гавот и сарабанда.
Лишь музыке одной
понятны мы давно.

И влажен низкий звук,
и вечер ближе,
чем дождь окрестный... Вдруг –
ты плачешь. Но пойми же...



ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

1.
Где леса осенние не добры, не злы,
солнечных деньков перебирая четки –
треск сорок, потрескиванье пламени, листвы –
остовы дерев гляжу – серебряные, черные,

или лиловатые, иль с празленью камней.
Языками лиственниц ельник полыхает.
И пылится паутины захудалый клей,
умывальник затянув: листвой он полн до края.

...Ночью зримой в паузах меж причетом собак –
под созвездий чистой, явственной стезею
слышно, будто капли, капли падают во мрак:
это рвутся вены листьев клена, холодея.

В них еще осталась кровь тяжелая поднесь,
но, иссохнув, плоть листвы сдержать ее не
в силах,
и звучат разрывы этих маленьких сердец
в тихих звездных паузах перебранки псиной.

2.
Печь топите вечером, когда в окне синё
(в основанье пламени есть синь такая ж точно),
свет не зажигая, смутно думая свое
в колыханье отсветов, в их самом средоточье.

И когда согреются глина и кирпич,
жар лица к хладеющим стеклам обращая,
слушайте, как дышит жар обугливших ся рощ,
отрешась от радости, не то что – от печали.

3.
Именно поэтому: языком костра,
сим глаголом пламенным ты овладела вольно –
мне хотелось взять тебя в этот мир, сестра,
в этой поздней осени холод полноводный.

Именно поэтому: на ветру утрат
дымом застит пламени жгучие воззренья –
мне хотелось взять тебя в этот мир, сестра,
где огонь и вправду греет – хоть на воскресенье.

ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В БРИТАНИИ ХОЛОДНОЙ

Дождливый день в Британии холодной.
Предсмертность дней столь явственна порой:
где Марианна? где ее герой? –
в Шотландии льет дождик неуклонно.

Коробится бумага, отсырев,
где Джона Китса явственный напев:
так втянут он в воронку ритма,
что всё на свете разрешает рифма.

Спит кошка под шумок.
Стучит по крыше планка.
И капли падают в подставленную банку.
И лёт плаща отяжелел, намок.

Коробится и горбится страница
с отчетливым напевом Джона Китса,
поэта вереском увенчанных болот,
где зыбкий дождь, как нынче, льет да льет...
Не надо, Китс, на непогоду злиться.

***

И снег завалит всякий путь –
то плоский снег, то снег отвесный,
чтоб не ушел мороз, отверстый
для всякого, в ком льется ртуть,
чтоб деревушка в поднебесье,
в мороз ушедшая по грудь,
могла бы, как обоз, свернуть
и сгинуть где-нибудь без вести.

МНЕ КАЖЕТСЯ, ДУША

Мне кажется, душа
не видит после смерти.
Иль видит по-иному, не спеша:
меж оболочек эфемерных

не бьется каждый миг,
как бабочка ночная,

а невзначай проходит между них
и ничего не видит – просто знает

всё сразу. Но едва ль
возможны здесь детали –
так в полной тьме и близкое и даль
сошлись в одно, чтоб мы их не видали.

Как мы не видим – так
глядит сей взор высокий.
А смерть сближает в очевидный мрак
все удаленья – расстоянья, сроки.

***

Лес исхожен до корней.
Укажи тропу мне,
чтобы я ушел по ней,
а куда – не помню.

Вот и вся меж нами связь –
не бывает ближе:
много раз оборотясь,
я тебя увижу.

БАСТА

1973–1975

КОГДА ПРОСНЕШЬСЯ

Я засыпаю на исходе дня.
Крадется сон в качнувшуюся явь.
Ты здесь еще? Не поправляй. Оставь.
Когда проснешься, разбуди меня.

Я засыпаю, мысли приклоня.
Усталость спит, а человек бормочет
и наволочку слюной бессвязной мочит.
Когда проснешься, разбуди меня.

Я засыпаю. Сплю. И ты – мой сон.
Как звездный свет бывает невесом,
но в нем не сыщешь внятного огня.
Когда проснешься, разбуди меня.

Трясется память. Лягушиный квак –
уже над головой, и это знак
того, что наступает глубина.
Когда проснешься, разбуди меня.

Вот точка – вот паук всея тенет.
Она источнику лучи его вернет.
Гнилушка светит – стало быть, гниет.
Легко: золы с огня спадает гнет,
и пепел падает, серебряно звеня.
Когда проснешься, разбуди меня.

Трясется память. Но кругом – такыр.
Мираж – ее оголодавший пир.
Мираж трепещет и вбирает мир:
уже под ним потрескалась земля.
Когда проснешься, разбуди меня.

Ты здесь еще. Но ты уже со мной.
Уже рассвет прикинулся страной.
Пойди покличь извозчика с утра.
Мы уезжаем. Едем. Нам пора.

Я слышу. Слышу. Снег идет. В сенях
стучат шаги. И холодно в санях.
Кругом пирует пьяная родня.
Когда проснешься

и прояснишься,
как в клубах пепла холка у коня,
когда проснешься, разбуди меня.

СКВОЗЬ ДВИЖЕНИЕ

Ты подумай, как летает пчела –
словно весла, ее два крыла,

и прозрачнее, чем крыльев слюда,
их движение туда и сюда.

Всё прозрачно – воздух, влага и твердь,
бесконечности дурной круговерть:

ничего не будет прежде и впредь,
если можно сквозь движенье смотреть.

Но тебе о том известно давно –
сквозь движение ты видишь кино,

где актрису обнимает актер
и к экрану, словно к стенке припер.

***

Где окраины отшиб,
по ошибке, по ошибке
человек один погиб
в безвозвратном полушубке
ото всех людей вдали –
в чистом поле, в чистом поле:
даже тела не нашли,
даже больше – не искали.

О ЛЕНЕ, ПОЛЮБИВШЕЙ АЙЗЕНШТАТА
(сентиментальная пионерская баллада)

Горниста Айзенштата все любили:
он так горнил – потом так не горнили –
и песни пел всех выше на полтона
под аккомпанемент аккордеона.

Его любили за успехи в спорте,
за то, что он отважно бил по морде
врагов своих, и, если враг был гордый,
не кулаками бил его, а горном.

Его любили девочки совместно.
От корешей ему бывало тесно.
Вожатые и прочее начальство
ему прощали ложь и зубоскальство.

Но Лена больше всех его любила:
всходило солнце или заходило –
всё слушала и слушала запоем,
как он горнил подъемы и отбои.

А Айзенштат не обижал любивших –
глядевших, ни на шаг не отходивших –
и с каждым говорил о чем угодно,
и с каждой танцевал поочередно.

Но только Лене это было мало.
Она его за это ревновала.
И раз, пройдя к нему сквозь окруженье,
поцеловать спросила разрешенья.

Тут все забыли про его таланты.
На девочках похолодели банты.
И кореша все шутки поглотали:
не свистнули и не захохотали.

А Айзенштат, потеребивши челку,
отвел ее под вековую елку,
где на стволе его инициалы,
и там она его поцеловала.

Да. На виду у всех поцеловала.
Но только Лене это было мало.
И вечером под долгий звук отбоя
она рыдала над своей судьбою.

...Но время ускользает от событий,
и шепоты той ночи позабыты –
ведь время – это то, что миновало,
залив смолою все инициалы.

И лишь дружки горниста и спортсмена
запомнили забывшуюся сцену
и полюбили Лену до могилы,
хотя она не пела, не горнила.

ПО СУТИ

Когда нас обрили наголо
и в ХБ обрядили,
мы стали совсем одинаковы,
какими, по сути, и были.

Но вскоре мы пригляделись
друг к другу, по лицам судя,
и стали – различны, отдельны,
какими и были, по сути.

Но для прочего мира
и сами по себе
мы стали, по сути, мундиры лишь
или ХБ*.

ЛЕЙТЕНАНТ АЛДОБЕРГЕНОВ

Лейтенант Алдобергенов,
маленький восточный деспот,
укротитель пятой роты,
соблюдатель ярких блях,
проходя по гарнизону,
ищет зорко, ищет рьяно
нарушителей устава –
пьяниц, лодырей, нерях.

Лейтенант Алдобергенов
с неподвижными глазами,
что надрезаны вкосую
злым отеческим ножом
на лице пустом и голом
с кулаками скул калмыцких,
с черной шерстью кобылицы
на черепе небольшом.

* ХБ – хлопчатобумажное обмундирование.

Лейтенант Алдобергенов,
жадный раб неясной страсти,
жадный вор нелепой воли –
он коварен и хитер –
между двух машин военных,
чьи названия опасны,
в день ученья боевого
был случайно перетерт
насмерть.

МАРАТ,
РОБЕСПЬЕР И Д'АНТОН? –
НЕТ – МАДАМ ДЕ ЛАМБАЛЬ

Говорить о Марате-ораторе,
кровопийце, лжеце и т.д.,
и о том, как народ – друг Марата,
убивал Шарлотту Корде,

и о том, как Маратово сердце,
равноправно разрезав ножом,
якобинцы и кордельерцы
по Парижу несли нагишом,

и о том, что за строгие меры
принимались из года в год,
чтоб трусливого Робеспьера
не забыл человеческий род,

и о том, и о том,
как во время инфляции
не играл ли на бирже д'Антон,
чтобы было на что разгуляться,

и о том, как потом
новым подлостям в тон
из убийств понаделали басен –
обо всех этих тонкостях я говорить не согласен.

Я скажу лишь: историк и враль!
Роль свою сознаешь ты едва ль –
смерть твои усмотренья низринет –
ты ответишь, ты! – за герцогиню
де Ламбаль! де Ламбаль! де Ламбаль!

КУДА ДЕВАТЬ ТРУП МИРАБО

Куда девать труп Мирабо? –
такое множество гробов –
уж слишком рано помер он:
поторопился в Пантеон.

Не дожил до разбора
оратор Мирабо,
а то бы очень скоро
прошлись по нем сабо.

А ведь имел он целью
не частное лицо
и не автодицею,
как господин Руссо.

ВТУНЕ

Не восходя на эшафот,
скончался втуне Миработ.

Не доходя до адских врат,
Мюратом сделался Марат.

Событий славный поворот
достойно осветил Гюгот.

Но он не привлекает нас –
зане прельстительней Дюмас.

ЭПИЗОД

Однажды Луначарский,
сказавши речь про классы
и увидав начальство,
как будто в страшном сне,
упал с трибуны в массы,
упал с трибуны в массы,
разбился и измазался
и потерял пенсне.

ЧТО Ж ТОТ ЧУДАК

Что ж тот чудак,
что в смертный час Помпеи
ловил руками падавшие камни
и перебрасывал с ладони на ладонь,
как мы подчас картофель испеченный? –
мир пеплу своенравному его:
из горожан, проснувшихся в то утро,
никто его искусства не приметил –
они ведь даже гибели своей
в тот ясный день путем не разглядели.

УРА

Театральный режиссер,
модернист на вес –
и сколь ни был он остер –
еле в джинсы влез,
чтоб попасть в страну чудес –
ведь здесь у нас – дыра –
приподнимает он желез-
ный занавес: ура!

СЪЕЗД

Собрались как-то дети Дон Жуана
из всей Испании, из всех легенд известных,
и даже из Голландии нежданно
прибыть изволило немало важных лиц,
и близ Толедо, в садике окрестном
они неделю пировали важно,
но всё допив и разочаровавшись
друг в друге, восвояси разбрелись.

МАТЕРИАЛИЗМ

«And I eat men like air»
S. Plath

Да, это так:
окислилась Жанна д'Арк.

А Сильвия Плас
сама хотела пожирать людей, как воздух –
она уже пылала, жглась...
но было поздно:
окислилась.

ВСЕХ ЛИ ПОГУБИЛ ПОТОП

Всех ли погубил потоп? –
ничего подобного! –
оставалась на потом
рыба допотопная –
она тешилась водой,
той водою судною,
по которой плавал Ной
на своей посудине.

ПТИЦЕЛОВ

Жил в Ирландии ирландский поэт
в башне сизой, где сова не поет.
Птицеловом был: не птиц, а полет
он ловил паучьей сетью чуть свет.

Он был Гамлет из хорошей семьи –
кто католик в ней, а кто патриот,
кто фанатик, а кто нытик, и вот
стал он Гамлетом себя посреди.

На бутылках он любил ярлыки,
этикетки, пробки, пленку свинца,
он любил, чтоб расходились круги
от упавшего в ладони лица.

Он был истиной нагой умилен –
не одеждой лживой ах в кружевах –
под чулками, под укромным бельем,
где под мышками пушок рыжеват.

Миновали молоко и латынь,
Августин, иезуиты, запой –
дальний Дублин от зари золотым
одеялом укрывает прибой.

Он спустился с парашютом в Париж,
там, где в Сене протекает абсент,
где художник ловит отблески крыш
тем, что явно начинает лысеть.

Он показывал жене Нотр-Дам,
Тюильри, и Лувр, и Пале-Рояль,
в лимузине по Монмартру катал,
где убили госпожу де Ламбаль.

А Ирландия плыла по волнам,
и вдали качались мачты аббатств,
тех, к которым он ее ревновал –
он создаст ее по-новой, Бог даст.

Он был Гамлетом себя посреди,
только Авеля он не убивал –
он за Авелем повсюду следил:
как чесал тот гениталий развал.

Он был Гамлет, но его не вернешь:
он до Англии добрался, и там
обезглавлен не был – не по летам.
Видно, грамоту подделал он все ж.

Он предпринял путешествие в смерть
и назвал ее всей жизнью, да: всей.
И в паучью Пенелопину сеть
возвращается всю жизнь Одиссей.

...Но напев – напев он не одинок:
со звучаньем смысл венчается – речь
уплывает – беспечальный челнок
по волнам круглей цирцеиных плеч.

ПИГМАЛИОН

Плохой ваятель
Пигмалион
(погиб, приятель,
твой истукан!) –
на плоть земную
меняет он

всё то, что всуе
он высекал.

Увы, доволен
ли Аполлон?
Киприда, вволю
себя потешь:
заколет телку
Пигмалион,
не зная толком
своих надежд.

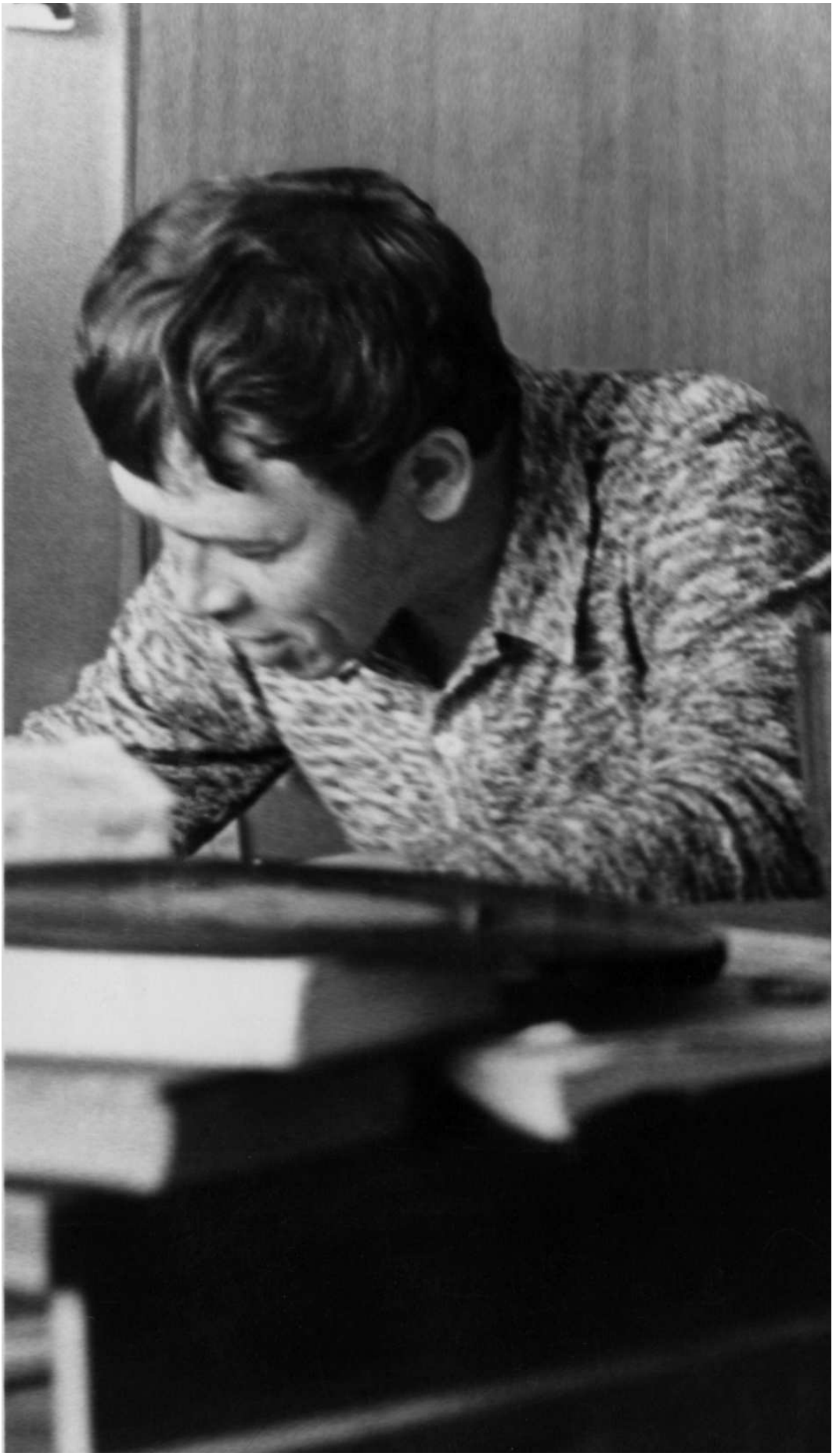
Из-за стакана
Пигмалион
на истукана
бы век глядел.
Коль в тлен бесследный
он так влюблен,
что ж, видно, тленье –
его удел.

Наутро люд
спросит: где же он?
Что ж не идет
покупать кефаль?
Окаменевший
Пигмалион,
хоть и не евши,
придет едва ль.

***

А.Т.

...Боюсь, что недостойны вы
ни вашего страдания,
ни даже одиночества –
и с ним вы тоже врозь.
Боюсь, что это самое
большое наказание
из тех, что незаслуженно
нести вам довелось.



ШАХМАТОВО

Вот здесь, на этом склоне неглубоком,
сгорела дача Александра Блока
(ее сожгли): шиповника заслон
остался лишь да тополь серебристый,
дощечка с надписью да редкие туристы,
окурки, корки да бутылок звон,
да лес нетленный, да поляны склон,
да облака – вот памятники Блоку.

НАШ ОСТРОВОК

Наш островок отчалил от страны,
трясущейся от страха колыбели –
мы даже издали теперь не голубели,
волненьем вод от бурь ограждены.

Невелико приволье, но и тут,
оставив распри, происки и споры,
достигли мы великого простора,
где дети, травы, добровольный труд.

Белела церковь с куполом в волнах,
с приделами в зеленой луговине,
затем – изломы изб в резьбе-рябине,
заборы, куры, огороды, прах.

Здесь жили мы тишком за годом год:
рождались полюбовно, умирали
средь любящих, молились в день печали,
ловили рыбу, выгоняли скот.

Потом гуляли праздники, потом
на мясоед трезвонили венчанья,
и не вороны тучами, а чайки
по-над церковным реяли крестом.

Но как-то утром видит наш звонарь:
идет на нас из дальнего залива
великий флот страны несправедливой,
оставленной общиной нашей встарь.

И в час, когда к заутрене звонят,
и гул любовно поднимают волны,
над островом зеленым, полюбовным
неслыханный ударился набат.

Весть разнеслась мгновенно. Весь народ
метнулся к пристани вперед молвы и крика,
всё кинув – и от мала до велика
ликуя: час расплаты настает.

Неслись калеки, выскочив из плеч,
бежали матери, не докормив младенцев,
и всяк страшился в замиравшем сердце
всеобщею кончиной пренебречь.

Больные выползали и, воздев
негнущиеся руки к убегавшим,
«И нас, и нас! – кричали, – всех, так всех, –
мы все сродни одной державе нашей».

В одно мгновенье был опустошен
наш остров, обезлюдели жилища,
и полый храм от купола до днища
безмолвия хранил глубокий стон.

В последний раз мелькнули впопыхах
посад, околица, откос и тополь круглый.
Вот горизонт в волнистых парусах.
Вот глаз людских хладеющие угли.

И замер на причале весь народ,
вперед подавшись сблизившимся телом.
Шли паруса, налившись ветром спелым.
Все ближе, ближе, явственней, вот-вот...
Но мимо, мимо проплывает флот –
неужто он и вправду уплывет
всё дальше, дальше – прочь
из этого напева?

***

Пусть гнетет тебя, храня,
одиночества броня

тяжестью своею –
хоть враги – рогатый скот,
всё же в латах Дон Кихот,
и, как нимб, сияет тот
тазик брадобрея.

ТРИ ВОРОНА, ТРИ ВОРОГА, ТРИ ДРУГА

Три ворона, три ворога на ели
черней, чем могут вороны, чернели.

И рек один: вдали в зеленом поле
лежит боец, и он не встанет боле.

У ног его лежат собаки
и витязя оберегают паки.

И соколы его над ним кружатся,
чтоб мы к нему не смели приближаться.

К нему пришла его душа-молодка:
моложе, чем сама ее походка.

И раны его долго целовала,
а раны те алее крови алой.

А после в чистом поле схоронила
в могиле, что чернее, чем могила.

Пережила недолго друга-млада –
не дольше, чем шотландская баллада.

Дай Бог тебе, скиталец неизвестный,
таких – собаку, сокола, невесту.

ТАКАЯ ЯСНОСТЬ

Такая ясность в утренних дворах
и в каждого забора явной щели,
как будто вдруг у всех прохожих – рак,
и им об этом ясно сообщили.
Строительств фермы, верно, потому

присыпаны потусторонним снегом,
в котором город ночью утонул,
смешавшись с непроглядным небом.

***

Ах, от худа, кроме худа,
ничего не жди!
Если предает Иуда,
и никто не верит в чудо –
посреди вражды,
среди пьянства, среди блуда –
ты от худа, кроме худа,
ничего не жди.

В ЧАС ЛЮБОВНОГО МОЛЧАНЬЯ

В час любовного молчанья, леди,
издавайте ваши стоны,
крики боли и истомы,
как кричали бы, едва родившись, дети.

В час любовного безделья, леди,
расправляйте ваши взгляды,
кольца ног и плеч рулады,
прядей всполох и объятий плечи.

В час любовного наитья, леди,
не делитесь ни с подругой,
даже ни со всей округой,
а молчания тяните сети.

В час прощания с любовью, леди,
не печальтесь, плакать силясь,
вы давно уже простились
и уехали домой в своей карете.

УХОДЯ СПОЗАРАНКУ

Уходя спозаранку,
ни о чем знать не знай –

пусть трезвонят цыганки,
скоморох и звонарь,
телефоны, трамваи,
стайки птиц и капель
о том, что без утайки
мы узнали теперь.

ВОСХОД СОЛНЦА

Кончалась ночь – утех? – утех.
Но есть поверье вот:
один увиденный восход –
один прощенный грех.

А потому, а потому
скорей смотри в окно,
и там, где было – все одно! –
ты не увидишь тьму.

А если вместе поглядим
его издалека,
то хоть восход – один? – один,
простятся ДВА греха.

***

Оставишь мое имя
в пороке и во зле:
глазами золотыми
посмотришь мне вослед,
не думая о прежнем,
напрасно не скорбя,
и, – о какой безгрешной
почувствуешь себя.

***

У женственности свой секрет –
всегда носить под сердцем
среди осиротевших лет
себя – совсем младенца.

И в этой тайнописи глаз
проглянет моментально,
как просторечье детских слез,
совсем простая тайна.

***

...Наивно искушаемый тобою,
мир для тебя лишь зеркало кривое.
Но ты глядишься в нем настолько мило,
что никогда душой не покривила.
За тридевять земель – за красотою –
живешь себе одна – нет, вместе с тою
покорностью, в какой вольны лишь дети,
еще едва живущие на свете,
еще не закрывающие глаз...
Как странно мне приволье твоих ласк.

***

Добро и зло в ней смешаны исконно.
И как-нибудь сквозь слов, издалека
она и мудрой быть вольна, но скорбной –
хотя б нечаянно, хотя б слегка
ей невозможно сделаться, поскольку
не тот мотив, гармония не та,
а было время и не те лета.

***

Она была из тех полупустынь,
где миражи столь явственны и зримы,
что перед ними жалко меркнет явь.
Раз побывав средь черепков такыра,
я по сей день узнать хочу, одно ли
виденье грезится двум путникам вдали,
душой своею каждый видит ли?

***

Не век глядеть нетленно
и отражать, блеснув,

слепого вожделенья
чужую кривизну –
и кто-нибудь согреет
когда-нибудь, дай Бог,
твой влажный и серебряный
зеркальный холодок.

***

Страшись однажды в душу к ней войти,
как входишь в город древний на пути,
исполненный сегодняшнего блеска,
не замечая средь красот жилых
руин, оставшихся от храмов поднебесных,
хоть, может быть, ты сам разрушил их.

ЛЕГЕНДА

Я – ваятель душ и тел.
И в Париже даже
скажут: не один Роден
славою уважен.

Раз – зачем душой кривить –
с женщиной случайной
нас свели – чердак, кровать,
вечер или чарка.

Ночь прошла, и я узнал
то, чего не ведал:
что в единый миг уста
утоляют верность

многолетнюю. И я
захотел наутро
в белый мрамор изваять
мрак любви минутной.

Материала под рукой
не нашлось и, боги,
вспомнил я про дорогой
памятник супруге:

брака крепкого тайник –
лик, крыла и венчик –
что недавно я воздвиг
в знак любови вечной.

Расколол я тот кумир
и осколки – лед их –
в вечный памятник свалил
любви мимолетной.

МОЛЧАНЬЕ

В одной балладе, что поют под банджо
у смеркшихся амбаров Арканзаса,
всё происходит также безнадежно,
как в жизни, что уходит нараспев.
Был человек на улице зарезан,
но люди убегавшего убийцу
со мною спутали, и я к утру был связан,
хоть не сопротивлялся, и шериф
сказал: «Без алиби спастись ты не надейся»,
но я молчал, поскольку тою ночью
я был вдвоем с женою друга детства –
да, в их постели, Господи прости.
Вот так я стал убийцей и воочью
увидел казнь свою однажды ранним утром,
стал мертв бесповоротно и навечно.
И десять лет она о мне грустит.
Ночами непогожими за хутор
она уходит на мою могилу,
и низкой шалью голову закутав,
стоит подолгу около меня.
Не плачет. Ни слезы не проронила
за десять лет – всё думает упорно:
она свое молчанье схоронила
под этим камнем. Бедная моя! –
молчанье сохранится в преисподней,
как сохранилась эта вот баллада,
и вот ее поет твой муж исконный
на склоне утомительного дня.

А что еще для вечной жизни надо?

ЗАПОЗДАЛОЕ ПОСЛАНЬЕ

«Елена, запоздалое посланье
принес мне Ваш сияющий кузен.
Измучен ожиданием и ленью,
я было уж, отчаялся совсем –
подумывал без дела о дуэли,
о брачной сокровеннейшей постели,
разглядывал Ваш одинокий локон:
без Ваших глаз и вправду одинок он.

Кузен Ваш плут. И в этом Вам подстать.
Поверьте мне, не будь он Вашим,
я б пристрелил его, прости меня Господь,
с постели даже не вставaвши,
как грязного черкеса иль жида,
но нового посланья ожидать
хотелось бы, и этого Гермеса
прикончить нет покуда интереса.

От мужа Вашего мне передан поклон.
Да, кланяться он мастер... В Петербурге
увижусь с ним зимой, и, верно, он
мне передаст поклоны и восторги...
Не беспокойтесь – Вас я не предам,
но и поклонов для la belle madame
нижайших от меня не ждите... Впрочем,
Вы и сейчас-то ждете их не очень.

Поверь Елена* ... Этот горький год
еще помянете Вы сиротливым словом
и... скажете кузену: был он горд,
но сломлен мною тотчас... О, ни злого,
ни доброго от Вас не ждал я чувств,
и если я сейчас не отшучусь,
то выскажу без страха и без нужды,
что покорен был жадным равнодушьем,

с которым Вы живете. В первый миг
я был испуган даже... Ну, да что там,
теперь меня всё это не томит,
и Вам не обязался я отчетом.

* Обращение в тексте письма зачеркнуто.

Теперь вольно́ мне ночью вспоминать
движений Ваших неживую гладь
и глаз неповторимое бесстыдство –
как в миг любви они трезвы до любопытства.

Теперь вольно́ мне жить без Вас, вольно
мне исцеляться то войной, то ленью.
Плохое кахетинское вино
и то порой казалось мне целебным...
Супругу Вашему я так скажу: «mon cher,
тебе я благодарен свыше мер –
когда б ты вовремя с семейством не явился,
я б в этом подлом городишке спился.

Твое радушье... у меня вот тут
сидит! Кого теперь ты не приметишь,
кого в гостеприимный дом введут
приятелем...». Но это разуметь лишь
я буду, благодарно говоря...
Да, нынче ночью я напился зря.
Пусть строгий нрав Ваш за слова не взыщет –
всему виной похмелье и жарища.

...Вчера четыре раза проезжал
Ваш экипаж перед моим оконцем...
Куда Вы ездите все время? Впрочем, жаль,
что нам проститься с Вами не придется.
Мне это – смерть. А Вам – что за беда.
За Вашим экипажем пыли клубы
я наблюдал... Прощайте навсегда.
Целую Вас в запекшиеся губы».

НА СЛОВАХ

Скажи, что ни за что схватил я срок.
Что ротный врал. Что скоро, мол, отмаюсь.
Не говори, что лупит нас кусок.
Скажи, чтоб все же высылали малость.

Что Борька продал, бабе не трепись –
опять сойдутся, хоть и через свару.
Она уж раз давилась. А Борис
ее прибьет или ославит даром.

Водяра будет. Батя пьет шутя.
Да и свояк, хоть с придурью – не постник.
Но бабу ты – ни-ни – ни за грудя –
она мне всё одно отпишет после.

И мы не будем больше кореша.
А сколько сроку сволокли на пару.
Скажи, что здесь не платят ни гроша,
и, разве что, на дембель кинут, падлы.

На мать гляди. Отцу до фонаря.
Коль с кем еще пошла моя шалава,
завоет мать. И всё же вдругорядь,
не трогай девку – может, брешут бабы.

Бориску встретишь, руки не марай.
Напишешь два раза – и то подмога.
Гуляй. Не на чужом уехал в рай.
Бери. Бери. Портянки. На дорогу*.

БЕДНЯГА ЙОРИК

Что ж, помню. День был ветреный. Весною
грунт мажется. И глина тяжела.
Мы было уж управились. Вдруг – двое.
Один оборван чуть не догола.

Но сверх отребьев брошен плащ изрядный.
Другой (чей плащ), ну, так себе – школяр.
Над нами встали. Говорят. Ну, ладно.
Потом им череп дался. На кой ляд?

Пристали, дескать, чей. Ну, ладно, вру им,
де, Йорика, придворного шута.
Тут оборванец хвать пустышку в руки
и ну болтать. Я, видишь, неспроста

* Судя по жаргону («кусок» – сверхсрочник, «дембель» – демобилизация и проч.), разговор происходит не в тюрьме, а в «дисбате» – дисциплинарном батальоне. Но так как, отбыв срок наказания в таком батальоне, солдат возвращается не домой, а в часть – дослуживать отсиженное, можно предположить, что тот, к кому обращены слова, «комиссован» из «дисбата» в связи с какой-нибудь неизлечимой болезнью.

приплел им Йорика. Хоть пьян был, но
в бродяге
я сразу принца нашего признал.
«Бедняга Йорик!», – врет, как после браги.
Ох, не люблю я, брат, добра и зла.

А пуще – болтовни о них. Хоть нашу
покойницу возьми – шумел народ,
что принц ее покойного папашу
прихлопнул, словно моль. А нынче врет

про смерти окаянства. Так-то. С ямой
мы кончили. За Йорика мне – дань.
Как раз идут с покойницей. С той самой,
которая утопла. Дело дрянь.

Уперся поп. Не догнусавил что-то.
Брат трупа распалился – прямо страх.
Пристал к попу, как пьяная икота.
(А парочка моя, меж тем, в кустах

хоронится.) Ну, гроб спустили в яму.
Тут этот самый братец, малый хват –
в плаще заморском – вдруг за гробом прямо
в могилу шасть, чтоб вместе засыпать.

Кричит, как кочет. Больше про сестрицу.
Утопленницу. Вдруг из-за кустов
несет туда же чокнутого принца.
И он зарыться, стало быть, готов.

Орет, как брат. А то и познатнее:
покойница ему куда милей.
Ну, тут и подрались они над нею.
Из-за нее и подрались. А ей

теперь, поди – что истина, что враки,
что эль, что безутешная вода.
Ей, вроде нас, родимой – не до драки –
нам: поскорей засыпать и – айда.

ПОМЕШАННЫЙ

Помешанный! Помешанный:
лица разжат кулак,
руками чисто внешними
он машет так и сяк.
Его улыбка, лобик и
пустующий зрачок...
И прямо счастье ловит он,
несчастный дурачок.

***

Не печалься, древний Габирол:
горечи никто не поборол
и никто не стер с лица печали –
далеко печаль за тусклыми очами.
Сразу и тоскует, и поет –
горечь нам – что верная подруга...
Но наутро замечаем грубо:
призрачны объятия ее.

***

День базарный бел, как мельник.
Ай, наверное, с похмелья
Айзик Фидл продал скрипку,
продал скрипку он уже:
не играет больше сипло
он ни в свадьбах, ни в застольях –
музыка осталась только
у него в душе.

СТАНСЫ

Вот оттого-то Каина
невместно убивать:
привычное раскаянье
он должен испытать.

Кончины ждать овечьей
привыкли мы гурьбой,

и каинов привычен нам
раскаянный убой.

Наш век уже навыкате,
но ужасу темно –
раскаянье привыкло к нам:
бесчинствует оно.

Привычки дым, как курево –
не выдохнуть всего.
Тебе судьбу такую бы,
безгрешный овцевод.

ПОБИЕНИЕ БЛУДНИЦЫ

Когда увидел грешницу
Спаситель между нами,
сказал Он: «Кто не грешен здесь,
пусть первым бросит камень».

И пьяный мытарь возопил,
гранит сжимая потный:
«Уйди, покуда не побил
Тебя народец подлый!

Мы все грешны – неведомо
иль явно – все мы – в яме,
и именно поэтому
побьем ее камнями».

ЕСЛИ БЫ В КАНЕ ГАЛИЛЕЙСКОЙ

Трясущимися руками
пью водопроводную воду.
Вот если бы быть мне в Кане
одним из нищего сброда –

мне б кто-нибудь из галилеян
наполнил бы чудом чашу...
И я бормочу, веселея,
ртом, о стакан стучащим:

«Славен Иисус Чудотворец,
жених и невеста славны,
гостей подгулявший народец,
детишки, собаки, камни».

ИСХОД

«Во сне был осчастливлен вами
И благодарен наяву».

Пушкин

Меня примчал, как говорится, лайнер
(воздушный лайнер) из московских недр
в немеркнущее по ночам гулянье –
в столицу всероссийского кривлянья
на западный и на любой манер.

От сточных вод и кладбищ Голодая
мы шли через Васильевский пешком,
немеркнущую полночь наблюдая –
со мной была еврейка молодая,
зане я с нею был почти знаком.

Еврейку звали Рива (правда, Рива?).
Ее любовник дунул в Израиль.
Но медлила она неторопливо,
а он ей письма слал из Тель-Авива
и тем хотел нарушить этот штиль.

Да-с. Ночь была бела. И очевидцев,
могущих подтвердить мои слова,
навалом было: пацаны, девицы,
эрдельтерьеры, фокстерьеры, шпицы,
владельцы их. А посреди – Нева.

Нева литературная! «Неву ли
мы видим пред собой?» – «Неву, Неву».
От Шмидтова моста мы повернули,
и Новая – во сне ли наяву ли –
Голландия явилась наяву.

В ней не было голландцев. Русских тоже.
А ночь, меж тем, и здесь была бела.
«Лишь мы с тобою в это чудо вхожи!

Я по отцу еврей, хоть непохоже,
имей в виду». «Имею». (Соврала.)

Вода в канале гнилью пахла вяло.
Без искажений млели среди вод
дома (их тина густо населяла),
заря и что-то вроде арсенала
иль крепости без окон и ворот.

Мне кажется, я эту местность видел –
ну, как же, как же здесь, поди, живет
художник удивительный Левитин,
любитель поболтать о Зен, ценитель
особых поэтических красот.

Сомнительность мила в подобном типе
отшельников – их мера и ярем –
при насморке и перманентном гриппе
от сырости окрестных линотипий,
среди которых мы теперь идем.

Красивые мосты и их перила.
Дворцы – не стать московской толкотне.
О чем мне Рива гордо говорила,
а я ей отвечал: «Конечно, Рива,
с тобой на все согласен я вполне».

Забыл сказать, что Рива – ленинградка,
а это не прописка, но уклад:
для ленинградцев нет миропорядка,
для ленинградцев всё бездарно, гадко –
всё бред, а на вершине – Ленинград!

Их хиппи вне сравненья и закона
калифорнийских пращуров хиппей.
В Париже есть Саган, но нет «Сайгона» –
стоячее кафе для эпигона:
двугривенный займи и кофе пей.

Ах! Эрмитаж! Охапкин: бас отпетый.
Храм на крови. Аврора. Лена Шварц.
Есть на зиму дворец и сад на лето.
Исакий. Алла Дин. Для винегрета
И Кушнера довольно будет с вас.

А крепость? А Соснора? Всадник главный?
Фонтанка. Мойка. Невка. Некий Эрль.
Собор религии и атеизма. Лавра.
Поэт Охапкин. Не хватает лавров
у варваров. Но где же мы теперь?

Да, это сумасшедший дом на Пряжке –
тяжелый и на деле желтый дом:
в нем кто-то гнил из ленинградской бражки –
алкаш, небось, или имел замашки –
кололся или выпущен потом.

Отсюда вновь каналом к дому Блока
мы двинулись вдоль лодок под чехлом,
что на колодках спали крутобоко
вдоль набережной. Было одиноко
и мне, и ей... Ей-ей забыл про ром!

В дорожной сумке у меня меж прозы –
меж Петушками, скажем, и Москвой,
между стихов походного обоза
была с собой – как я забыл, о Боже –
початая бутылка рома... Стой!

Про ром скажу отдельно и весомо,
не просто помяну его добром:
прекрасней и светлей сухого рома
«Havana Club», шесть рэ, привез из дома,
едва ль когда бывал на свете ром.

Люблю словцо «uncork»! Свинтил я крышку
(и ночь в сей миг всего белей была).
Ром чуть горчил и вызывал одышку.
Но лишь на миг. «Твое здоровье». Ишь как
пьет наша Рива – браво – из горла.

Так шли мы, поддавая то и дело.
По тусклой влаге лодка проплыла.
Вдали мелькнули два невнятных тела.
То были мы. (Признаться, ночь темнела.)
И смех сих тел звучал из-за угла.

Со стороны я посмотрел на Риву –
да, Рива походила на Рахиль,

но не на мать, рожавшую ревниво –
на девочку среди овечьей гривы,
Иакову явившуюся... Иль

не походила – разве ростом малым,
движений отсебятиной смешной,
потемками волос, но не хватало
доверчивости с самого начала,
что так сияла в неподдельной той.

Пожалуй, в Риве крылась только сила,
хоть древняя, ненадобная хоть –
в глазах ее и в голосе сквозила,
но видит Рива мало и спесиво,
а скажет что – не приведи Господь.

Но нет, за Голодай, где мы плутали,
за то, что мы расстанемся на днях,
за нашу встречу, за поездку в Таллин,
я благодарен Риве, благодарен –
за связь, за спесь, за слово «парадняк».

Смотри, смотри, смотри полуоткрыто!
Под тяжестью ее восточных век
чуть искрится: поди ж – благодарит он!
А я любуюсь потаенным ликом,
бутылку запрокидывая вверх.

ПЬЮ ЗА РОДСТВО ПО ИМЕНИ СИРОТСТВО!
За город упоительных затей,
любимый столь Ахматовой и Бродским,
за Розанова дом на Петроградской –
ах, Розанов – российский иудей!

...Темнела ночь, хотя и незаметно.
Заря обходом шла вдоль перспектив.
Дома, дома, как ипостаси метра,
между домов втирались незаметно,
пустые расстояния сплотив.

Дом Блока. Угловой. Вон тот. Едва ли.
Блок в Ленинграде не жил никогда.
Ведь и тебя переименовали:

не Рива ты. Пойдем отсюда дале –
под этим отражением – вода.

И мы пошли – оставшиеся двое
среди пустынных каменных прикрас.
Туземцы пили пиво над Невою,
но и у нас всё кончилось запоем,
прервавшим сей бесхитростный рассказ.

Остались лишь фасадов сны и стены
от этого гулянья год назад,
и вспомнил я забывшуюся сцену,
поскольку Рива улетела в Вену,
оставив мне на память Ленинград.

***

Я был бы верен до конца
тебе, души краса,
но пальцы коченеют,
но с неба падает звезда,
как птица из гнезда
(иль, как птенец, точнее).

Вкруг теплой жизни – звезд оклад,
о Боже:
тепло есть вдохновлённый хлад –
не больше.

РЕЧИТАТИВ

1974–1975

«Словно как шумный осенний Борей по широкой
равнине
Носит повсюду засохший, скатавшийся густо
репейник,
По морю так беззащитное судно носили
Ветры...»

Одиссея

«Если умершие смертные память теряют в Аиде,
Буду я помнить и там...»

Илиада

ПОСВЯЩЕНИЕ

Когда утонет древний грек,
насыпьте холм на милый брег,
чтобы к нему пришла душа,
одна домой спеша.
Пусть безымянный этот холм
всю сохранит тебя тайком,
как те могилы, что хранят
лишь имена... И то навряд.

1.
Костлявый берег тлена.
Зачем тебе Сирена,
очередной пловец? –
пускай куда-нивесть
свою ладью направит...
Но ты молчать не вправе:
пловец покинет челн,
не ведая, зачем.

2.
Ты велик, Кронион!
Вот – парное мясо.
Быть богохранимым
так небезопасно.
Ты знаменье дай нам,
хоть оно коварно,
хоть откроет тайну
только фрагментарно.

3.
Сквозь вереск прежний
вижу на миг я:

на побережье –
дева возникла –
как «Одиссея»,
что возникает
в маленьком сердце
у Навзикаи.

4.
Вышли надежды,
прибыла убыль,
когда однажды
тебя пригубил
и на плачевный
мир полупьяный
через плечо твое
смуглое глянул.

5.
Боги, герои,
нимфы тенистые –
не за горами
их вечности местные –
ясно, капризно
в смертных объятиях
их вечной жизни
длилось проклятие.

6.
А есть еще века,
где нам – какое дело,
что ненависть легка,
что близость пустотела,
где детской простоты
бесхитростно коварство,
где олимпийцев рты
умели целоваться.

7.
Отдайте море всем ветрам на слом!
Судьба волос твоих еще коснется.
Младенческой душе еще не снится,
как тесен мир между добром и злом.
Ударь, гребец, по глубине веслом!
И знаешь ли, хитрец голубоокий –

в Элладе даже зло творили боги,
чтоб люди говорили: поделом.

8.
Время столь одушевленно,
а пространство столь бездушно,
и на острове бездонном
дней чужих считать не нужно:
вечность дремлет безразлично.
Спит Елена. Нестор вянет.
И отца напрасно ищет
Телемак средь расстояний.

9.
Если вам время отсчитывать надо,
вот вам песка переливы, а также
звон, по окрестным ночам не стихавший:
это секунды, то есть цикады.
Время не требует гирь и завода:
миг – и прилив совпадает с отливом.
Вдоволь песка безразличного либо
точных цикад сокровенного звона.

10.
Остров окружает пена
бешеная здешних бурь.
Зря бесстрашный взор не хмурь:
шторм уляжется в лазурь
штиля. Упоенье плена
ты узнаешь – что порой
упоительно, герой.

11.
Здесь царственно Цирцея
подносит хмель таинственный,
чтобы распались цепи
и воцарилось свинство,
и до чего красивы
ее глаза без слез
и золотая нива
божественных волос.

12. ЦИРЦЕЯ:
Ждать нам, богиням,
положено вечно.

Жажды погибель
бесчеловечна:
в людях пред нею
мне на потеху
разом бледнеет
лик человека.

13.
Хитрая волшебница,
милая колдунья –
ее травы шепчутся,
злобствуют, ревнуют...
Но сюжет не дремлет,
и летит с небес
с корешком подземным
бронзовый Гермес.

14.
Нас богиня обратила
из свиней во человеки
и сидела среди пира,
говоря: «Пируйте, греки!»
А хитрец наш, хоть нетрезвый,
уж склоняется над ней:
«Кто глаза твои надрезал?
О, никто б не мог точней!»

15.
Состав колдовского напитка,
который готовила Кирка:
добавить в горячую воду
овечьего сыра и меду,
пшеничной муки и вина.
Рецепт проверяла она.

16.
Спьяну, в пылу ли –
все же обидно вам:
не помянули
вина глинобитного –
душу разъяв, оно,
плоть разорвавши,
щедро разбавлено
трезвостью вашей.

17.
Всё одновременно.
Сциллины красы
обратив в химеру
(вместо лона – псы),
знай, Цирцея, страсть твою
БУДУЩУЮ – днесь
месть постигнет: странника
Сцилла хочет съесть.

18.
Одна богиня дикая
далёко от села
средь зарослей возникнет
нагая, как скала –
она тебе с утеса
опустит хмель волос –
охотник, лезь, не бойся! –
не то – высок утес.

19.
Лес старинный, крутобровый,
где оленю спаса нет.
Звук охотничьего рога –
мощных легких свежий след –
здесь Диана хорошеет,
хорошеет на глазах –
ей собаки лижут шею,
щеки, губы и глаза.

20.
Аполлон спросил Гермеса,
указуя на Ареса,
что лежал с Кипридой парно
в ревности сетях коварных:
«Интересно,
согласился б ты, Гермес,
сей позор познать Ареса?»
...Что ж, по-вашему, повеса
отказался наотрез?

21.
Отправляясь в царство теней,
Одиссей не оглянулся,
оттого что парус гнулся,

нисходили волн ступени.
Но ему приснилось вскоре –
остров, заросли высоко
и одышливое море
восклицаний, воплей, вздохов.

22.
Прощай, полубогиня,
полупогибель и...
Видения нагие
в нагой груди храни.
Пора обратно в пекло,
где не простынет след,
хоть мне легко, КАК ПЕПЛУ,
с тобою... полубред.

23. ЦИРЦЕЯ:
Не памятью, а жизнью
живет Олимп горе.
Участвовать ты призван
в беспамятства игре.
Забвения искусством
мы все владеем тут –
следы моих укусов
еще не заживут.

24.
Спускался в царство теней он –
кто пропустил его?
туда, где все потеряно,
прозрачно и мертво
(но пустоте той тесно,
прозрачность ту не тронь!) –
так мы по темноте своей
спускаемся в метро.

25.
Там за скалой забвения,
за белою скалой –
безвременная пена,
изношенный прибой –
в забвении удушливом –
крылаты и малы –
над каплей крови души
пищат, как комары.

26.
Матерь прозрачна –
и слезы, и руки.
Едва означены
мертвые други –
сонм их – истома
свершенного рока –
с ними живому
так одиноко.

27.
Тополь черный или ива –
флора мрачного Аида.
Ну, теперь мужайся, муж:
обнаживши меч двуострый,
поплывешь – эолов остров –
средь безумья легких душ.

28.
Посмотри сквозь Ахиллеса,
Агамемнона послушай
речи мертвые, и, если
не затопчут тебя души,
ты спроси кого попало –
безызвестности не бойся –
там ли Элиот и Паунд,
нет ли там такого – Джойса?

29.
Вышел, и вслед за ним –
бледные лица,
замыслы бледные
тянутся низко
и, ОТНОСИТЕЛЬНО,
как из больницы –
тень посетителя,
душ вереницы.

30. ОДИССЕЙ:
Будь я хоть трижды герой,
всё же мне мнится порой,
что в этом душ подземелье,
хоть я и вышел оттуда,
душа моя незаметно ,

кинув меня, как Иуда,
влилась, как легкий глоток,
в общий бесплотный поток
тенью безгрудой.

31.
Оттого сошел я
в теней этих царство,
где бумаги шорох –
время и пространство,
что порой чудесной
от родного хлада
тень моего детства
занесло в Элладу.

32.
(Эллада. Первое виденье.
Скалы отвесное паденье,
и зелень вод насквозь видна.
Над нею – ржавый корпус судна,
потопленного немцами до дна.
Эгейский ветерок.
Далеких гор рисунки.
И страхом детства грудь моя полна.)

33.
Спит, как эпос, Навзикая.
Долго ждать ее прихода.
Холод душу проникает,
словно меди смертный холод.
Буря в берег бьется гневно
столь же чуждый, сколь скалистый.
Одиссей, заройся в листья
и явись во сне царевне.

34.
Ну, а этот остров твой:
в центре этих всплесков
остров твой хорош собой,
и качает нас прибой
плавно, по-эгейски.
Ты воистину одна
здесь: одна, как есть –
сонно выгнута спина,

нежно грудь обнажена,
и никого окрест.

35.
На островах Блаженных,
где сажа столь бела,
томятся без движения
роскошные тела.
Бесплодно чаять, влечься,
и яств безвкусен яд.
Сознанья корчи вечные.
Воспоминаний ад.

36.
Маленький жирный божок,
тучного тлена дружок,
вечно владеет он, вечно
нынешней сточною речкой,
что от земли на вершок –
нефть натянув золотую
поверх зловонного слива,
ржавым куском арматуры
ловит он презервативы.

37.
Не рыдайте, спутники:
мы иль наши тени –
всё равно мы спустимся
в это подземелье.
Темный мир Аида
и страшит, и манит,
как опасность или
как НЕПОНИМАНЬЕ.

38.
Рыбу не ели
древние греки.
Рыба на деле
их пожирала.
Ветра замашки,
Моря огрехи.
Парус намокший.
Крики аврала.

39.
Над своим вязаньем
задремали Парки.
Страхи визуальны –
не робейте, парни.
Оттого нас море
губит столь упорно,
что, являя волю,
не имеет формы.

40.
В отчайньи Полифем
кричит и скалы мечет
во тьму, что стала всем
на свете – мир овечий,
съедобный мир погас:
очаг и козье вымя...
Лишь выколотый глаз
болит, как будто видит.

41.
Согласно предсказанию
гребцов лишившись всех,
без мысли, без сознания
подумал Одиссей:
«Обманчивая легкость,
присущая челну,
заслышав бури клекот,
легко идет ко дну».

42.
Гляди, того потонем –
ему и горя нет.
Нам всею слепотою
циклоп глядит вослед.
Не нимфы, не наяды,
а видит нас, застыв,
Медузиного взгляда
холодный объектив.

43.
Всё одновременно:
люди, звери, боги.
Одиссей из пены

вышел одинокий.
И пока пирует
странник окаянный,
рыбы пожирают
всю его команду.

44.
Как воск, податливый покой.
Калипсо средь своих волос.
Но средь разлуки окружной
ты – одиночества утес.
На волны сядет альбатрос,
и взор его сонлив и пуст,
как расстояния разброс...
Но то, что было, будет пусть.

45.
Одинокий на утесе
одиноком сел.
Глядя, как волну уносит,
думал Одиссей:
у богинь бесследны лица –
вечность невзначай
всё стирает... Ты ж, царица,
постарела, чай.

46.
У богинь бесследны лица милые –
то бессмертье тела и души:
вечным знаньем помыслы их хилые,
как колена, кто-то сокрушил.
Всё у них, как и у смертных бестий –
истерия, страсть ли, тело, лоно ли –
только слезы абсолютно несоленые –
пресные, как будто дождь небесный.

47.
Жизнь без смерти – хоть умри –
потеряла очертанья:
глыбы мрамора внутри
стиснутое изваянье...
Не кичись, бессмертье дав,
мне без смерти одиноко,
как средь этих вот забав
в стороне от бурь и рока.

48.
Лик ее дальний
солоноват.
Коль на прощанье
ее целовать:
слова не молвит –
лишь слезы одни,
но, словно море,
уста солоны.

49.
Твоих солоноватых черт,
жена моя, хранительница пряжи,
я не забыл в скитаниях, ни даже
в объятиях божественных. Зачем
меня носило от беды к беде
известно разве мстительной воде,
но где б я ни был, ты была везде
недостающей каплей в полной чаше.

50.
Сам сынка одного лишь нажил.
И того потерявши совсем,
за короткую молодость нашу
поднимает гранитную чашу
бессердечный старик Одиссей.

51.
Дело тут не в Телемаке
и – клянусь – не в Пенелопе –
от Итаки до Итаки
рыба грезит об улове.
И в ущерб страстям, пиратству
оттого стремился так он
в свое каменное царство,
в сокровенную Итаку.

52.
Когда ты в моих объятьях,
я губам своим не верю,
а потом шепчу проклятья
и... губам своим не верю.
Остров, став морскою гладью,
удаляется по мере

вдохновенья парусов,
напряжения гребцов.

53.
Отчаливают челны –
свети, родной очаг! –
и поцелуи черные
бледнеют на плечах.
Ни расставаний, ни прикрас,
но все же как-никак
бывало много РАЗНЫХ слез
и на ее щеках.

54.
Напутствий всех помимо,
дарю тебе – смотри:
нагие и незримые
объятия мои –
пусть горло стиснут страстью,
когда вина пьяней,
ты тоже станешь хвастать
богинею своей.

55.
Судьба всему виною –
пора вам уплывать,
на острове с женою
на лаврах почивать,
а как любила вас я,
любезный Одиссей –
почти как красоваться
перед Вселенной всей.

56.
Становясь всё тоньше, легче,
краше, безопасней –
удаляются предплечья,
пальцы и запястья
и волос потоп, и шепот
лиловатых губ,
линии вольней потопа,
слов прозрачных глубь.

57.
Вдовствует пряха, а не царица.
Телемахида становится явью.
Воют сирены. Волны петляют.
И перепутались ласки и лица –
то ли Цирцея, то ли Калипсо –
не представляю.

58.
Дым исчез, как корабли –
черный дым троянской гари
там, где прыгает вдали
моря бурный дельфинарий.
В моря мраморе седом,
где страна его седая,
без скафандра Посейдон,
негодуя, восседает.

59.
Моря кривь из бывшей Трои
в Лакадемона страны.
От морей или от крови
небеса столь солоны?
И, вдохнув эгейской соли,
Менелай подумал вяло:
много плакала в неволе
ты, Елена... Или мало.

60.
Осквернительница ложа.
Царского добра воровка.
Корень брани. Отчего же
Менелай ее столь робко
пощадил? – Краса нетленна:
заповедан этот рай
и для гнева, и для плена,
оттого свою Елену
не ревнует Менелай.

61.
Дика, как виноград.
Как диво, слов не знает.
Ее блаженный взгляд
извне непроницаем.

Неосквернённый рай,
где всяк вошедший проклят –
Тезей ли, Менелай,
Парис ли, Диофоб ли.

62.
Из-за тебя мы погубили град.
Ты – Немезиды дочь, но, впрочем, кто не сын ей?
Нет, ты была дика, как виноград,
и как вино – прозрачна и невинна:
вина прозрачный ток размерен, тих,
покуда не достигнет уст людских.

63.
Что ж Менелай – поладил
с Еленою своей?
А то чего бы ради
в бою и средь морей
мы гибли? – Да, простил он,
на плоть ее взглянув,
могучего Ахилла
загробную жену.

64.
Но слухами чревата
любой легенды синь:
Елена-Дендриата
на волоске висит.
Средь славы непрестанной
пришлось во всей красе
Елене Деревянной
на дереве висеть.
И в память этих бредней
на Родосе и впрямь
удавленнице древней
поставлен этот храм.

65.
«ЕЛЕНА» по Эсхилу значит «ПЛЕН» –
все на коленях у ее колен.
Услада мира и Эриний мера –
она – немая спутница Гомера
незрячего.

66.
Где же одновременно
был прообраз, типаж,
если вместо Елены
Зевс подсунул мираж
грекам – из сочленений
изваянье, макет?
Дела нету Елене,
где и как ее нет.

67.
Елена – лишь видение.
И заварухи всей
виновником и гением
был – ясно – Одиссей:
чтоб высватать Елену, но
ослабив петлю уз,
придумал он для эллинов
Ахейский – что? – Союз!

68.
Да: Елена ради
витязей ахейских
украдет палладий
с Лаэртидом дерзким.
Но она же зовом
близким, как измена,
выкликнет их... Словом,
все одновременно.

69. (СИРЕНЫ)
Только по пояс
они были девы.
Далее полностью
в перья одеты.
Взмахи их рук –
это крыл оперенье.
Лица округлые
суть вожделенье.
Издали – как во сне –
видели парус,
и ни одна из них
не улыбалась.

70.
Даже гибельного пенья
гибель славная условна.
Иль всё впрямь одновременно,
и в начале – только Слово?
Перепеть Сирен Орфею
удалось, и полудевы
гибнут... Глядь, и Одиссея
снова губят их напевы.

71.
Оставленный залогом
того, что в оный час
преобразится в слово
вся эта кровь и грязь,
в незыблемое пение,
в античные стихи,
запоминает Фемий,
как гибнут женихи.

72.
Сизой весною,
осенью сирою –
всё бы нам, совесть,
с тобой музицировать,
выгнав из леса
цевницею Пана
пифагорейца
и меломана.

73.
Коленопреклонен
и бел, как жалкий пепел,
о, Фемий, – ведал он,
что, выжив, будет петь он –
так петь, чтобы неметь
от собственного пенья
под аккомпанемент
цезур сердцебиенья.

74.
Под столом собаки дремлют.
Кубки на пол повалились.
Ключница задвинет двери –

ни в разлив и ни на вынос.
Время дышит еле-еле.
Кончен пир. Белеют кости.
Утомились, захмелели
Гнедич и Жуковский.

75.
Олимп. Веселое семейство
богов разглядывает действо
внизу – в пучине естества:
кровосмешение возмездий
людских и тучная листва
растительности. Не́ктар липкий
бог с архаической улыбки
(с той древней, непостижной той)
стирает дланью монолитной
или парросской бородой.

76.
Где водяные
холмы средиземные,
там и поныне
их тени оседлые –
боги ли лютые –
что за фигуры!
люди – прелюдии
и увертюры.

77.
Длани. Колена.
Локоны. Ноги.
Голени. Лики.
Смертные. Боги.
Бедра и груди.
Бицепсы. Спины.
Боги. Герои.
Люди. Дельфины.

78.
Видения густы, как листопад –
в нем каждый лист, как откровенье точен.
Но спрячешь ли всей осени распад
за фиговый классический листочек?

Зачем освобожден от ночи сон,
решайте сами, люди или Мойры...
В основе плаванья лежит хмельное море,
но чуть касается его искусный челн.

79.
Пусть звучанье будет хоть
легким, словно твой уход,
легким, словно твой укор,
пусть дерев античный хор
нам, как водится, подскажет
крон слетающую тяжесть –
легкость сучьев, листьев спор.

80.
Охота да похоть.
Бесхитростный страх.
Рыдания. Хохот.
Возмездье. Измена.
Бескровный, бесчувственный
греческий ад
приходит бесчинствам
на смену.

81.
На декадрахме
древней, но явной –
вот фотография
юной Дианы.
Смертный, взгляни-ка
на плеск этих линий.
Вкруг ее лика –
танец дельфиний.

82. ДЕЛЬФИНЫ:
Мы по сей день на них глядим
из нашей воли синей –
развеялся в зловонный дым
рисунок паутины.
Едва плывут, но, как и встарь,
считают: очень быстро.
Как водоросли – их уста,
и взоры – как убийство.

83.
Два чернофигурных
воина. Безгласно
третьего влекут они
по лаконской вазе.
А под ними, будто
символ вечной ссоры –
два чернофигурных
петуха бойцовых.

84.
Посетитель душ бесследных
мрачно сравнивает кормчий:
«Моря корчи столь же слепы,
сколь и смертной битвы корчи»,
хоть уже поэт российский,
тоже достигавший ада,
сопоставил бой ахейский
с кривизною винограда.

85.
Человек – счастливый случай.
Надломив сосну, как кустик
Полифем подбросил сучьев,
да: вино ему по вкусу.
И шипит наш друг-бедняга...
возбуждая аппетит...
Полифем, глазная влага
точно так же зашипит.

86.
Но нимфы бег уж слишком скор –
где свора резвая Эринний?
сатир глаза свои протер
и полстакана водки принял
и плавленым заел сырком,
но, так как стало поздновато,
он на часы взглянул тайком
и скрылся в роще суковатой.

87.
Подумал я про одного:
его кончины студень
изменит ли что из того,

что стало сутью судеб?
Душа твоя, как в смерти, тать,
в беспамятства припадке –
о, сколько судеб оборвать
ты мог легко, как Парки.

88.
Три раза выкликни души умерших,
три раза выкликни души погибших,
три раза – их, приобщенных к чужбине.
И за челном по-над бездной кромешной
вслед полетят тени воинов бывших
в холм дорогой, что покроет их имя
пышно.

89.
Обидами нагими
затмили блеск телес
завистницы богини,
завистник Ахиллес.
Царь Агамемнон зарится
на трепетный трофей.
Погиб Аякс от зависти
божественной своей.

90.
Узколиц. И очи близко
сопоставлены. Следы
воплей скрыл в лице тенистом
треугольник бороды.
Чуть коротковата шея –
или плечи чуть торчат?
Весь порос античной шерстью
серебристой, как парча.

91.
Узколиц не по-ахейски.
И отметить надо
вырез глаз слегка злодейский,
неподвижность взгляда.
Облик старого атлета.
В скулах стиснул лик
всё, что следует бесследно
позабыть, старик.

92.
На сене, на соломе
и – кормчий – на корме –
он думает о доме
на ложе без корней.
Но вот он, скажем, дома,
хоть дома всё верх дном –
о чем он станет думать
на ложе коренном?

93.
Бури подспудные.
Отдыха стансы.
Был ли он спутником
собственных странствий?
Муза, зачем ему
страхи обширные
и в заключение
пиршество жирное?

94.
Эй, Одиссей Лаэртид, воитель гневный –
он же соратник богов, богинь сожитель –
всех служанок-блудниц связал, как хворост,
и, словно хворост, зажег он всю вязанку,
чтоб полыхали они, как гнев, как похоть,
чтоб со стыда за них сам огонь сгорал бы.

95.
Бороды твоей монисто
и чело склонились низко,
и скитаний дальний вид
тяжко веками прикрыт.
Волны пляшут, приседая.
Цену славы и молвы
знает грудь твоя седая,
знает пепел головы.

96.
Беременна богиня.
Уже недалеко
младенец. Будет имя
младенцу: ТЕЛЕГОН.
Вздыхает голубицей –

ты только посмотри –
когда отцеубийца
шевелится внутри.

97.
Как всякий пес, я сразу чую бога.
Лишь человек при боге глух и слеп.
Хозяина и в рубище убогом
узнаю я и через двадцать лет.
Служанки бьют, и сам себе я в тягость,
подстилкой мне – слежавшийся навоз,
а он меня узнает: «Аргус, Аргус,
эк обветшал и обовшивел пес!»

98.
Не странности, не страсти и не войны,
но странной безысходности приволье
влекло меня в античных теней лоно
с незримой силой гравитационной,
чтоб ночь изречь легко и неподдельно
с божественною легкостью паденья.

99.
Одиссей убил из мести
соблазненную Анфимом
Пенелопу. Та с Гермесом
после Пана зачала.
Или нет – с отцеубийцей
Телегоном в брак вступила –
за смертей людских границей
их блаженствуют тела.

100.
Нету ни храма,
ни рваной завесы.
Нищий, охраны
проси у Зевеса –
откройте клювы,
нищие духом,
я накормлю вас
мясом и туком.

101.
Сухого хвороста собрав,
вяжите больше дров

в беспроволочный телеграф
Эсхиловых костров –
ждет мести мстительный Эгист
и Клитемнестра с ним.
Видны ночами вспышки искр,
а днем – тяжелый дым.

102.
Лоно Сциллы, как ни странно,
было сворой злобных псов –
тех, что мчатся за Дианой
через происки лесов –
их движения мгновенны,
в пене алчущая пасть...
И из этой пены, верно,
Афродита родилась.

103.
Воители и мужи,
сидящие в коне,
вам голос мой не нужен,
так пусть же в тишине
ночного Илиона
завороженных вас
окликнут ваши жены,
в Елену воплотясь.

104.
Звезды, в море упадая,
упадая на беду,
тьму собою прободая,
звезды знают и ведут:
то ль хвостатая комета –
угрожающий Пифон,
то ль играет до рассвета
звездных циклов патефон.

105.
Бесплотно время, говорят.
Но звезды только в нем горят.
Надеюсь я, что плотью лет
наполнил пустовавший след,
мелодий сих речитатив
в косматый мрамор воплотив.

ПОДЗЕМНАЯ НИМФА

1976–1977

«...Nymph in thy orisons
Be all my sins remember'd...»
Shakespeare

ПОДЗЕМНАЯ НИМФА (1)

Подземная нимфа (воды – ни глотка)
из тьмы непроглядной метрополитена –
о, что за улов – твое плавное тело,
о, как ты плывешь в этих толпах умело,
на кожу скамьи так пленительно села,
как будто на камень прибрежный. Гладка,
как лак и твоя полноводная кожа,
и сколько ж ее голубой – далеко же
нам плыть... Ты сидишь и читаешь, о, Боже,
подземные боги! – газету с лотка.

ЕВА (1)

Представьте райский зоосад:
плоды послушные висят,
не счесть оленей, яблок,
и тигры – травоядны.
И средь библейской красоты –
невинны, как кругом цветы,
парные топчут травы
Адам и Ева... Браун.

ДЕВОЧКА

Подростки: в очках он, а девочка в юбке
короткой –
на летней скамейке, обнявшись невинно и робко,
сидят в ожиданье дневного сеанса кино
и жадно глотают одно на двоих эскимо.

Но мальчик в очках и с пушком на губе – только
мальчик:
и лакомство сладко, и фильм предстоящий
заманчив,
а девочка чувствует только объятия миг.
И жадно глядит на нее проходящий старик.

ПАСТУШКА

Пасла я Зорьку возле базы.
Вдруг шестеро в противогазах.
Чтоб личность скрыть. Ну, я далась
легко, чтоб не прибили часом.
Ну и страшон противогаз!

Гляжу я в стеклышки – не вижу:
в поту. Ребята еле дышат
в глазастом этом колпаке.
Запомнила наколку МИША
я у шестого на руке.

Построили всю часть и руки
велели вытянуть. С сеструхой
идем мы вдоль шеренги – ишь:
чуть не качаются со страху.
Набрали мы шестнадцать Миш.

Мой Мишка разъяснился скоро.
Из Горького. Здоров, как боров.
Но симпатичный. Остальных
он продал сразу без отпору.
За групповуху – к ногтю б их,

да мы, однако, деньги взяли,
хоть покуражились вначале:
начальству не с руки ЧП.
Папаша дом сестрице справил.
А с Мишкой ходим мы теперь.

МАГДАЛИНА

Магдалина, не ломай
столь умелых рук –
заповедный древний рай
явится вокруг –
без усилия извне
ты войдешь туда
новой Евой, ибо не
ведала стыда.

ВСЕ НОРМАЛЬНО

Вечерний город лиловеет. Веет нефтью от реки.
Речной трамвай: на нем цветные, как цветы,
провинциалы.
Прозрачный диск луны провис, и сквозь него
видны деньки
оставшегося лета... Вот и отпуск отгуляла.

И снова площади всё той же лиловеющей
Москвы.
Прибитой пылью пахнет следом за машиной
поливальной.
А от меня еще соленым пышет воздухом
морским,
загаром и травою горной... Словом, всё
нормально.

ЕВА (2)

Яблоки дороги
нынче, Адам:
очередь в городе,
цены на рынке.
И надоело:
один джонатан...
Бедная Ева:
в лице – ни змеинки.

ГОЛОСОК

По квартире бьет звонок.
Не тебя ль опять, сынок?

Этак вот – двенадцать дён,
уж не менее. Трезвон –

даже ночью и чуть свет,
а тебя всё нет да нет.

Ишь висит на проводу.
Ну, давай уж, подойду.

Нет его. Не приходил.
Голосок уж больно хил.

МОЛИТВА РАХИЛИ

М.Х.?

...Я их украла ненароком, Иегова,
Бог плодородья, Бог мужа моего,
его отца и деда – ей богу,
руки сами брали, не ведая того.

Сам посуди, ты ведь Бог мне лишь по мужу –
Бог Авраама и Исаака страх –
сам посуди – кругом нагая сушь, и
где-то вдали лишь горы или враг.

Как же не красть мне идолов домашних –
кров нужен сыну – не зря ж Ты даровал
силу моей измучившейся пашне –
сам посуди: Иосиф слишком мал.

Бог Авраама, пощади, коль виновата.
Тяжкий удел Ты дал своей рабе.
Семь лет объятий не родных и вороватых
в жесткой и редкой пастушеской траве.

О, Иегова, мне в идолах нет нужды –
они папаше в обмане помогли.
Как не узнал мой муж объятий чуждых? –
это они своей наслали мглы.

Это они сестре моей подслепой
чрево отверзли – на зависть и на зло
рабе Твоей – шесть раз. Лишь напоследок,
о, Иегова, мне тоже повезло.

О, Иегова, попомни мое горе:
в страхе, что сам он Лию предпочтет,
ночь продала я за ветку мандрагоры –
как я топтала в пыли ту ветвь... И вот,

о, Иегова, Ты снял с меня позор мой,
дал моей жажде живительный глоток –

среди травы бессовестной и сорной
возрос блаженный, возлюбленный цветок.

Муж мой украл у брата первородство,
сердце Лавана, как сказано, украл –
Ты помогал, Ты от мужа не отрекся...
Не прогневись – Иосиф слишком мал.

Бог Авраама, ведь двадцать лет держали
идолы эти Иакова в плену.
Звала бежать я его, но не бежал он,
брата страшась в отеческом дому.

Бог Авраама, не век же жить средь страха! –
мир Твой для страха, а не для нас велик.
Встретив меня, заплакал мой Иаков,
камень огромный от сердца отвалив.

Ото всего, что дашь нам, десятину
будем исправно платить Тебе, о, Бог...
Двадцать лет гонял отцовскую скотину
муж и воздать путем Тебе не мог.

Плодил детей с сестрой моей толстухой,
с моей рабыней, потом с ее рабой...
Сам был лишь раб отцовский, лишь пастух и
робко боролся с ниспосланной судьбой.

Неужто сыну наследовать лишь рабство,
о, Иегова! Но страх перед отцом
возобладал над страхом перед братцем...
Идолы эти повинные во всем,

чуть не лишили нас всего именья –
овец и коз, верблюдов и коров,
волов, рабынь, рабов... Но Ты пометил
наших овец... И под родимый кров

мужа направил отчим ужасом не Ты ли?
Я не украла, я лишь пленила их,
чтобы они нас снова не пленили.
Бог Авраама, наверно, Ты простишь

своей рабе ребяческую хитрость.
Муж мой Лавану разгневанному рек,

в страхе своем он рек ему: «Убит пусть
будет укравший». Но настигавший рок

Ты отвратил от рабы раба Господня
и посрамил истуканов – под седлом
и подо мной... Ты Свой завет исполнил –
скоро Ты дашь нам обетованный дом.

Ты с господином моим в ночи боролся
и пощадил Иакова, хоть Ты
наверняка сильней и выше ростом...
Не замечаю я этой хромоты.

Я их украла невзначай, о, Иегова!
Бог Авраама, приближается Исав...
Ты от отца нас спас, спаси нас снова,
крепким щитом надежде нашей став.

...Вот он – Исав. С залысинами плечи.
О, Иегова, я сделаю добро!
Вот господин мой пошел ему навстречу,
семь раз склонясь и хромая на бедро.

НЕДОУМЕНЬЕ

Бледнеет и скалится, грозно трясет бородою –
ревнует – ни за что ни про что, ревнует, ну, стоит
мне с кем-нибудь слово сказать, улыбнуться
кому,
ревнует и, стало быть, любит, одно не пойму:

ведь ежевечерне так просто дается ему же
из бездны своей коммуналки вести меня к
мужу –
вести меня к мужу, о, Господи, прямо в кровать,
прощаться у бензоколонки и не ревновать.

ПОДЗЕМНАЯ НИМФА (2)

О, нимфа, под землею тесно:
колышется людское тесто,
заранее сюда попав.

В газете сказано, что прав
лишили правдолюбцев в Чили
и что канадцев мы побили...
Но в центре так тебя сдавили,
что оборвался телеграф.

РУКА

Дерев нерукотворны своды.
Нерукотворны формы трав.
Нерукотворные породы
камней без граней и оправ.
Нерукотворная подруга –
нерукотворный плод округлый
она срывает свысока...
и потянулась к ней рука.

СЕСТРЫ

В угловую толпу протолкавшись –
и поближе, поближе бы каждой –
раскрывая глаза на призыв
и про тяжесть авосек забыв,
под дождем накренившимся мокнут,
но не прячут от ливня лицо,
нет – глядят Филомела и Прокна
на попавшего под колесо.

ЧЛЕНСТВО

Нет, что ты, я переспала
со всеми нациями нашей
империи, а как иначе
узнать, какая удала?
И лучше всех, но ты не смейся –
не ингуши, не адыгейцы –
евреи! – в этаких делах
способней всех – я проверяла:
их было у меня навалом –
все – закусивши удила.

...Но вышла замуж я на вид
нелепо: он – рязанский малый,
хоть член ЦК*, но членства мало...
К тому же он – антисемит.

РОМАН

Забыла я эту историю вовсе.
Лет десять прошло. Или семь. Или восемь.
Однажды изменишься так,
что дело уже не в летах.

Теперь и припомнить то время мне не с кем.
Была физкультурницей я в пионерском
концлагере. Помню едва:
березы, зарядка, трава.

И что за напасть – я влюбилась в мальчишку.
Тринадцати лет ему не было. Слишком
он был – непонятно какой.
Глядеть ли со взрослой тоской

умел ли, быть может, сама тосковала
в ту пору я? Этакий худенький малый.
Да что там – без всяких химер –
он попросту был пионер.

Но только глядел на меня без утайки
глазами своими. В разорванной майке,
в каких-то дурацких трусах
и в галстуке красном – во страх –

повязанном прямо на грязную шею.
Принес он мне лилии, без разрешенья
сбежав неизвестно куда –
в округе – ни рек, ни пруда.

Два слова друг другу сказали едва ли
за лето – всё бегали да приседали.
Была я – что надо: стройна.
Но знал он, что я влюблена.

* Скорее всего, она имеет в виду ЦК ВЛКСМ, если вообще не привирает.

Я с Толькой спала, с баянистом, но это
совсем не вязалось с моим шпингалетом,
и он не сердился на нас,
и даже помог нам не раз –

как там говорили, «стоял на атасе»,
ну, словом, стерег затаившихся нас он
в орешнике за костровой
поляной, как впрямь часовой.

Но прыгал в длину он и вывихнул руку.
От боли не спал. И вот впрямь, как физрук, я
от Тольки к нему по ночам
ходила, чтоб он не скучал.

Сопели, нашкодившись вдоволь, ребята.
Смывался на танцы красавец-вожатый.
На койку присев, как сестра,
молчала я с ним до утра.

Раз только сказал, что со мною не больно.
Я шепотом этим была так довольна,
так счастлива – ну и дела –
что после сама не спала.

Так промолчали три долгие ночи,
чуть видя друг друга, но чувствуя молча,
средь детской нетронутой тьмы.
И, кажется, плакали мы.

КРЕЩЕНЬЕ

Две девы ночью топят воск.
Темно: лишь слабый блеск волос.
Взаимную оставив злость,
судачат без умолку
про друга милого, про грим,
про то, как в страсти мы горим...
Но то не воск, а стеарин,
и обе – комсомолки.

СХОДСТВО

На сходстве бусинок основан принцип бус.
В ней многое напоминало совесть,
красу напоминало, тонкий вкус...
А совестью ли, вкусом ли, красою
она сама напоминала – ну-с,
кого она тебе напоминала?
Да мало ли кого... И впрямь не мало –
сказал бы да обмолвиться боюсь.

ОНА ЛЮБИЛА КАЖДОГО ИЗ ТЕХ
(десять стихотворений)

1.
Она любила каждого из тех,
кого она любила, так, что грех
нам говорить здесь о грехопаденье.
Как мужа. Как отчизну. Как в мечтах
любить возможно. Так, как смертный страх
иные любят. Так, как наслажденье
она любить умела... И ее
ВСЕ помнили, хоть каждый за свое,
но все – как полубред, как наважденье.

2.
Она любила каждого из тех,
кого она любила – без утех
каких-либо: спокойно, домовито –
все было выстирано, вымыто – успех,
казалось ей, достигнут. Но они-то
не понимали этого – у тех,
кого она любила, были виды
совсем иные на нее – ни-ни:
она их отгоняла, и они
все проходили быстро, как обиды.

3.
Она любила каждого из тех,
кого она любила – больше всех,
и говорила каждому в постели:
«С тобою, милый, лучше, чем со всеми».
Что, в лучшем случае, могло бы вызвать смех,
хотя в иных будило гнев немалый...

Вот этого она не понимала –
не понимала, дура, как на грех.

4.
Она любила каждого из тех,
кого она любила, ибо верх
взяла над ним, хотя он на поверку,
в конце концов, оказывался сверху,
но унижался прежде – и при всех
желательно... И, сворошив, как ветки,
обломки воли мужеской в тела,
она затем сжигала их дотла –
дотла – не оставалось даже метки
от них на про́стыни – ни буквы, ни числа.

5.
Она любила каждого из тех,
кого она любила, будто ТЕХ-
ОСМОТР с отличием прошедшую машину.
И говорила просто, без ужимок:
«А ты что думал? – как девчонка, вверх
ногами неизвестно с кем лежи, мол?
Нет, я сперва узнаю, с кем он жил
или живет. Каков оклад и пыл.
Не пьет ли. Можно вызнать без нажима.
И если все в порядке – мой навек».

6.
Она любила каждого из тех,
кого она любила временами –
в любое время года: лег ли снег
тяжелый, неразборчивый... весна ли
смутила грязь незамерзавших рек...
иль лето белое отметило крестами
ночные окна... иль уже листва
осенняя пятнала ее зонтик...
Любимые сменялись, как сезоны –
по всем законам злого естества.

7.
Она любила каждого из тех,
кого она любила – больше всех
и более самой себя, конечно –
терпела издевательства и смех,
делила щедро прихоти утех –

она любила каждого в надежде,
что и ее полюбит человек
какой-нибудь. И потому заранье
любила всех за это упованье.

8.
Она любила каждого из тех,
кого она любила, но до тех
лишь пор, пока нужна была им эта
любовь ее – не ведая ответа,
не зарясь на разительный успех,
не утоляя собственного пыла
(а в ней его едва ли много было),
покуда срок нужды в ней не истек,
она их всех воистину любила.

9.
Она любила каждого из тех,
кого она любила – не навек,
но каждого любила без оглядки,
не думая о сроках страсти краткой.
Но появлялся новый человек.
Он был хорош. И значит – все в порядке.
Сама, того не ведая, с ума
сводя порой иного, без оглядки
глядела вдаль – на лица и дома.

10.
Она любила каждого из тех,
кого она любила – без помех,
раздумий, слов иль слез еще! Бывало,
ее после разрыва удивляло,
как мог ей полюбиться пустобрех
такой... На деле же их всех
она не видела. Она лишь изменяла
со всеми – изменяла одному,
любимому столь долго потому.

ЖЕСТОКИЙ РОМАНС
(на мотив «Маруся отравилась»)

Смешны ее веснушки
на маленьком лице.

Не вспоминай, дурнушка,
об этом подлеце.

Не брей своих подмышек
и глаз не подводи –
выписывай из книжек
научные труды.

Довольно заниматься
сведением бровей –
займись трудами Маркса
и дальше их развей.

И он, подлец, узнает
(не Маркс, а твой подлец),
какой посредством знаний
ты станешь наконец.

Всё может Божья милость
до воскрешенья вплоть:
Маруся защитилась.
Храни ее Господь.

ПРО МОВО

«Но я другому отдана;
Я буду век ему верна»

Мы с Женькой встретились сперва,
когда мои хозяева
свезли меня на дачу.
Все лето прогуляли ТАК.
Он на гармошке был мастак.
Но подступаться начал.

Однако я себя блюла.
Хоть лапал он меня дотла.
В Москве по нем томилась.
Он приезжал по выходным.
В подъезде мы стояли с ним –
хозяйка не бранилась.

Потом он в армию ушел.
Сказал, не дожидайся, мол.

И писем мне не слал он.
Но я ждала его – с ума,
видать, сошла, хоша сама,
но ТАК с одним гуляла.

Он с армии привез жену
себе. Фабричную одну.
Видать, поила шибко.
Кудрей-то, Господи, кудрей! –
да шестимесячны у ней
и брюхо, и завивка.

Он, как пришел, – сейчас ко мне.
А я ему: ступай к жене –
она вить губки красит.
Тут он мне в морду этак во –
ему подружка про мово
насказывала басен.

Сама позарилась, поди.
А он и рад. Ну, погоди.
Ходил один за мною
лет пять: тихоня и не пьет.
А мне уж двадцать пятый год.
И я пошла женою.

Ну, от хозяев, ясно, взял.
Пошла я в дворники. Подвал
нам в новом доме дали.
И Женька – тут как тут. Да я
поди, сумею устоять,
хоть дрался он вначале.

Ведь мой-то что – уж больно стар:
и заступаться бы не стал –
куда ему – портянка.
А Женька, Женька – парень. Вить
я жду, когда он снова бить
придет меня по пьянке.

ПЛЯСОВАЯ

У мово ли у милка
Сладка водочка горька.
Горше водочки – медок.
Помер, помер мой милок,
помер, помер кавалер,
помер сокол – околел.

В меня миленький гостил –
все до ниточки спустил –
целовальникам сволок.
Помер, помер мой милок,
помер, помер кавалер,
помер сокол – околел.

На могилке у милка –
ни травинки, ни цветка –
полынья, чертополох.
Помер, помер мой милок,
помер, помер кавалер,
помер сокол – околел.

Я во этом во аду
свово милого найду:
йде колечко? йде платок?
Помер, помер мой милок,
помер, помер кавалер,
помер сокол – околел.

КОНЦЫ С КОНЦАМИ

Ее судьба сложилась круто:
двоих любила – дело швах –
поэта, нет – обериута,
что алкашом на Кадашах
прослыл во всех продмагах... ах,
и знаменитого изгоя –
мечтал о райских он краях,
за что его начальство злое
с работы – в шею – на бобах
сидел с ребенком и женою.

Любил ее обериут*,
любил не менее спиртного
(от коньяка и до «Тройного»),
но не оплачивался труд
поэта вольного – на что вам
опохмелишься? И она
всегда была ему должна –
ему, подругам и соседу.
Зато изгой был сыроедом.
Но сырость тоже, Боже мой,
до страсти дорога зимой,
к тому ж в пристрастиях с женой
он не сходился. Огурцами
пацан не проживет – обмен
веществ... И чтоб концы с концами
сводить, она – судите сами –
спала с одним из АПН.

ВСТРЕЧА

Она его увидела вдали
еще незрячим взором. Люди шли
куда попало, торопясь из стужи.
Но он остановился у ларька
табачного. Стал ближе. И к тому же
заметен чем-то стал издалека,

но только чем – она не разумела.
Вот дальше двинулся он, как-то неумело
минуя ближних... Боже, на кого ж
он так похож? Сутулостью и ростом.
Походкой бережной. И жестами похож:
как вытряхнул из пачки папироску,

от ветра отвернувшись – и лицом
склоненным показался ей знаком...
Нет, положительно, мы с ним встречались где-то.
Вот дым знакомым выпустил кольцом.
И рот кривит знакомо. И одет он
в знакомое пальто. Идет с ленцой –

* Обериуты – группа трагически погибших и трагически забытых поэтов тридцатых годов. Здесь, разумеется, имеется в виду кто-либо из многочисленных подражателей их манере письма.

той поступью упругой, но и вялой
одновременно... И она узнала! –
пальто сначала – шили на заказ!
И вот такая же была в ту зиму стужа,
когда пальто одел он в первый раз:
ужасно шло ему – прям не узнаешь мужа.

ЛЕСНАЯ НИМФА СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ

Лесная нимфа средней полосы:
ей хвоя сыплется в роскошные власы
с еловой вольной лапы. Паутина
касается удачных черт. Она
литая средь болот – окружена
природой робкой скудными дарами –
грибы, черника... Но зато самой
даны какие бедра... вечерами –
какая грудь, какие ноги – ой –
искусанные комарами.

НАПРАСНО

Напрасно певчий на нее кричал.
Отталкивал иль мучил по ночам,
напрасно чуть не бил, хоть вроде не в чем
ее и упрекнуть, напрасно пел
чуть что, чтобы молчать с ней – он был певчим
и чтил свой дар – ее ученых дел

навязчиво чурался он, как праздных,
и пел: «О, ге-о-фи-зи-ка!», напрасно
он не хотел и слышать про детей
ее (их было двое: сын и дочка),
напрасно не звонил подолгу ей:
сама придет – стирать пора. И точно –

она являлась с грудою еды,
с той ровной радостью, к которой вряд ли ты
и впрямь причастен. Называла «милый».
Стирала. Как могла, пеклась о нем.
Не зря он нервничал. Она его любила
САМОСОСРЕДОТОЧЕННО – при чем

тут он? – хотя он был и вправду певчим
самососредоточенным... Но печень
болела вечерами... Желтизна
какая-то являлась из-под бритвы...
При чем тут он – акафисты? Молитвы?
обряда векового новизна?

РАЙ

Мне, парень, кажется порою,
коль вправду грянет трубный гром,
мы (бабы) в рай повалим роем,
как будто утром из метро.

Ведь христианки мы по сути,
поскольку жребий наш таков –
поскольку жребий нам повсюду –
любить и обнимать врагов.

САТИР

Говорил сатир ревнивый:
«Чем нас привлекают нимфы? –
тем, что будто дерева,
одинаковы сперва,
но затем – совсем различны,
коль вблизи рассмотришь лично
каждую – сквозь их красу.
Словом, с ними – как в лесу».

НЕНАВИЖУ

Ненавижу мужиков.
Всех. Тебя вот, скажем. Мужа.
Всех. Живете вы легко.
И молоденьких подружек

ваших тоже не терплю.
Им-то, правда, отрыгнется
скоро, скоро – к октябрю,
к осени. Потянет в гнезда –

всем захочется тюрьмы.
Вы становитесь умнее,
интереснее, а мы –
мы рожаем и дурнеем.

Вам, подонкам, невдомек,
что мы чувствуем не хуже
вас... Летит, как мотылек,
на любую юбку... Ну же.

ФАВН

И в темноте
подумал фавн:
так на досуге
пошучу я:
де, нимфы тем
доступней нам,
чем им доступней
вера в чудо.

НОЧЬ

Не надо слез прогорклых,
давно ослепших слез.
Сидела полуголая
в жару своих волос.

Теней ночная графика
явилась на стенах.
Молчали фотографии.
Водопровод стенал.

Белела простынь голая.
И ночь была душна.
Вот где-то радиола, и
мелодия слышна.

Шуршала зелень в скверике,
как прежде по ночам.
И – никакой истерики.
И – телефон молчал.

По улице ходили
гуляки – ну-ка тронь!
И в кухне холодильник
подрагивал, как конь.

ЛАМЕНТАЦИЯ

Видела его на Невском
с этой тварью нынче днем.
Я совсем одна, и не с кем
позлословить мне о нем.

...В Петергоф возил и в Павловск
(ничего там, кстати, нет).
А потом, небось, трепался
обо мне... искусствовед!

СЛОВНО

Успокоилась работой.
Верой в Божьи чудеса.
Ненавистью. Верой в Бога –
больше в Сына, чем в Отца.

Успокоилась. Порядок
в комнатушке. Вырос сын.
Муж ушел, и ад догадок
раем знанья стал. Ведь с ним

кончено. И ей спокойно.
Даже страх ее устал.
И лицо у ней такое,
словно крест к ее устам

поднесли, благословляя.
Из былого – только смех
вырывается: былая
живость чувства без помех.

Успокоилась – не Буддой,
но Христом – того гляди
и утонет крестик в бурной
неприкаянной груди.

Успокоилась. Устала.
И таков минувший лик –
словно ждет она удара
от любого всякий миг.

Словно ждет она удара
или чуда... Вечер пуст.
И душа уходит даром
из ее бесстыдных уст.

ВИДИТ БОГ

Сапоги один достать
обещал. Да жмется мать.

Я сама-то – вся в долгах.
Говорю Давиду – так,

мол и так. (Ведь он горазд –
мы с ним даже в лифте раз.)

Говорю, что врач кусок
требует. Достал и в срок.

Адрес вру. К подруге он –
на такси меня. Фасон

срисовала. Попила
чаю с тортом. Добела

набелилась. Томный вид:
еле вышла. Мой Давид

побелел белей белил,
что на мне, и подхватил

на руки меня. Дрожит.
Ну, и что с того, что жид.

Зря его Наташка так.
Любит. Любит, как дурак.

Любит больше, чем жену,
Чем свою жидовку... Ну,

согрешила, видит Бог.
Но куда мне без сапог?

ПОДЗЕМНАЯ НИМФА (3)

Бедная нимфа,
темно под землей,
душно, а дни-то
смыкаются где-то.
Станут ли глиною
или золой
все эти линии
тела с газетой?

ЧУДО

Откуда эта вера, вера в чудо,
когда уже ни юных сил, ни чувства,
казалось бы, остаться не должно
у них – обманутых, растраченных давно

на чьи-то прихоти, измаянных работой
и одиноких. Все же ждут, что кто-то –
прекрасней, чем любой киноартист, –
вдруг явится из толп безлюдных – чист

и светел. Верно, помнят время оно,
когда сходили ангелы на лоно
простых и грешных дочерей земли
и страстью их своей небесной жгли.

И чистотой небесною палимы,
рождали девы сильных исполинов –
в глубинах памяти, на допотопном дне
те времена запомнили оне

наверное.

СПУТНИЦА

Девица и отец ее? – они
вдвоем вдали от пляжной беготни.

Полуодет он: замша, жир и пряжки.
Девица подставляет солнцу ляжки,
и плечи до сосцов заголены.

В девице больше пола, чем красы.
Он смотрит на японские часы.
Но молодость ее столь герметична,
что ясно и под замшей заграничной:
он ей годится в деды – не в отцы.

Он озирается вокруг, как иностранец
(хоть по-литовски говорит) – отставший старец,
а спутница исчезла впереди...
но вот она протягивает палец
к колечку серебра на старческой груди.

ДУША МОЯ

Душа моя, откуда и куда ты?
не ты ль во всем на свете виновата?
Кругом года, трактиры, города –
откуда ты? Откуда и куда?

Быть может, ты мне в души не годишься?
или сама подумываешь: ишь ты –
меня к себе припутывает плут.
Душа моя, как разминуться тут?

Душа моя! – гулять бы ей на воле.
А мне б ее искать, как ветра в поле –
в полях, в которых сколько ни паши
минувший тлен, не встретишь ни души.

В СВЕТ

Быть может, вы ее встречали сами –
старуху с голубыми волосами
(такая краска дикая): меха
потертые, вуаль... Стара, суха.

Ветхозаветный зонтик. Шляпка. Гневно
толкает публику слепую. Ежедневно

у Елисеевых она себе берет
грамм пятьдесят чего-нибудь. Черед

выстаивает гордо и надменно:
спешить ей некуда. «Вот я у вас намедни
брала швейцарский сыр, так он несвеж
и нехорош. Он разве – для невеж».

А эти наглые воровки-продавщицы!
И публика – всегда куда-то мчится.
Куда? – да за какой-нибудь треской!
Она же шествует неспешно по Тверской –

разглядывает новые афиши
(нет, не читает, а глядит). Всё тише
идет, чем ближе к дому. В автомат
зайдет и там оставит аромат

каких духов, хоть некому звонить ей.
Но, выходя, уронит: «Извините,
я задержала вас, но аппарат,
сдается, неисправен». И парад

ее еще торжественней и строже
становится... И ежели прохожий
(какой с невежи нынешнего спрос!)
вдруг, поражен голубизной волос,

ей вслед уставится – так ей ведь не в новинку
такие взгляды вслед. И сразу видно:
вульгарный тип. И, Боже, как одет!
Штиблеты эти желтые... О, нет,

она всегда считала, что мужчины
беспомощны, смешны, каким бы чином
их ни венчали, бедных. Суть не в том.
И думают, как дети, об одном.

А женские презрительные взгляды
она не замечает. Их наряды
внушают отвращенье ей. И яд
их взглядов отражал бесстрастный взгляд –

им с юности она владела грозно.
Но вот уже и переулок – поздно:

помедлить прежде надо было... Вот
казалось бы, сейчас она войдет

в подъезд с кариатидами... Она-то
войдет – да еще как... Но воровато
и робко оглянувшись – не видал
ли кто – она тайком в полуподвал

вдруг юркнула, как девочка, по стертой
постылой лестнице. Две толстозадых тетки
какие-то ей всё ж взглянули вслед...
Но завтра она снова выйдет в свет.

ИЗГНАНИЕ

Не гневался Адам на Еву
и Иеговы гневу
не подражал. Он шел
уже не нагишом

с подругою, теперь понятной,
в мир безвозвратный,
где им судили впредь
труды и смерть,

сквозь оцепленье Серафимов –
в руках, вестимо,
двуострые мечи...
А рай в ночи

благоухал пустопорожне,
и звери Божьи
в нем мыкались одни:
не ведали они,

что ждет и их изгнанье,
за пропитанье
кровавая борьба –
силки, стрельба.

ПОРТРЕТ

За центральных зданий черствым рустом –
в переулке, в доме из доходных,
где все вымороченней жилплощадь
коммунальная, в квартире, слишком некой,
в комнате, как водка, одинокой
жил старик, но без своей старухи.

Было деду семьдесят. Возможно,
шло к восьмидесяти – горькие запои
возраст затянули как бы ряской –
старый пруд. Он был пенсионером:
пил по пенсиям. Но лишь по смерти бабки:
умерла, как ни ходил за нею.

В голой комнате его теперь остался
лишь портрет ее великолепный:
с фотографии глядела гордо
женщина красы не то что строгой –
замкнутой скорей, скорее – скрытной,
как порывы юности. Прекрасным
и таинственным лицо ее казалось
на портрете молодом, хоть старой
фотография была и пожелтевшей.

Оттого ль что не хватало водки,
иль от одиночества – не знаю –
но надумал дедушка жениться
на одной старухе из продмага
(разумеется, из винного отдела).

Говорил старик своей старухе:
«Мне не надо твоего прибытка.
Ты ведь, знать, на пенсию выходишь.
Детки твои тоже разбежались.
Кончится прибыток, а вдвоем мы
пенсиями сложимся – протянем».

Долго думала убогая старуха
над причудой этого пьянчуги:
тридцать лет она жила без мужа,
выросли и разлетелись детки,
дед сказал, что комната большая,
а у ней не комната – каморка.

Чуть не сладилось у деда это дело,
чуть не вышла за него старуха,
но надумал дедушка невесте
показать вперед свою жилплощадь.

Оглядела койку, подоконник,
стол, обоев рвань, в окошке – дворик,
и, портрет старинный заприметив,
долго на него глядела бабка...
наглядевшись, деду отказала
наотрез: уж больно пьешь нетрезво.

ВО СРЕТЕНЬЕ

«И рече рабу, кто есть человек оный
иже идет по поле во сретенье нам»
(Быт., 24, 65)

И в поле вышел Исаак
навстречу сумеркам. Но мрак
еще лишь зарождаться начал.
Кричал ишак, тот мрак вдохнув.
За горизонта вечный круг
исчезло солнце. Лай собачий

сливался с блеяньем овец.
И пахли травы. И чебрец
средь них особо. Пахло волей.
Шел Исаак в раздумий мгле
по остывающей земле
навстречу сумрачному полю.

За праотеческой спиной
шатры исчезли. И родной
вкус дыма пустошью зашелся
в пространстве чуждом и большом,
где степь лежала нагишом,
наложнице подобно. Шел всё

и шел пустынный Исаак.
Сгущался вековечный мрак,
но разглядела человека
средь надвигавшейся земли,
среди времен грядущей тьмы
с верблюда дальнего Ревекка.

ДЛЯ КОТА

«Что вы! Пенсии хватает.
Вы не смейтесь. Для кота я
сторожу здесь. Он в еде
привередлив: каждый день

нужно что-нибудь иное –
ну, паштет, гуляш... порою –
шпроты – отчего, Бог весть –
так-то рыбы он не ест.

Привередлив. Только мясо.
Но сырое редко – в масле
чуть обжарить... Ну, а вы
отчего здесь?.. Вы правы,

только так и можно. Я-то
хоть старуха и с Физ-Мата,
до сих пор пишу сама.
От Ахматовой с ума

я сходила... Принесу вам
что-нибудь из старых... Судьбы
там, которых не найти.
Хоть стихи и не ахти.

Вы поймете... Кот мой любит
яйца в майонезе! Люди
в гастрономии слабей,
чем мой кот... Там – про людей –

про моих друзей, которых
я пережила... Не в норах –
нет, не прятались они...
про погибших ДО войны.

Вы поймете это мигом.
Вон у вас какая книга –
мне таких уж не прочесть:
нервничаю... Кот мой ест,

представляете, маслины!
Завтра пенсия, и с ним мы

погуляем... Он меня
любит. Он мне – как родня.

Не кастрированный даже,
но все время дома! Наши
бабки говорят, -де
ненормальный он... Людей

раздражает, если кто-то
счастлив... Вот что: антрекотов
я куплю ему! Он рад
будет... Прямо на Арбат

и поеду: там такие
свежие в кулинарию
по утрам завозят... Вы
мясо любите?» – «Увы».

ЛИЦА

Лица, которыми светятся храмы –
будь то у бабки, иль сгорбленной дамы,
иль у молодки, поди, заводской –
все эти лики походят на Твой,
«ТЯ БО ЕДИНУ НАДЕЖДУ ИМАМЫ»
все мы, но их Ты признала средь нас
с темных икон своих сквозь фимиамы
ладана – светлый их иконостас.

НИЧЕГО

И ничего после любви
не изменилось: дом ли, сквер ли,
мелодий, улочек углы,
в кафе излюбленном столы
и в парке – древние стволы...

Вот также будет после смерти.

СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Я говорю на вашем языке –
молчанье здесь иными словесами
исполнено... Работала в ларьке.
Там было мне семнадцать. Рядом с нами
за проволокой колючей встала часть
военная. Отец мой там слесарил
в домах жилых. И помню, как сейчас.

В субботний вечер. Летом. На закате.
Привел солдата. Оба – под хмельком.
(Папаша отмечался при зарплате.)
Я им таскала закусь. С пареньком –
ни слова я, покуда мне папаша
лафетик не поднес, считай, силком.
С того и начались свиданки наши.

С того и началась любовь меж нас.
На танцы приглашал меня в Железку*,
и раз я с ним воскресным днем прошлась
за речкою. Ну, и сейчас полез он.
Но робко эдак. Робостью и взял.
В мундире был, и мне, девчонке, лестно.
И лето светлое. И всяк цветочек ал.

Стал прибегать ночами в самоволки.
Таились мы. Отец тверезый строг.
Солдатик мой томил меня. Про Волгу
всё заливал. Но вот проходит срок –
и нечего! Недели две терпела.
Со страху-то чуть не валилась с ног.
Потом сказала все ж: «Такое дело».

Боялась осерчает. Нет, он сам
весь растревожился. Но говорит, сердешный:
«Поженимся». Меня по волосам
всё гладил: не страшись, мол, будь в надежде.
Утешилась я малость. Ждать взялась.
И всё у нас пошло милей, чем прежде.
И осень красная была – ну, прямо страсть!

* Железка – клуб железнодорожников.

Но раз он говорит: «Назавтра к ночи
приди сама. Там в проволоке лаз.
В наряде я. Но дерну на часочек.
А за складами не приметят нас».
И я пошла сама, в охотку, смело:
уж заполночь потайно поднялась –
отец не слышал. Ну и – подоспела.

.....

Я говорю вам вашим языком.
В ту ночь как раз стоял он в карауле.
Сперва меня окликнул он тишком,
чтоб подошла поближе я, и пуля
пришлась в живот мне, так что сразу двух
убил он зайцев... Как у вас? – уснули
навек с младенцем мы? Да: испустили дух.

Теперь и сам – при нас. Его уловка
раскрылась сразу: на посту убил,
де, некую. Расстрелян был милок мой
там на земле, где был когда-то мил
он мне средь ваших трав, что пахнут сладко,
коль срезать их средь стоптанных могил,
среди людей... Осталась лишь загадка

от нас. Вам разгадать ее невмочь.
Молчанью здешнему не внемлете вы глухо.
Всё ясно вам: в сентябрьскую ночь
один подлец, трусливый или глупый,
чтоб скрыть, что он надысь с девчонки слез,
промашку сделав, сделал ее трупом.
Но здесь молчанье из других словес.

ГАГРЫ

Прежде чем бросить меня с этой женщиной
страшной,
как-то сказал он, но, может быть, в шутку – не
важно:
«Вот отвоюем проклятую эту войну,
в Гагры махнем погулять хоть недельку одну».

Если искала его – лишь в толпе и в рыданьях –
не узнавала, небось, не справлялась заранье –

я что ни день всю Москву обходила пешком.
Много военных в толпе – обознаться легко.

И, обознавшись, стесняясь рыдать при народе,
я заходила к сестре – что-то комнатки вроде
дали ей в этой центральной конторе ее...
Как презирала она тогда горе мое.

После войны веселились, угрюмо, угарно.
Я ж нанялась на работу в те самые Гагры,
хоть и москвичка, но что мне теперь города –
я поселилась в надежде своей навсегда.

Не по душе мне была эта знойная сырость,
мертвая зелень растений продажно красивых,
душных бессонниц соленый, безвыходный шум:
с кем он здесь был, что пришли ему Гагры на ум?

Ну и приметил один мои душные ночки.
Нынче за сорок мне. Вот уж и сестрина дочка –
одна отрада моя – стала ростом с меня –
мне присылает ее, как подарок, родня.

Но временами как будто бы что-то находит.
Платье ищу выходное и не по погоде,
разворошив в лихорадке безжизненный шкаф,
платье тогдашнее в спешке едва не порвав,

я надеваю и с пляжа племянницу кличу
(ты не видала таких обаятельных личик)
хоть и в обтяжку мне платье – на этакий стан –
чуть не бегом мы бросаемся с ней в ресторан.

Но не в отраду вино и тяжелая пища
(мне это вредно), но ем я и пью, и обычно
жадно пытаюсь вдыхать этот горький табак,
но задыхаюсь и, знаешь ли, кашляю так.

Вот моя девочка – та изумительно курит.
Пьяный курортник к ее загорелой фигуре
лепится взглядом, а ей невдомек и не в честь –
ей бы, счастливой, пока только яблоки есть.

Гагры видны нам внизу в полыханье закатном –
там от войны не осталось и камня на камне...
Быстро смеркается, и созревают огни.
Тьма. Только Гагры видны нам. Лишь Гагры одни.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМ ИМ

Тюрьмы, лагерей и ссылки
был баснословен срок.
Всех потеряла – сына,
мужа, отца. Жесток

век наш. Не хватит влаги
горькой на всех людей.
Но ссылка, тюрьма и лагерь
стали опорой ей.

Гордость судьбою либо
силы людской предел –
но казался счастливым
страшный ее удел.

Не дал ей Бог недуга –
женственна и мила –
как старую подругу,
смерть она приняла

в комнате той, где тени
смотрят с портретов на
встречу их. Но на деле –
смерть, как всегда, одна.

ПОДЗЕМНАЯ НИМФА (4)

Но всех прекрасней среди нимф
была, естественно, гречанка.
Должно быть, ездила в Коринф
в автомобиле – не песчаный,
а галечный в Коринфе пляж,
зато – божественный пейзаж,
очерченный полетом чайки,

воздушной линией вершин
приморских гор – сосняк корявый
в них коренится... Из Афин
она была, конечно (я вам
о нимфе говорю) – увы
в морозном зареве Москвы
увидел я сей величавый,
прекрасный профиль, что века
чертили набожно и тонко
не с тем, чтоб привлекать слегка
иль завораживать, а только
чтобы из времени извлечь
красу его – казалось с плеч
не снят кувшин с водою звонкой –

той древней чистою водой,
что из источника трагедий
хор женщин нес... Немолодой
она была уже. Но гений
в святой гармонии своей
едва ли был ее стройней.
А красоту ее движений

лишь с соразмерностью стиха
сравнить уместно было б. Очи –
два сокровенных тайника –
и очерк их был не восточен,
не западен – ведь у времен
нет географии – и он
был оттого настолько точен.

Ночная их голубизна
была слияньем вод и камня...
Но вся она была ясна,
как тайна... Хоть извне пикантна
была, пожалуй, даже не
затронутая ни извне,
ни изнутри годами... К нам не

по доброй воле занесло
ее – нет, дочь с супругом – ола! –
не победив в Элладе зло,
спасались здесь от произвола.
Но нимфе участь их чужда,

как миру красоты – вражда,
хоть сам-то мир, конечно, зол он.

Верней, трагичен. И пример
тому судьбы ее возмездье.
От неких новых строгих мер
сбежала дочь в Париж с семейством,
в приличной богадельне мать
оставив старость доживать...
Краса ж и старость несовместны:

она курила много и
снотворным, верно, запивала
воспоминания свои –
всё дымно здесь, я знаю мало –
и всё же в номере, в дыму
погибла нимфа – по всему,
видать, горело одеяло.

Красу не оставляют впрок.
Дочь отуречена – нимало
не схожа с матерью – и срок
отбыв, жива. А к смерти даром
приговоренный заглаза
зять Достоевского азам
в Сорбонне учит коммунаров.

БЫТЬ МОЖЕТ, ТАМ

Скрип портупей. Сапожный скрип державы.
Скрип кобуры, воспетый Окуджавой.
Скрип ночью отворяемых дверей.
И снега скрип – он был всего страшней:

он схож был с оловянным скрипом мисок.
И перьев скрип: скрип докладных записок.
И патефонный скрип тупой иглы.
Скрип половиц – общаются полы.

Чу! – скрип фамильной мебели – тот чинный
старинный СКРЫП – у стервы-дворничихи
в полуподвале с видом на кота
дворового. Вот так летят года.

Колесный скрип механизаций сельских.
Скрип пилочек по части заусенцев.
Скрип времени, который ШУМОМ скрыт:
скрип портупей, сапог и снега скрип.

Мне чудится, что так звучали годы,
когда и к ней – невидной, робкой, гордой
явился человек – прекрасен он
и нежен был – он был скорее сон,

но оставался явью, далью, плотью –
не только телом, даже каждым платьем
неловким знала: любит! да! ее!
ее одну! – и даже не свое

с ней счастье, а ЕЕ – ее такую,
какой она была. Они, ликуя,
ходили в парк, смотрели «Трех сестер»,
ликуя ели, выметали сор

из комнатки ее, в лото играли,
ликуя, бились среди тел и брани
в трамвае по утрам... Но вот беда:
он первым выходил всегда. Куда

потом он шел – ей было неизвестно.
Но мало ли работ – и ей – невесте
не к месту спрашивать про службу, про оклад,
того ль ей надо – но когда подряд

он трое суток к ней не возвращался,
она, измучившись, оторопев от счастья,
что вот он снова жив, что снова с ней,
она его спросила. И ясней,

правдивее не мог бы отвечать он –
он, переполненный ее – ее печалью –
(он ревности не ждал) – но вот за страх
ее ответил головою так,

как отвечают головой на плахах.
Шли ходики. Она не стала плакать:
не слезы застят всё, что впереди.
Она ему сказала: «Уходи».

Когда он выходил, она мгновенно
увидела и шаг его военный
и эту стать! Он был переодет! –
в того, кого теперь на свете нет –

в любимого, да просто – в человека.
Он был переодет. Он был калека,
скрывающий увечья – только чьи?
...Соседки в кухне ставили чаи.

Шли ходики. Все началось сначала.
Маруська разведенная кричала:
ее бы воля, всех бы под арест!
И надо было торопиться в трест.

Пришел он вскоре. И застал за стиркой.
Соседи тешились любимою пластинкой.
Был в форме, но без кубиков и шпал
(ей это невдомек). Но чем он стал

за это время – только гимнастерка –
и всё. Лицо как будто стерто.
И в голосе чуть не предсмертный хрип.
И скрип сапог. И портупеи скрип.

«Вот. Я вернулся. Я ушел из кадров.
К тебе». Потом молчание. «Но как ты
там был все эти годы? Был ведь? Да?
И наш с тобою год...» – «Ты никогда

об этом не узнаешь». Так же круто
он вышел, так же прямо, и с минуту
был в коридоре слышен скрип сапог.
И кто б тогда подумать только мог,

что нету этой поступи возврата.
Его забрали в тот же день. Она-то,
так живо горевала о живом
еще так много страшных лет... И вот

узнала, что давно не дышит тело
любимое – и горе помертвело,
живая скорбь запнулась, обмерла...
Она увидела кровавые тела

им убиенных, и средь них – он – милый.
«Ведь это я сама его убила.
Мне нужно было грех его вобрать
в себя – терпеть, молиться – Божья Мать

услышала б меня, во что б ни стало.
Наверное, любовь его искала
во мне спасенья этого, – угла
последнего. Убила. Прогнала.

Затем, что слишком дорог был. Как в милом
могла терпеть я палача... Могилы
его не сыщешь...» Да, теперь он был
одной волной бушующих могил –

она об этом знала... Как и прежде,
могла судить его лишь по одежде? –
а нежность, ясность... «Он ради меня –
из смерти в смерть. А мне его вина

застлала, видно, ненавистью очи...»
В ней ожили те дни их, те их ночи,
в которые душой боялась впасть.
Теперь она судила свою страсть –

свою всегдашнюю испуганность в объятьях
и неумелость. «А могла бы дать я
ему, убитому, поболе – что за стыд...
Но он по доброте своей простит».

Сперва, про смерть не ведая, стыдилась
во сне его объятий. Утром мылась
военною водою ледяной
до отвращенья. Но теперь одной

ей по ночам невыносимо было.
И перед сном она его будила,
но он не просыпался. Снился ей
скрипучий снег окрестных черных дней.

Но иногда сбывались упованья;
он снился ей таким, как до признанья
во зле – безгрешным, ясным и родным:
они стояли в сквере вместе с ним.

Ее пугало то, что в тресте, в главке
средь лиц полуистертых или гладких,
как бланк – не находила ни черты
его лица. Уж не забыла ль ты?

Нет, это только память стала глубже,
вернее. Ни любовника, ни мужа
ее душа не приняла. Она
старела гордо, как его жена.

Любовь ушла в подмогу пьяным братьям,
их детям, внукам: даже рисовать им
училась специально – танки, бой
с зенитками, солдатами, пальбой.

Любовь ушла в чужих детишек тощих –
подарки, елки – но еще и в то, что
в ней ненависти не осталось той –
слепой, аляповатой, молодой.

Не оттого ль, что просто постарела?
Или боялась? Вряд ли в этом дело –
забыла ли она хоть на одну
секунду свою смертную вину?

о, нет, она ЖИЛА своей виною,
придуманной пред мертвым, и порою
казалось ей, что вины их слились,
как люди, жизнь рождающие из

слияний этих. Как они когда-то
сливались... В жизни столько виноватых! –
НО ВСЕ НАКАЗАНЫ. Всевышнему хвала,
за то, что, опочив, не дожила

до наших светлых дней, когда бы стали
ей ведомы кромешные детали
его «работы». Умерла допреж
всех братьев старших: не было надежд.

Или была всего одна надежда,
что где-то там нам отверзают вежды –
быть может, там откроется ей, как
он сразу был и ангел, и варнак...

Быть может, там...

ОСЕННЕЕ ВИДЕНИЕ

Высóко на холме, среди лесов,
средь вересковых пустошей и просек –
бела и хороша лицом,
и в синей речке – отраженья проблеск –
среди лиловых кленов и осин
алевших – в небесах, где только синь –
высоко: всей пустой природы в центре
стояла испохабленная церковь.

ВЕЧНАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ

«Ах, ewig weibliche... Хе-хе», –
сказал Орлов на языке,
давно забытом мною.
Но, поглядев в окно, я
средь вешняковских зеленей
старуху высмотрел и с ней –
совок, ведерка дужка –
трехлетнюю девчушку.

БАЛЛАДА

Быть может, я бы и не стал
учеником отечной кисти,
но были в моде шлак и сталь –
и чаще шлак. В застенке истин,
объект которых ненавистен,
искал я, очевидно, лаз.
Но из меня не вышел мистик –
кто будет отвечать за нас?

Я стал художником. Простор
пространства я себе присвоил
и пустоту, казалось, стер
хотя б с бумаги. С пустотою
души схватился я и слоем
оттенков скрыл ее от глаз.
Талант мой что-нибудь да стоил –
кто будет отвечать за нас?

Замечу кстати, мой отец
был, так сказать, белогвардейцем,
деникинцем. Его конец
теперь известен мне. И в детстве
я жил без матери – известно,
в то время победивший «класс»
врагов объединял в семейства –
кто будет отвечать за нас?

И мой простор был невесом.
Он мне принадлежал случайно.
Но невесомость – страшный сон:
рисунки расплывались. Чаял
опоры я. И вот с очами
раскосыми – в урочный час
она пришла. Мы не скучали.
Кто будет отвечать за нас?

Роман наш был предельно прост,
как боттичеллевы рисунки
пером. Но в тех есть точность – кость,
а здесь был акварельный сумрак:
билетик членский свой из сумки
раз обронила на матрац
она... Но молодость безумна –
кто будет отвечать за нас?

К женитьбе дело шло. Как знать,
быть может, мы сочлись бы браком,
но в перспективе брака мать
ее явилась. Одинаков
был чем-то облик их. Однако
у матери был острый глаз
на родовые свойства злаков...
кто будет отвечать за нас?

Биологом она и впрямь
была. Но тот же взгляд раскосый.
Фигура та ж – куда ни глянь.
Все дело кончилось доносом,
естественно. И те же косы.
Их сходство мучило подчас
меня... И тот же стан. И нос. И
кто будет отвечать за нас?

Но все же связям родовым
не склонен доверять я. Гибко
растем мы. Но в то время им
все доверяли. И погиб я,
естественно. Мне не обидно:
естественность, как Божий глас,
была... И нам не надо гимнов –
кто будет отвечать за нас?

Шло время там у вас, где ад
эдемом числят. И, как судьбы,
неразличимый некий брат
двоюродный – он мне отсюда
чуть виден – выставку рисунков
моих устроил. В первый раз
они глядели в мир подсудный –
кто будет отвечать за нас?

Всего лишь час сей вернисаж
продлился, породивши слухи.
Да, время – это верный страж.
И вот явились две старухи
в толпе любителей, как духи
являются в дурной рассказ,
как сорняки поверх разрухи...
Кто будет отвечать за нас?

Их сходство в старости дошло
до некого предела. Еле
плелись, дышали тяжело.
Но не стеснялись, не робели.
«А неплохие акварели
писал он... этот богомаз», –
сказала мать... И в самом деле,
кто будет отвечать за нас?

НЕЗРИМО И ГРОЗНО

Зурабу Кикнадзе

Телави: узки и приземисты камни руин,
оград виноградных, проулков, ведущих в былое.
Фиаты, Фиаты вертлявые еле по ним
форсить исхитряются. Ночь наступает и строит

тяжелую церковь на площади, где ребятня
играет на ощупь в футбол. Это маленький город.
И дышит народ на порогах домов после дня
с тяжелым, как олово, солнцем. Лишь храм
на запорах.

Вот крепость срослась с вековой алазанской
землей.
А вот на одном из проулков кривых перевале
(Фиаты юлили, и дети вертелись юлой)
встал дом каменистый: давно уж не обитали

ни люди, ни духи, казалось – ни стекол, ни рам,
ни ставен – чернее, чем ночь, были окон
пустоты –
да: дом пустовал, как Телавский заброшенный
храм,
и полуразрушен был столь же... Но вдруг
поворот, и

в одном из проемов оконных увидели мы –
увидели белую голову – в черном проеме –
седую старинную голову – у головы –
пустые глазницы чернее, чем тьма в этом доме.

Была неподвижна чужой головы седина,
но только по ней было ясно, что это – старуха –
глазниц пустотою куда-то глядела она.
Такой неподвижности чужды движенья и звуки.

И все же куда-то глядели пустоты глазниц
(хоть белые клочья волос ее не шелохнулись),
и ночь исходила незримо и грозно из них
на мир, на Телави, на угол двух сгорбленных
улиц.

СТАРИКИ

Он был смертельно болен, и жена
его состарилась над долгою болезнью,
устала и сама была больна
уже давно. Мы отдыхали вместе

под Вильнюсом. Сосновые леса.
Чуть потускневшие старинные озера.
На мызе жили: старый дом и сад
ухоженный. Сошлись мы очень скоро.

Мы жили в комнатушках проходных.
Он много знал – недуг его не старил.
Я по окрестностям прогуливала их...
Но вот что: я играла на гитаре,

хоть редко, но еще в педвузе бард
один меня привадил к этим звукам.
(Я не любительница болтовни и карт
и прочих девичьих забав.) От друга

я получила горькое письмо,
плачевное письмо в тот самый день, и
уж за полночь, самой себе на зло,
я еле слышно стала тенькать

один романс старинный... Вдруг меня
привлек какой-то звук – чужой и жалкий.
Я прервалась. У них был свет. И я
услышала: «Ну, что ж вы? Продолжайте».

Тогда послушно я взяла аккорд
и в дверь вошла к ним. Сидя на постелях,
они тихонько (не тоска, не скорбь,
а счастье прошлое), они тихонько пели...

Он был смертельно болен. Лысоват.
И страшно худ под тонким одеялом.
Я знала лишь мелодию. Слова
от них тогда впервые услыхала.

ОТРАЖЕНЬЯ

Отраженья дерев
коренятся в земле.
Но пленительных дев
заземлить не удастся:
не поймешь, не затмишь,
и, как пламень – в золе,

отражали мы лишь
их минутные страсти.

ВПРОК

«Фривольный пусть сочтет
меня фривольным».
К. Кавафис

Про милых дам
сказал я без затей,
своим страстям
бесстрастью ль – потакая.
Я слишком плох,
чтоб не любить людей –
кому же впрок
взаимосвязь такая.

ПОДЗЕМНАЯ НИМФА (5)

Подземная нимфа, газету сложи:
пора подниматься – сначала на землю,
затем по ступенькам в автобус, где зело
толкают, затем уже – на этажи –
всё выше – пусть лифт отказался от роли –
а там еще выше: встав на табурет,
возвысить газетою гору газет,
растущую на антресоли.

ПОМОЛВКА

(несостоявшийся роман)

1976–1977

«Я хочу найти успокоение
в мысли, что люблю тебя».
С. Киркегор

«Тварь, которая обладает наименьшими
свойствами твари, наименее знает боль».
Майстер Экхард

«My conscience hath a thousand several tongues,
And every toungue brings in a several tale,
And every tale condemns me».
W. Shakespeare

В одной скандинавской сказке повествуется о камне-провидце, которым пользовался некий принц при выборе невесты: стоило претендентке ступить на этот камень, и он тотчас сообщал принцу всю ее подноготную.
Но человек, согласно воплям Иова, не обладает силою камней.
Далее в двух словах – та тема, которая, в сущности, не имеет почти никакого отношения к этой книжке стихов. Серен Киркегор полюбил Регину Ольсен и был помолвлен с ней. По никому не известным причинам он разорвал затем помолвку, в чем и отчаивался до конца своих дней. Это, разумеется, легенда.
Об этой легендарной помолвке и пойдет речь. Выбор темы, равно как и отступления от нее, связан с весьма оригинальным отношением жениха к невесте – он формулировал его так: «Моя помолвка с ней и разрыв – есть подлинно моя связь с Богом, если я смею так выразиться».
Киркегор подготовил к печати 14 томов своих дневников. Это дает исследователям основание полагать, будто бы он не хотел скрывать от потомков своей биографии. Сдается, однако, что этот факт свидетельствует как раз о желании тщательно скрыть ее. Сам Киркегор утверждал, что «человек может многое скрыть от ближнего, либо смолчав, либо – еще вернее – высказавшись». С другой стороны Киркегор был убежден в необходимости и неизбежности будущего

изучения обстоятельств его личной судьбы, которую считал выражением и основанием своего учения. Очевидно, интересующимся подлинной биографией этого мыслителя следует обращаться, скорее, к 14 томам его «эстетических» и даже «этических» произведений, а не к 14 томам дневников и уж тем более не к отвлеченной лирике, составившей эту книгу.

Лев Шестов однажды заметил: «Легко можно допустить, что Киркегарда в его потустороннем бытии больше всего тяготит и угнетает мысль, что он не имел мужества сам при своей жизни прямо в глаза людям поведать свою тайну и что, если бы нашелся человек, который теперь разгадал бы его тайну и показал людям, он снял бы этим огромное бремя с души покойного».

Ни о чем подобном автор нижеследующих стихов не помышлял.

Остается только добавить, что «Киркегор» и «Киркегард» – одно и то же. «Киркегор» точнее, но это безразлично, потому как ВСЕ ПОДЛИННЫЕ ИМЕНА В ТЕКСТЕ ВЫМЫШЛЕНЫ.

1.
Близ слез, близ вереска, близ чаек
стояла церковь, и ее –
ее, бывало, посещали,
но бури делали свое:
сползались дюны все теснее,
порос песком прибрежный храм –
рассталась церковь с бурным небом:
Бог стал доступен лишь пескам.

2.
Обкатанный веками –
почти что невесом –
я – говорящий камень,
который знает все.
Но всуе бормотанье,
уж лучше б был я нем:
заветнейшие тайны
как раз известны всем.

3.
Всю жизнь я бился слепо
с преджизненною тьмой:
был каждый миг – последний,
ужасный, чуть живой:
вот так младенец втуне,
но все-таки живет
и жизни накануне
толкается в живот.

4.
Себе ли мне во благо –
но не снеся вериг –
отец мой проклял Бога
и устрашился вмиг.
Пастух, мальчишка жалкий
с проклятьем на устах,
он дал мне мать-служанку
и свой могучий страх.

5. (МИХАИЛ КИРКЕГОР)
Плач. Овечий благовест.
Холм, как правда, голый.
Рук его нательный крест
опустился долу.
Был подпаском мой отец,
стал – мудрец кромешный,
и одною из овец
стало в стаде меньше.

6.
Когда еще в утробе
умру я, мой отец
сам смастерит мне гробик
из годовых колец,
сам выкопает ямку,
ее засыплет сам
и крестиком, как якорем,
прикрепит к небесам.

7.
Ты родился старцем
и юношей не стал –
оттого остался

мальчиком навечно –
мальчиком измученным:
затравленный оскал,
лба отвесна круча
и гордость изувечена.

8.
Здоровья слепота
ему едва приснилась.
Я думаю о том,
как безысходность ДЛИЛАСЬ.
Не камень, не металл –
чем ты платил ущербу –
к запретным ли плодам,
к греху ли – отвращеньем?

9.
Он рос среди смертей,
среди последних слов.
Целуй, малыш, смелей
сестрицу в руку, в лоб.
Отравлен на всю жизнь
он той отрадой тайной,
которая вершит
кончины ожиданье.

10.
В доме мрачном, сиротливом
ты одна была смешлива,
ты одна была невинна –
их презреньем, Анна Лунд,
ты совсем не тяготилась,
не звала ты Божью милость
на их гнев – отца и сына
ты звала к столу.

11.
Безгрешный патриарх,
напившись, словно Лот –
руки неверный взмах –
к столу сынка зовет,
с ухмылкою бредовой
бормочет: «Выпей. На.
Я Анну-то в кладовке.

Чуть умерла жена.
Где братья твои? Померли.
И доченьки. И ты
помрешь за это. Понял?
Останусь я один –
один! Эй, Анна, портеру!
Что? Умерла? Кретин!»

12.
Мой единственный сын,
знай: ты скоро умрешь –
плод бессильных седин,
плод грехов моих, знай:
Бог – Он вправе отнять
всё, что даровал... Что ж,
ты к нему от меня –
с Богом, с Богом – ступай.

13.
В кондитерской пахнет
ванилью слегка.
И молодость как-то
постыдно сладка:
грешно или страшно,
но вспомнишь не в лад:
лохматая чашка,
и в ней – шоколад.

14.
На кружке глиняной, пивной,
на старой кружке обливной,
как с милою подружкой,
изображен я с кружкой –
все с той же кружкой, и на ней –
я снова с кружкою – ей-ей –
и снова мы – на кружке...
и нет конца пирушке.

15.
Любовь остынет.
Страшно остывать.
Живи отныне
ненавистью, сын мой.
Ведь только Каина

невместно убивать...
Зло привлекательно,
Поскольку НЕНАСЫТНО.

16.
Какой студентик, Марта,
сегодня был со мной –
красавчик незамаранный
и пьян, видать, впервой.
То весь трясется жадно,
то плачет обо мне,
а сам в таком шикарном
голландском полотне.

17.
Как мы пели
тогда в апреле:
«Шлеп-шлеп – в лужу –
и мозг наружу!
шлеп-шлеп – в яму –
и новый явлен!» –
капли, пули
страстной капели.

18.
Я застрелился, Мёллер,
во сне, но наповал.
О, я боялся мертвым
проснуться. Долго спал.
А как-то перед Пасхой –
весна, куда ни глянь –
приснилось мне шампанское,
и я проснулся пьян.

19.
Весною тают ангелы.
Как лихорадка, сух
и вязок, словно тайна –
тополиный пух
ползет, клубится, носится –
пролаза, вертопрах –
он раздувает ноздри,
он весь – ресниц размах.

20.
Бор тяжелый, непрощенный
в пористом поту.
Бор лучами перечеркнут:
о, невмоготу!
о, невмоготу мне, Отче! –
елей этих мрак –
то воспоминаний корчи,
то стыда столбняк.

21.
Явился в свете с дамой.
Вся в черном. Холодна.
Всегда темна, нежданна.
И даже с ним – одна.
И он ее за холод
приревновал к отцу...
Но Черной Меланхолии
все почести к лицу.

22.
Опера. Фонарный жемчуг.
Вырезы манишек. Тел.
Вечером у встречных женщин –
что ни личико – пробел:
чепчиков шальные ленты,
кудри обрамляют ту
вечную, поди, мечту
столь же «вечного» студента.

23.
Пигмалиону тесно
в безумии своем:
«Ведь изваянья девственны,
как Артемида, в том
сомнений нет хотя бы –
чистейший мрамор...» – хвать –
и мраморную бабу
он валит на кровать.

24.
Красавица без взора
из бедер восстает.
Она не слышит зова –

оставь, оставь ее:
не хочет изваянье
быть теплым и живым –
страшит кончины яма
и увяданья дым.

25.
Ратуша и звон ее.
Замок и казарма.
Господин и зонтик.
Дама и над замком –
птица. О, проклятье! –
брызги экипажа.
Ситцевое платье.
Роза у корсажа.

26.
Дюргавен. Надулись
кругом балаганы.
Ютландки к прогулкам
вас располагали:
служанка прелестна,
дика, словно мед...
к ней черная лестница
ночью ведет.

27.
Всё спит средневековым
полузабытым сном.
На чердаке рискованном
ты думаешь о нем –
о сне – о непроглядном,
но красочном на вид...
А рядом изваяние
разбитое храпит.

28.
Свобода пустынней
воскресного дня.
Ступайте же, сын мой,
хоть в сад Фридрихсбергский:
насколько свободней
девицы хоть б
из Новой Слободки
всех помыслов детских.

29.
– Всё же все они кривляки,
милый Иоганн...
Что за фрак! Такие фраки
впору старикам.
Верно, ты другого мненья –
ты ж – натуралист.
Впрочем, я в виду имею
девственных девиц.

30.
Кровосмешенье истин
чревато вырожденьем.
И вместе ненавистны –
магометанский стан,
языческие плечи,
ветхозаветно тлеют
на христианском личике
томления уста.

31.
Краса короче ленты,
и сроком миг томим –
и вот металл нетленный
причудам женским мил:
как черный яд Изоры,
оправлены они –
причуды – в солнце золота
иль в серебро луны.

32.
Друзей своей погибели,
доверчивых дружков –
о, кто бы они ни были –
он предавал легко:
ОН ИЗВАЯЛ ИХ ЯЗВЫ,
искусством упоен,
чем урезонил ясно
свои сомненья он.

33.
Умер Поль –
учитель, друг.
Словно моль,

душа крылата.
Мир, что гол,
велик вокруг –
словно горе,
лжив и краток.

34.
Разверни деревьев свитки
и уверишься, что, мол,
для того лишь, чтобы ветки
зря тянулись к жизни ветхой,
нужен мощный ствол.

35.
Но вот встрепенулись
и грудь, и живот,
раздвинулись ноги,
полуоборот
чела оставляет
свой точный наклон –
бери свою статую
Пигмалион.

36.
Оживает Галатея.
Полон взор игрой.
Волосы покрыли тело
мраморное. Кровь
загорелась в камне щуплом –
волен монолит...
С отвращением на чудо
каменщик глядит.

37.
«Отец Небесный,
благодарю
Тебя за бездну,
куда я брошен –
так нужен веку
мой рок, мой труд,
что, как калека,
отвержен, Боже».

9.7.1863

38.
Отец мой – подпасок
посмертный пацан,
ты проклял не паству,
ты проклял Творца,
а я колокольчики
тесных овец,
все злей и настойчивей
слышу, отец.

39.
Умри. Пора.
Не станет плакать
твой сын отрадный
о, Иаков –
ты не иссяк,
ты столь же прочный:
в твой смертный страх
я спрячусь, Отче.

40.
Кокетливы, как девы,
могилы молодые:
средь жизни полнодневной
они укромней дива:
среди цветов и пенья
до ослепленья вплоть
глядим мы откровенно
на их нагую плоть.

41.

«Бог хочет, чтобы я готовился
к экзаменам».

С. Киркегор

...И тень отца, поскольку надо,
на время выскользнув из ада,
слетала в помыслов подвал,
едва ты кофе допивал.
И тень отца, пугливый Гамлет,
не убивать, не мстить врагам, нет –
сдавать очередной предмет
вела тебя на факультет.

42.
Судьба податливее воска
и в камень не вогнать судьбу –
но, умерев, застыв, авось мы
сокрылись от нее в гробу.
Но нет – неистовее мозга,
податливее гордых дев,
судьба потомкам отдается
и в смертном сне окаменев.

43.
Тяжела вязанка дров.
Ужасает дрожь.
И родитель мой суров,
как огонь и нож.
И когда – белей, чем страх, –
ждал я пустоты,
вдруг, запутавшись в кустах,
появилась ты.

44.
Влюби в себя первую
зябкую зелень,
влюби в себя пенье
заутренних птиц,
влюби в себя утлого
солнца веселье
над кровлями улиц,
церквей и больниц.

45.
Мы встретились в мае.
Была я мила.
Подружки внимали
его мракобесью.
Он был очень мил,
когда из-за угла
мой отблеск ловил он
в саду Фридрихсбергском.

46.
Голос низок,
а грудь высока.
Дерзкий вызов

от робости детской.
И за каждым
биеньем виска –
столько жажды
и юности тесной...
столько жадности наверняка.

47.
Еще одна весна течет.
Несет куда-то отраженья.
И отчего я жив еще –
давно назначенная жертва? –
не оттого ль, что молода
твоей, Регина, страсти поступь?
Всевидящая нас вода
глядит нам вслед великопостно.

48.
Лист, раскаленный добела:
она – у чайного стола,
я – на диване, видит Бог,
она – у чайного стола
(и где-то здесь она спала),
я на диване – и листок
уже исписанный дотла.

49.
Отвага без усилия,
без мысли... Видит Бог,
сама, как мысль красива и
правдива, как подвох.
Всегда куда-то прячется,
скользит из-под пера...
Притворное ребячество –
не детская игра.

50.
Был в сумерках февраль, и –
Регина всех милей.
Еще не зажигали
старинных фонарей.
Но крошечный фонарщик
нес лестницу свою,
поскольку всё иначе
у ночи на краю.

51.
Как море белокурое,
быть может, глубока –
о том узнаю скоро,
не ведаю пока.
Но ветра солонина,
но рыбное филе...
Я говорю: Регина
всех помыслов милей.

52.
Темна моя келья,
хоть Бога моли.
Отсюда лакеи
записки мои
несли тебе глухо
и слепо... Но нет –
из кельи ни звука
не вышло на свет.

53.
О, еще раз напиши мне –
сладостно придумай всё –
из-за выдуманной ширмы –
выдуманное лицо.
Напиши мне полной грудью,
не вверяй себя уму –
ведь самой же слаще будет,
чем тщеславью моему.

54.
Лицом в отца.
В мамашу ростом.
Черты родства
сродни сиротству.
Единственная, будь одна! –
по мне утратить ты должна
с собою собственное сходство.

55.
Была ко мне
добра... и зла.
А что больнее? –
это смежно,

как алый пыл
и с ним зола.
Я не забыл ей
ни насмешки.

56.
Забыта первая гордыня.
Жалеть о жалости ко мне
ее заставил я, – отныне
гореть тебе в моем огне! –
я победил неотразимо.
Вослед моей насмешке злой
вдоль щек сбежали две слезы, но
я не поверил ни одной.

57.
Молчит. Дичится:
учится молчать.
Такого чистого
не прочитаешь взора.
Офелия:
не женщина, не мать –
лишь дочь умелая,
послушница отцова.

58.
Нет, я – не Офелия –
я не раба
лишь брачной постели
да чести постылой –
не бойся, любимый,
не мучай себя,
а просто люби меня,
милый.

59.
Я расту, как корабль,
приближаясь к причалу,
но когда б, но когда б
ты узнала, что я
остаюсь изнутри
тем, чем мнился сначала –
той же точкой – смотри –
на краю бытия.

60.
В тот раз принес я розы
роскошные. Она
вдруг – обернувшись – просто:
«Зачем я ждать должна?»
Но я скорей убил бы,
чем взял ее вот так.
И, бросив, позабыла
невеста о цветах.

61.
Не навязывалась. Нет.
Хоть и сдерживать не стала б.
Отведите ваш лорнет –
лгал он с самого начала.
Лгал и, главное, не вам –
лгал себе витиевато –
лживо жаждал, ревновал,
лживо сгинул без возврата.

62.
Был мужествен, силен, жесток,
когда отверг, как трус, я
и взора первого исток,
и слов последних устье,
мольбу ко мне простертых рук,
порочную готовность
на все пересеченья мук –
бесчестье, счастье, гордость.

63.
Ты, наверное, из тех
кто не размыкает век,
а уста разъяты
в паузах объятий,
чей почти беззвучен крик
средь плечей незрячих –
ты из тех, кто плачет
в этот миг.

64.
Слоеные постели.
Восторги со слезой.
И приступы истерики

как раз перед грозой.
И ласки не ко времени.
И голод в бездне глаз.
Обеденные бредни.
Всё это – не про вас.

65.
Я блудный сын грехов отцовых –
в наследство мне
досталась чопорная совесть
(но лишь извне).
Как Иов сказывал недужный
(но лишь извне):
мое дыханье было б чуждо
моей жене.

66.
Вот так он мучится: неужто
мое дыханье будет чуждо
моей жене... мое дыханье
ей будет чуждо!.. Не вникает
она в мой горний мир – нет нужды:
пускай дыханье будет чуждо
невесте брошенной – о, да:
вражда естественно чужда.

67.
Представьте себе, как Гамлет
нарочно чулки спускает,
кривясь и суча ногами,
жилетку рвет, сжавши зубы,
чтобы бежать к Офелии,
встречных датчан пугая –
так они и поверили,
что он влюблен безумно.

68.
Когда тебя я предал,
был август в небесах,
тлетворно солнце грело
теплей... теплее пледа,
в окно алели кроны
деревьев... Я писал
работу об иронии –
еще одна победа.

69. ЗАПИСКА РЕГИНЕ ОЛЬСЕН
ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ
ОБРУЧАЛЬНОГО КОЛЬЦА
«Коль пришлют Вам на Востоке
шелковый шнурок –
адресата ждет жестокий
непременный рок.
Коль пришлют кольцо Вам, видит
Бог, жестокий рок
бережливый отправитель
для себя сберег...»

11. 8. 1841

70. ЗАПИСКА, ОСТАВЛЕННАЯ РЕГИНОЙ
В ПУСТОЙ КВАРТИРЕ КИРКЕГОРА,
КУДА ОНА ПРИБЕЖАЛА,
ПОЛУЧИВ КОЛЬЦО
И СООБЩЕНИЕ О РАЗРЫВЕ
Ради Господа Бога,
ради скорби глубокой
о кончине отца,
не оставь, не оставь,
не оставь меня жалкую,
не отдай меня им –
ИХ ВЕДЬ НЕТ... Ну, пожалуйста,
не останься один.

71.
Ужели миновала
пора метаморфоз?
Приходит время жалоб,
приходит время слез.
Невзрачным будет горе –
необходимо, чтоб
ты превратилась вскоре
хотя б... в гелиотроп.

72.
Не спит, не спит Полоний
в полночном колпаке:
недостойно стонет
дочь невдалеке.
И холодно ногам его.

И ненавистен зять.
Отцовской тенью Гамлета
отцу не запугать.

73. ПИСЬМО СОВЕТНИКА ОЛЬСЕНА
«Сёрен, я стар и горд,
просить мне не пристало,
но ради всех невзгод,
постигших род твой, всё ж
униженно молю
за юность и за старость:
помилуй дочь мою!
за это всё возьмешь.
...Всю ночь я слушал, как
она всю ночь рыдала –
она наверняка
умрет, Сёрен, она
рабою станет впредь
всех прихотей усталых
твоих... Мне ль говорить!
Но в чем ее вина?..
Вы, сударь, слово сдержите и на
Регине женитесь!»

74.
Плечи ее –
это плач во плоти.
Волосы льет
горячее, чем слезы.
Груди – томлением
собранный мед:
медленный,
разноголосый.

75.
Жаль, что разрыва стены,
любимая, крепки –
и не коснуться стона,
не дотянуть руки
до слез, до содроганий,
до жалких поз без сил –
каким бы состраданием
тебя я одарил.

76.
Ты и вправду
желал моей смерти!
Ты бы рад был,
гордился б, таясь.
Он и вправду
и вправду, поверьте!
лишь за совесть опрятно
страшась.

77.
Я – клятвопреступник.
Подайте сюртук.
Немая прислуга
приятна на слух.
Живет мое тело
лишь тленьем стыда...
Но не без предела
и ты молода.

78.
Начнем историю с конца
печального, конечно:
два несомкнувшихся кольца,
извечных два колечка –
невенчанной невесты взор,
как от удара, сжался,
жених о качестве рессор
судачит в дилижансе.

79.
Дождичек просушенный.
Пепел от огня.
Убежал мой суженный
прямо от меня.
Чайкою, отчаянье,
долети до неба.
Утоли печали мои,
Пресвятая Дева.

80.
Пора Эриний гончих.
Осенняя пора.
Суть меда в его горечи –
давно понять пора.

Пора со всем покончить
немедленно! сейчас!
Пора Эриний гончих
средь обнаженных чащ.

81.
Он убежал невинно
из клятвы, из страны
не от тебя, Регина,
а от своей вины.
Но этой паутины
не одолеть ему:
он не любил, Регина,
тебя, тебя одну.

82.
Утром озираются
зори в изумленьи,
кровью хлынут разом
к измененьям дня.
Вечером, как будто
после преступленья,
озираться будут
зори, уходя.

83.
Бесстыдная боль –
ей пора за дела.
В Берлине мне столь
анонимно, что впору
забыться... в бесстыжих
затеях пера:
усилье – и дышат
бумажные поры.

84.
Усталости падаль.
Догадок нагар.
Но вечером, падая,
всё ж – в балаган –
из комнатной вечности,
взвинченных фраз –
в берлинского вечера
каменный фарс.

85.
Вот: СПРЯТАТЬСЯ В ИСТИНЕ,
В СВЕТЕ! – сто крат
темней, чем в укромном
местечке.
Ночные, мучнистые
бабочки мчат
в бескровное
жжение свечки.

86.
СНЕГ – ЗВЕЗДОПАД КОЛЮЧИЙ,
СНЕГ ЧЕРНЫЙ, СЛОВНО ТУЧА,
СНЕГ БЕЛЫЙ, КАК ВЕСТАЛКА,
НЕВИННЫЙ, КАК ПРОБЕЛ,
СНЕГ ЛЕГКИЙ, СЛОВНО КРЫЛЬЯ,
СНЕГ, КАК ПАДЕНЬЕ, СКРЫТНЫЙ,
СНЕГ ПАДШИЙ, СЛОВНО АНГЕЛ,
К НАМ В ДАНИЮ СЛЕТЕЛ.

87.
Забуду взор, забуду прядь
через горячий лоб,
чтобы в сердцах не поминать
и позабыться чтоб.
Где взять на гнев тогдашних сил?
хоть он – позер и трус –
мою отвагу разгласил...
но и расчет, боюсь...

88.
...И знаешь ли, лет через семь
встречаю я Ольсена как-то:
иссох, как Сократ, облысел,
и весь – словно битая карта.
Советник и старец без сил,
чуть я поздоровался наспех,
он так от меня припустил –
сам черт бы за ним не угнался.

89.
Полоний, вот Гамлет –
он станет потом

пророчества скалить
над всяким шутом –
сейчас же – убийца,
зятек-книгочей –
о, как он глумился
над смертью твоей.

90.
(Грош цена ее слезам –
в миг перегорели.)
Я тебе рейхсталлер дам,
погоняй скорее,
погоняй своих коней,
пьяница-возница!
(На ее любви ко мне
вздумал он жениться.)

91.
Недолго же покинутой
ты оставалась... Что ж.
Но со своей Регионою
я не расстанусь – врешь!
и вспомню без раскаянья,
досады ли, стыда
и слезы твои карие,
и слезы навсегда.

92.
Шлегель, надевай очки –
честь спасать пора.
Как стоят воротнички
чопорно с утра,
как отчетливо стучит –
сердце или трость?
Девочкой ее учил –
снова довелось.

93.
Жить с дамою замужней врозь
естественно. И днесь
нет, не Регину и не трость
я потерял, но честь:
бесчестью частному, вине
таинственной – сполна –

истории, коли не мне,
принадлежит она.

94. (ПИГМАЛИОН)
Лишь смерть и боль
тебе дарует божество,
мою мольбу
уразумев неясно –
нет, я хочу, чтоб ты была живой
и все же мраморною – чудом
постоянства.

95.
Заметил ли Бог
во храме своем
тот легкий кивок –
расплата? заем? –
который истоме
привиделся въявь...
Фру Шлегель, не стоило
даже кивать.

96.
Пусть я, как все, всему виной
иль виноват страшней,
чем весь грядущий перегной
иль тлен прошедших дней,
иль пусть смешна моя вина,
но смейся хоть вся Дания –
Регина Шлегель для меня
отыщет оправдание.

97.
Проклятый Шлегель! Скомкан
десятый вариант
послания... Прискорбно,
что сможем мы навряд,
ну, поделиться хоть бы,
обмана не страшась:
вам – тело неохотное,
а мне – ее душа-с.

98.
Какие сны ей снятся?
Неужто снится муж? –
скорей шитье, пасьянсы
иль пауки к письму,
к записке безответной –
ее мы вложим вот –
в послание к советнику,
как будто душу – в плоть.

99. (СОВЕТНИК ШЛЕГЕЛЬ И СУПРУГА)
– Ваш экс-жених изволил мне писать
и предлагать себя великодушно
в друзья семейству нашему. Он сам,
сам! снизошел до нас с подмостков,
где он в обличье то святоши, то шута
кривляется. Мадам, извольте слушать.
В письме для вас записка. Неспроста.
И волен я по воле недоноска
ее вручить вам или нет...
– Послушай, Фриц, ты ж отослал ответ
с нераспечатанной запискою. Чуть свет.
Неужто гнев твой столь... ИЗЫСКАН?
Не знаю я, что было в той записке.

100.
Фонарщик – он всему виной,
фонарщик и никто иной –
из-за тебя, проклятый карлик,
всё обернулось полной тьмой –
в нее, как в совесть, город канет,
и только фонарей мельканье
еще кромешней и темней
напомнит мне о тьме... огней.

101.
Весна. Раскаянное солнце.
В ручьях – оттаявшее сено
по свежим улицам несется.
Кругом – раскаянье – весна.
Кругом – раскаянье – развязка
зимы бестрепетной и серой.
И вязкий снег. И воздух вязкий –
его не выдохнуть сполна.

102.
Миг солнечного вечера
зимой во мгле домов.
Поддерживают вечность
столпы его дымов.
И все полно значения,
и ничего не жаль,
и дерева начертаны
на небе, как скрижаль.

103.
Деревьев изморозь
мохната:
изваянные пауки,
спускаясь вниз
с небесной ваты,
раскинув лапы суковато,
хватают низкие деньки
и пьют их света злато.

104.
Ведь в сумерках всё одинаково.
В кошачьей серости окрест
фонарщик лестницу Иакова
приставил к тьме и вверх полез,
зажег фонарь средь маскарада,
и в миг кривая клоунада
теней, невидимых в пыли,
явилась вдруг из-под земли.

105.
Жизнь коротка,
как зимний день,
как взмах платка,
как взмах метели:
сегодня мокрая
метель –
она не молкнет
две недели.

106.
Восточная улица.
Конский навоз.
Недели сомкнулись,
как спицы колес

карет, фаэтонов,
пролеток, телег –
легко, монотонно
сомкнулись навек.

107.
Но страсть неистребима –
ПРЕОБРАЗИМА страсть.
И если не с Региной –
тогда хоть с Музой пасть –
хоть с музыкой, хоть с Музой...
О, мой отец-старик,
еще повергнет в ужас
тебя мой первый крик!

108.
По набережной Зунда
гуляют господа.
И проплывают судна
туда или сюда.
А господа смеются,
хотя и не со зла,
поскольку твоя юность
здесь только что прошла.

109.
Книжные полки.
Блеск корешков.
За полночь. Полдень.
Вечер тишком
входит свободно,
как в мир иной,
как к Фаусту сводник
являлся порой.

110.
Полезные душе прогулки
оттаяли, и вот вдали –
не полицейских треуголки,
а женщины и корабли.
Весна привиделась, приснилась,
и воздух видимый дрожал,
и все в новинку, как омнибус,
для изумленных горожан.

111.
Сумерки. Кошачья серость.
Башня ратуши. Дворец.
Крутолобый храм. И сердца
еле слышный благовест.
Пахнет проданною рыбой.
Окон вспыхнули гроши.
Лишь на западе обрывы
туч чудесно хороши.

112.
За скрытным сюртуком
по набережной людной
гуляй себе тайком –
остер и многолик –
внимательно следя
за смыслом перелетным –
игривым, как дитя,
глубоким, как старик.

113.
Короткие брючки
известны стране.
Неряшлив и скрючен
кричу я всё громче,
и чем я слышнее,
тем, знаю, верней
советника Шлегеля
тайные корчи.

114.
О, да: спасенье безопасно.
И был бы я бесспорный пастор –
учил бы чинно и напрасно
своих заблудших прихожан
терпенью, главное, терпенью
и их насмешек не терпел бы,
и в страха пламени и пепле
не трепетал и не дрожал.

115.
Ах, Гамлет, утонула
в реке ЧУЖАЯ песнь.
Ах, Гамлет мой сутулый,

а ты остался здесь –
здесь на земле горбатой
казнить порок и тлен...
Но принял за отца ты
лишь собственную тень.

116.
Да, я порвал с тобою,
но ты и до сих пор –
моих желаний бойня,
моих желаний мор,
хоть занятый трудами –
в них совесть утоля,
о боли и рыданиях
лишь размышляю я.

117.
Прости мне измышленья.
Я не к тебе жесток –
к грядущим рассужденьям:
провижу между строк,
как для грядущих прихвостней,
на всё прольющих свет,
ты станешь моей прихотью
случайною... как смерть.

118.
Твоя правота
так пуста, так невинна,
как детского рта
огорченная мина,
когда огорченье –
движение мышц...
Сама, как прощенье,
проста... Так прости ж.

119.
Далек твой светлый лик
Его сиянья тенью
я стал – я свой двойник
в своих же злых мечтах –
во мраке их тщеты,
во тьме их ослепленья...
От этого и ты
вдруг просияла так.

120.
«Любви страшиться он не мог
моей – он был всевластен.
И даже здесь – у этих ног
он был сильнее страсти...»
Но если муж, и вы легли? –
то думать тяжелей:
«Нет, он страшился не любви,
а жалости моей».

121.
Что была ты – греза? случай?
локон? лента? –
лишь очерченная речью
стала явной:
как созвездия созвучий
неизменна,
как изменчивость – извечна,
постоянна.

122.
Не я, а только тень
от твоего сиянья
по Эстергаде – глянь –
идет согбенно, явно –
кругом народ снует,
летят насмешки мимо...
Но скоро тень обнимет
сияние свое.

123.
Ты вымышленней осени,
ты – головокруженье
листвы в последней просини,
дождей ее крушенье.
О, нет, не попрекала ты
чужие наши судьбы,
Офелия с гербарием
цветов своих безумных.

124.
Сёрен, ты страшнее,
чем собственный страх.
Улыбка коснеет

на вязких устах.
Но знаю неясно,
что страсть мою, честь
отверг ты, чтоб разом
их силу обресть.

125.
Ты снилась мне не русой,
а белой, как зола.
Ты улыбалась грустно,
молчала – не звала.
Расчесывала плавно
ты волосы свои,
и белоснежно падали
волос твоих слои.

126.
Магистр богословских
и прочих наук,
живу я, как злобный
крестовый паук:
спускаюсь, Регина,
к тебе с потолка –
моя паутина,
как нота, тонка.

127.
Родная боль,
люби меня,
хоть на любого
променяв,
хотя б навряд,
хотя б во лжи,
хотя б в объятиях
чужих.

128.
Сгущается книга.
Я счастлив. Я жив.
Вот замысел некий
над свечкой кружит.
Тебя не покину
в обиде одну –
утешься, Регина,
я ВСЕХ обману.

129.
Крови ли круглый ток,
рока, любимых рук
иль круговой порок –
всяк заколдован круг –
это верней орбит,
солнечнее часов –
обод родных обид,
фортуны колесо.

130.
Не скрипнувши дверью,
огня не качнув,
но не привиденьем,
не грезой ночной –
явилась вся в белом –
белей, чем зола,
оставила тело
свое и ушла.

131.
Любовь моя, мука,
годов не считай!
Простейшего звука
осталось на каплю.
Вернемся, вернемся,
вернемся, давай...
Но ветром относит
Речей моих камни.

132.
Его любовь ко мне? Я –
самой себя бедней:
не камень, не камея –
я призрачней камней.
Он пишет том за томом
неведомо о ком,
а я – другая – дома
читаю их потом.

133.
Регина, ведь я
тебя сам сочинил,
сам выпил весь яд

умолчаний, чернил,
коварных речений,
нагих подоплек...
Регина, зачем ты? –
и мне невдомек.

134.
Хоть правда лжива и горда,
как недотрога,
вот вам вся правда, господа,
про веру в Бога:
была бы вера у меня
одна навеки,
я б на себя не променял
Регину Шлегель.

135.
Быть может, недопоняла
я этих хитрых строк.
И с Богом частные дела
его мне невдомек.
Желать отчаянья – абсурд:
лишь как незваный гость
оно является... и тут
не до него, небось.

136.
Октябрьская стихия.
Сухой листок в руках.
И пауки сухие
в своих сухих силках
качаются. Забыть бы
ту алчущую сыть –
когда не уловить бы,
но и не упустить.

137.
(...И был у чембало
безоблачный звук...
Ты мало играла...)
Сыграйте, мой друг,
на клавиокордах –
хоть с музыкой пасть! –
она безысходна,
как женская страсть.

138.
Ты на поруганье
нас отдал толпе –
злословия камни
придутся тебе,
меня ж будут жалить –
что хуже стократ –
их злобная жалость,
сочувствия яд.

139.
Не меня – избави Бог –
я почти что непричастен –
не моей любви подлог,
не свое – какой там – счастье,
нет – открыта и горда –
страстотерпица и жертва –
ты возлюбишь без стыда
собственное униженье.

140.
Твоих я писем не сожгла.
Или сожгла – не важно.
Но я любила, я жила
их трепетом бумажным.
И отчего же, отчего ж,
скажи мне, отчего же ,
когда от них осталась ложь,
они стократ дороже.

141.
Сперва страшит морская влага,
и волн обрывы и овраги
бездонны, но затем они
песками дюн повторены
разумно, круто, безопасно –
за ними пусто, как в Ютландской
степи болотистой – ей-ей:
вот география страстей.

142.
Поросшая шерстью,
вся в крошечных порах,
вся – шелковый шелест,
батистовый шорох –

каприз безобидный,
безмраморный идол –
как я не любил ее!
как ненавидел.

143.
Вы выше раскаянья,
милостивый государь:
свободу искали –
нашли несусветную гордость.
Лишь ревность и зависть
запомнили – нет – не печаль –
а стан и глаза ее,
волосы, плечи и голос.

144.
Я – Гамлет прибрежный,
я – призрак решений
безбрежной надежды
кораблекрушений –
всегда предо мною,
Регина, Регина, –
развалины моря,
волнений руины.

145.
Берег побелел, иссох.
Высохли крушений доски.
Глыбы волн, упав в песок,
стали – вот: водою плоской.
По-змеиному шипя,
отползает вал, и что же? –
остается чешуя –
бури сброшенная кожа.

146.
Твой дом из желтой охры,
вечерней черепицы –
всю жизнь вокруг да около
печально я бродил:
зари коптился окорок,
и туч слетались птицы,
и зажигались окна
среди ночных светил.

147.
Суждение – обуза.
И смысл хитер, как зло.
Завидовал я музыке –
до ненависти вплоть –
за обладанье полное
без будущих утрат –
как ты играла, помнишь? –
украдкой, наугад.

148.
Страсти разруха – грех.
Страсти разруха – прах.
(Был некий древний грек:
он изваял твой пах.)
В прах обратится страсть.
Похоть в застой стыда.
Это случится раз.
Раз или навсегда.

149.
Ты можешь мне
присниться вновь –
давно извне
мы стали снами –
я обниму
тебя, родной,
и не пойму,
и не узнаю.

150.
Затмения темней,
темна, как шепот брачный –
лишь лепестки ногтей
твоих еще прозрачны –
исчадье пустоты,
мой вымысел опальный,
о, нет, совсем не ты –
мне изменяет память.

151.
Так опустели сны,
словно Ютландия:
снятся мне мысли и
воспоминания.

Облик твой отмелькал –
облак остался блик.
Памяти остров мал –
шторм забытья велик.

152.
Завидую разве
царю Соломону
за сказочный праздник
сравнений и стонов –
не крикнет Катулл,
не сокроет Овидий,
как я не любил ее,
как ненавидел.

153.
О, нет ни при чем тут
расчет, если был он –
но хоть по расчету,
а – глядь – полюбила,
вместив в это чувство
весь пыл безвозвратный...
Но знать не хочу я
житейскую правду.

154.
Покину в былом
тебя, как наважденье –
останься и в нем
одинокою тенью,
раз ты не из тех,
кому надобно всуе
знать жестокосердно,
как зло я тоскую.

155.
Прощанье длится столько лет
всё непростительней и жалче –
томления анахорет –
прошу, прошу тебя нижайше:
прости мне наших судеб мрак,
хоть ты еще живешь на свете
и вспоминаешься мне так
отчетливо, как дата смерти.

156.
Горбатой иве невдомек,
насколько всё непоправимо.
Паденье сладостно на миг,
стремительно летящий мимо.
И всё: реки нагая гладь –
на ней лишь отблески да судна.
Офелии не осознать,
как переходит боль в безумье.

157.
Забвенье активней,
чем память. Забвенье –
вот подлинно диво
и душеспасение.
Сон. Память коснеет.
И ныне, родная,
я даже во сне тебя
ЛИШЬ ВСПОМИНАЮ.

158.
Сон – он замкнут на засов:
как из греческого ада –
только теней смутный сонм
вылетает в явь. Не надо
снова сниться мне собой –
вся – укор, биенье крови
иль часов рассветный бой,
горечь утреннего кофе.

159.
И в церкви монотонной,
бывало, видел он –
заоблачней Мадонны
виска ее наклон
и где-то в складках платья,
под бледности золой –
последнее объятье,
последний поцелуй.

160.
Сёрен, я ведь знаю,
но знаю одна,
зачем тебе злая

чужая вина.
Ну, полно, ну, полно –
себя не порочь:
раскаянье – полночь,
спасение – ночь.

161.
Ты плакала ночью.
Я видел во сне.
Ты плакала точно.
Отчетливо. Ясно.
Но не отвечал я.
Молчанью вослед
твой образ отчаявшийся
изменялся.

162.
Легка, как кровь,
как сожаленье –
едва ли кто
и след найдет:
как поводырь
у ослепленья –
как по воде
его ведет.

163.
...как слепки сна,
как глубь без брода,
как след, оставленный
на водах,
иль как последних
содроганий
поросший хмелем
дикий камень...

164.
Тяжел июльский пух
и прах метельный тяжек –
сердцебиений двух
не связан унисон.
Но тяжесть хороша,
невыносима даже –
свинец карандаша,
как осень невесом.

165.
Фридрих, опасайся
жениных волос –
сила и краса ее –
в темной массе кос:
знай, когда привычно ты
к милой поспешишь,
из лобзаний выскочит
розовая мышь.

166.
Печалиться? Уволь –
оставил нам отлив
свою седую соль,
податливую даль.
Не сажа ли бела? –
нет, берег сиротлив,
где юности смола,
застывшая в янтарь.

167.
Как злые люди
тешатся добром,
наполнить любят
душ своих пустоты,
вот так и я бестрепетным пером
пишу, таясь,
прикидываясь...
– Что ты!

168.
Но может быть – не блажь, не ложь
(интриги прыть) –
так в страшном сне перестаешь
собою быть
и лишь глядишь со стороны,
как псевдоним
бежит, а слуги сатаны
бегут за ним.

169.
Устал паяц паясничать.
Но вот последний трюк –
и, если силы есть еще,
попробуйте, мой друг,

из детских слез и ужаса
перед пороком – вдруг
свалиться в бездну мужества,
как в театральный люк.

170.
И имя мое примут
двенадцать псевдонимов –
сии псевдоапостолы –
с учением моим
они пойдут по свету
толпой за мною следом,
но я приду последним
в готовый рухнуть Рим.

171.
Грядущих гроз раскат –
ты создал псевдонимы,
чтобы души распад
шел созиданью впрок –
твой метод столь грядущ,
и днесь необратимы
распад ядра и душ,
гармоний, подоплек.

172.
Оборотень трудный,
цельный лицедей,
отказавшись купно
от любви своей
в каждой громкой роли
прятал в свой отказ
удальство неволи,
боли напоказ.

173.
Мой дар неизлечим,
хоть голос невесом,
но сколько бы личин
ни примерял я всуе –
пощечиною грим
искусно нанесен...
Мой дар неумолим
к бессилью наших судеб.

174.
Как пчелы на лету,
я двигался в исканьях
рывком – а то –
на месте провисал:
биенье крыл
меня не отпускало:
то воздух был,
то я не рвался сам.

175.
Но страх смешон и жалок.
Он знал об этом сам,
хоть в ужасе дрожал он
и верил чудесам –
не устрашась подлога,
боялся он смешков:
КТО НЕ БОИТСЯ БОГА,
БОИТСЯ ПАУКОВ.

176.
Давид об этом пел,
играя на псалтири,
об этом Иов выл...
и вот он у Шекспира
находит сей рефрен
родной и древний:
It is a part of men
to fear and tremble.

177.
Мой брат завидует себе,
поскольку брат мой невозможен:
он только «НЕЧТО» – служка Божий,
прилежный пастор, но с небес
к нему ни звука не доходит.
Он тоже – черный меланхолик,
но меланхолия моя
куда черней, куда отчайней –
я – НЕКТО: вечность за плечами
и впереди – простор ея.

178.
Петер, мой праведный брат,
ни в чем ты не виноват,

все блага тебе даны
от должности до жены –
сутана, приход, налог,
полоумный сынок,
завистливой славы мираж,
меланхолия-блажь,
навязчивая родня...
и право судить меня.

179.
Стыд отвлекает... от стыда,
как страх – от Страшного Суда,
как от беспутства – суета
сует и буден –
труд отвлекает... от труда,
от бедствий – новая беда...
И потому мы никогда
вдвоем не будем.

180.
Зима не имеет названья.
И смерть не имеет названья.
Любовь не имеет названья.
Далеко ушел я из слов –
они лишь предзнаменованья
иль отблески зыбкого знанья –
добро не имеет названья,
неназванным царствует зло.

181.
Итак, я выбираю выбор.
Хоть, может быть, он сам мне выпал
на долю волею богов:
нет ни ответа, ни вопроса,
и выбор это только пропасть
меж двух неверных берегов.

182.
Вот на судьбу-соперницу
заносит он перо –
сейчас она изменится:
из contra станет pro –
и, выглянув из ужаса,
терзаний и угроз,

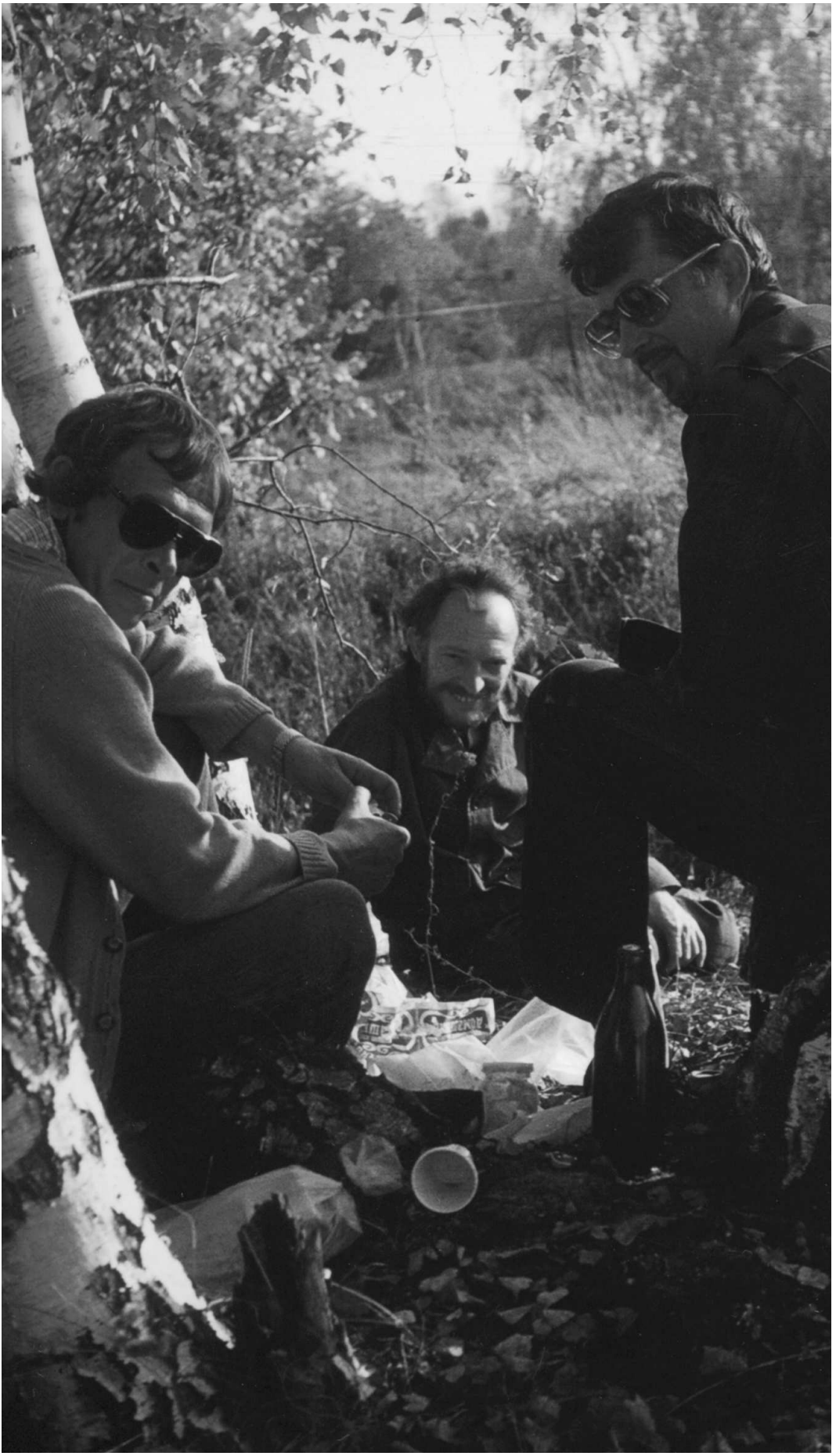
о недостатке мужества
он упомянет вскользь.

183.
Такой как есть: мальчишка старый,
мудрец во что бы то ни стало,
неряшлив, хмур и плохо выбрит,
сомненьями себя слепя,
твердя о выборе меж чудом
и злом слепым – слепым, как чувство –
ну, что ж он выбрал? что ж он выбрал? –
он выбрал самого себя.

184.
Черновики черней, чем уголь,
черней и горячее зла.
Но вот белее, чем зола,
готов исторгнутый упруго
отрывок. Что острей, Эрот, –
вот мы с тобою и сравнили –
твоя стрела слепая или
мое укромное перо.

185.
О, дум моих развалины,
а не единый храм –
туда-сюда, как маятник,
прикованный к часам.
Мне гирь привычно бремя:
пусть притяженья гнет
невидимое время
от вечности спасет.

186.
Едва лишь из пеленок –
невнятен, как напев –
всезнающий ребенок,
на корточки присев,
выслушивает ясно
мои сомненья он
и откровений язвами
нисколько не смущен.



187.
Гамлет, ты завидовал Лаэрту! –
за отца он вмиг примчался мстить –
оттого в виду любви и смерти,
над могилой, Господи прости,
ты орал, ты лгал самозабвенно,
дрался, зависть не осознавал,
неостывший гроб топтал примерно,
как Лаэрт – задира и бахвал.

188.
Ночи караульные
с каждым днем черней.
В черных переулках
и окоченев
где-то мое мужество
прячется, как тать...
И не страшно мучиться,
скучно горевать.

189.
С утра темнеет, друг-фонарщик,
от этого в печурке жарче
горят огромные деревья,
нещадной стужею треща.
И мрак такой в твоей каморке,
что не найти и хлебной корки,
махорки нет, и не согреться
в объятьях щуплого плаща.

190.
Без солнечного пота
темны мои труды.
Пустячная работа
фонарщика не стоит
гроша. И всё ж невесело
из хлеба и воды
возиться каждый вечер
с кромешной темнотою.

191.
Пусть жизнь безответна,
беспомощно чудо,
но тайным советником
быть не хочу я –

жесток и насмешлив,
но всё ж – богослов:
учу вас не смешивать
чудо и зло.

192.
Я ВЕСЬ – БЕССОННИЦА И СЛУХ.
ТАК ВРЕМЯ ЧУВСТВУЕТ ПЕТУХ
И О КОВАРСТВЕ ПЕРЕМЕН
КРИЧИТ ОТКРЫТО.
НО Я И БЕЗ ТОГО НЕ СПАЛ.
ЧАС ОТРЕЧЕНИЯ НАСТАЛ.
ЧАС ИЗМЕНЕНИЙ И ИЗМЕН,
ОТЧАЯНЬЯ И КРИКА.

193. (ПИГМАЛИОН)
Когда ты спал устало,
не обретя покой,
отчаивалась статуя
ночами в мастерской –
ну как сквозь этот холод
любимому сказать:
«Отчаянье нисходит,
как Божья благодать».

194.
Касаться устал я
небесных красот.
Приелся устам
сей лирический мед.
Иду я убого
в неведомый мир:
страданье – дорога,
а смерть – поводырь.

195.
Трусость страхом вечности
и обман – моленьем
в сочиненьях вещих
подменю келейно...
Вспомнил я за завтраком
ту, что дальше зова,
на кого позарилась
ты, боязнь позора.

196.
За свою отмеченность
от младых годов
целым человечеством
жертвовать готов:
помоги мне, Отче! –
ведь само собой,
никому не хочется
быть самим собой.

197.
Красноречивый Ричард,
блестящий лицедей,
урод – скорей отречься мог
от Англии своей,
от распростертой Анны
(а как была горда),
чем от убогоданного
проклятого горба.

198.
Как искры, чтоб стремиться вверх,
так и покорный человек
рожден на то, чтобы страдать
по слову Элифаза –
внимал семь дней и семь ночей
стенаньям Иова еврей
и наконец – о, благодать! –
придумал эту фразу.

199.
Иов от жены
слышал в час последний:
«Бога прокляни
и сподобься смерти».
В жены оттого
взять тебя не мог он:
кто же у него
будет кроме Бога.

200.
Иов снес покорно
смерть своих детей
(где мои погодки?),

но не снес ей-ей
собственных страданий.
Будь же добр ко мне –
я ли обладаю
силою камней?

201.
Найти успокоенье
в боренье, в покаянье,
найти успокоенье
в обмане окаянном,
найти успокоенье
в отчаянье чужом,
найти успокоенье,
которого, наверно,
ты всё же не нашел,
найти успокоенье,
найти успокоенье,
бросаясь на колени,
бросаясь на рожон.

202.
Бела ночная мгла,
как пепел, как бумага,
белей фаты бела
ночей июньских влага.
Весь заоконный вид
отчетлив, как решенье,
но зорь кровосмешенье
отшельнику претит.

203.
Ни зонта, ни Зунда –
всё – лишь зыбкий звук.
О своем рисунке
грезит ли паук?
Но узор воздушен,
линии легки...
Чуть вглядишься в души,
и кругом – ни зги.

204.
Что грезится слепцу
всем зрячим не постичь.

Слепых очей слезу
не путай с влагой зрячей –
из тьмы она течет...
Хотя и ты почти
не ведаешь, о чем
столь непроглядно плачешь.

205.
Взор мой, как ясность, пуст.
В горле моем темно.
Тщетно стучится пульс
в окольное окно.
Взор, как окрестность, пуст.
В горле – глубокий мрак.
Мой обозначен путь
лаем ночным собак.

206.
Непроницаемый, как царь,
извечный внешний мир:
непроницаема краса,
непроницаем миг,
непроницаема душа –
ни отсвета, ни зги...
Во всем отчаянья ища,
ПРОНИКНОВЕННЕЙ лги.

207.
Да здравствует кровь чернил!
перо под суставами пальцев
костлявых... Да здравствует мир
поверхностный, небезопасный!
И сколь над собой ни глумись –
известен себе, ненавистен –
хватает, хватает на жизнь
высоких, неистовых истин.

208.
Безбрежна надежда
кораблекрушенья –
она безутешна,
ослеп ее взор:
и хоть до причала
так близко, но жертве –

но жертве отчаянья
нужен простор.

209.
Снег обесславлен.
Но весна
не принесла мне
облегченья:
ведь повторений
кривизна
граничит с бренностью
ничейной.

210.
У ночей стучит в висках.
Сон настолько тонок –
не сокрыться, не сыскать
для него потемок:
как сквозь стекол смертный пот,
явь сквозь сон чернеет –
проведи рукой – и вот –
вновь ты вместе с нею.

211.
Не стоны агоний,
не слезная ртуть –
раскаянье – гонор,
раскаянье – труд.
Надежней лекарство
найдешь ты навряд...
Но сколько ни кайся,
ты не виноват.

212.
Рыцарь отреченья,
вычурных словес
слышишь ли вечерний
чистый благовест? –
я не сделал зла им,
но приемлю месть:
покаянье сладостно,
излечима честь.

213. (ПИГМАЛИОН)
В том боль твоя, ваятель,
любитель белизны,
что жертва твоя явно
паршивее овцы.
Сам замурован в мрамор –
в незыблемый удел –
ты Галатею, право,
не видел... Проглядел.

214.

«Perissem, nisi perissem»

Ты должен погибнуть,
иначе погибнешь,
ты должен погибнуть,
иначе твоя
погибель не будет
сомнительным гимном
всем ужасам буден
иль небытия.

215.
Музыка, больше знай –
всем мудрецам назло:
ты первозданный рай,
где нам не повезло –
каждый тогдашний зверь
набожен был и тих –
ты говоришь теперь
чистой гортанью их.

216.
Гудят в клавесине
древесные соки
деревьев красивых,
деревьев высоких,
дерев поднебесных,
деревьев подземных –
о, плавные песни
их листьев последних.

217.
Мир – это лишь игра на
Архангельской трубе.

Купы деревьев и храмов
посвящены Тебе.
Твой запевает кочет,
скачут к Тебе скорей
Черные Кони ночи,
Бледные Кони дней.

218.
Опять не угадали.
Всему виной года.
В отчаянье с годами
играть трудней куда.
Всё явственней, темнее
его укромный труд:
отчайнье каменеет,
и камни вопиют.

219.
Ах, Гамлет, с совестью бесстрашной
на побережье бытия,
суди утопленников-граждан,
на всю пустыню вопия.
Ты прав: как измельчали судьбы,
страстей подводных закрома:
жених прикинулся... разумным,
невеста не сошла с ума.

220.
Аптекарь, сосед мой –
превыше идей.
Добрейшее сердце
и много детей,
пробирок и колбочек,
пестиков, ступ...
В груди его прочен
отчаянья стук.

221.
Средь бревен медовых
и лавок литых,
застолий дубовых,
радений простых –
добротен, как кринка
с тугим молоком –

я жил бы открыто
и умер тайком.

222.
Безответными ночами
этот книгочей,
соотечественник чаек,
не смыкал очей...
Отвернитесь же, датчане,
от него: ей-ей,
в бессознательном отчайнье
жить куда честней.

223.
Бьются о фиорды
твердые суда.
Волн кочуют орды.
Дикая орда
туч чужих и страшных
движется на град...
но никто не страждет
и не виноват.

224.
Война. Забрит
лакей примерный.
Не сибарит я,
только ах –
несносны эти
перемены
в быту, в обетах,
на фронтах.

225.
Всё революций страсти.
Наемных комнат хлад.
Но скоро стану пастором,
и всё пойдет на лад.
Мне нынче безопасней:
исчерпан отчий клад.
Но скоро стану пастором,
и всё пойдет на лад.
Вино. Сигара. Сласти –
всё тот же шоколад...

Но скоро стану пастором,
и всё пойдет на лад.
А то и сам опасно
ударю я в набат...
коли не стану пастором,
как мой бездарный брат.

226.
В благополучье скандинавском,
коммерческих наследник благ,
он говорил: небезопасна
толпа бесхитростных зевак,
пока парижские предместья,
всю серость в порох обратив,
разучивали новой песни
испепеляющий мотив.

227.
Довольно серости и черни
и в лучезарный час вечерний,
в час искренний и золотой,
где мост над затхлою водой
изогнут, словно лира – чем-то
напоминая... что? – постой,
твою мечту, твое ученье!

228.
Храм Богоматери
купол – он вдали
очень занимателен.
Не зайдете ли?
Боже, что за давка –
пав к Его ногам,
там христопродавцы
слушают орган.

229.
Над кружками высокими
дымятся рыбаки –
не сравнивать их с солью
и думать не моги –
в дыму пенковых трубок ,
безоблачно осев, –
недвижны, точно трупы,
безгрешны, словно сельдь.

230.
– Ах, Ваше Величество,
слишком бессмысленны люди.
Они – лишь количество.
Лишь одиночеству, знать,
присущи какие-то качества.
И чем оно абсолютней
(я – об одиночестве),
тем их трудней распознать.

231.
Простите мне, мыслитель частный –
в чужую вторгся я беду.
Но не причастны вы к несчастьям,
имеющимся здесь в виду.
Простите мне мою небрежность:
у бури волны крепче скал –
я ж камушки на побережье
волнений ваших собирал.

232.
...И пусть здесь нет огня,
пусть пусто или тесно,
я – слово, и меня
не выкинуть из песни
в безродный ночи бред,
в бесспорный бред дороги,
ведущей на тот свет
копыта, когти, ноги.

233.
Простите, магистр,
мои упрощенья –
из множества истин
я выбрал прощенье.
И пусть всё неведомо,
всё – или-или –
вы просто не верили
и не любили.

234.
Первый осенний снег.
Оседают дома.
И что ни шаг – то след.
И что ни свет – то тьма.

И что ни жизнь – то смерть.
Он еще сам не свой –
первый осенний снег
смешан с живой листвой.

235.
Не может ливень,
что развез
всю грязь тоскливую
колес,
всех грез ненастных
небыль,
опять подняться
в небо.

236.
Чуть-чуть докрасоваться
осталось деревам –
дорозоветь и – баста –
а вам... а вам
носить сухое платьице,
коричневый чепец
да раздарить племянницам
полдюжины колец.

237. (ПИГМАЛИОН)
Как ни умоляй Киприд,
но мертва награда –
вот она пред ним стоит
голая, как правда.
Как просил я, Боже мой,
прямо у преданья,
чтоб она была живой,
словно ОПРАВДАНЬЕ.

238.
Мороз. Зари багровый свет.
Фонарщик – черный силуэт –
он в перспективе улиц
является, сутулясь
под черной лестницей своей,
и вереница фонарей,
всегда глядящих в оба,
идет за ним до гроба.

239.
В наследственном доме
у Нового рынка,
потом в неудобных
наемных соседствах –
бездомен я столь
отродясь, что привык я
бродить обездоленно
в каждом застенке.

240.
В покинутом доме
живут чужаки,
усевшись удобно
и сняв сюртуки...
Чужие служители
гонят с крыльца
уже нерешительный
призрак отца.

241.
Стакан вина, и Библия
раскрыта. Качка свеч.
Халат тяжелый. Било
двенадцать. Надо лечь.
Ночь входит поздно вечером
в табачный дым. Отпей.
И в Библии отмечено:
«...страшусь своих скорбей...»

242. САРРА
Он с Богом слишком одинок,
затем и страшен так.
Он жертвовать привык, сынок,
ты испытал лишь страх.
Давно, когда великий мор
владел родной страной,
в Египте – помню до сих пор –
пожертвовал он мной.

243.
Так идут они к горам,
не снимая масок –

густовласый Авраам,
Исаак-подпасок:
Авраам, как Бог, свиреп,
и, как агнец, кроток
Исаак – послушен, слеп
до скончанья рока.

244.
Чем ближе страна, что Господь указал им,
тем более старец становится вялым.
Колышутся скалы, подпаски, ослы.
И ты, Исаак, позабудься и спи.
Глядит Авраам на вязанки бечевку:
не сжечь бы дрова на последней ночевке.

245.
Родства боюсь
я, как сиротства:
Иаков – уз
людских развал.
Всяк – тень отца...
а первородство
есть отрицание
родства.

246.
Я призрачен. Случаен.
Я – только сердца стук.
Пустоты облачает
мой холостой сюртук.
Душа без оболочки:
бесплотен плоти гнет...
Туман – мой брат молочный –
весь город обоймет.

247.
Умирает лист опальный.
Голос мой по горло сыт.
Осени исповедальня
чутко слушает мой стыд.
Осени исповедальня –
черные сутаны туч,
облетевший лес, как тайна –
явственно дремуч.

248.
Сей лик потрескан, строг,
как на картинах
старинных мастеров,
но старчески стройна –
в сединах, в кружеве –
избранница Регина
еще до ужаса
его земной кончины
навеки суженому
мертвому верна.

249.

Регине Ольсен

Долгожданная навек!
Изваяние, звук!
вожделение нег,
вожделение мук –
ты – не долг, не заем,
не чертог, не тюрьма,
ты – не память о нем –
ты сама! ты сама!

250.
Качается торс
на лозе усыхающих ног.
Не виден. И что-с? –
глуховат. В сюртуке до затылка.
Сей Саванаролла –
его направляет сам Бог –
и губ ненароком
касается злая ухмылка.

251.
Один, как перст,
на склоне дней,
один, как песнь,
что лишь о ней,
один, как день –
ВСЯК ДЕНЬ ОДИН
незнамо где
среди годин.

252.
За ним и в полной тьме
тянулись тени –
и не одна, не две –
а множество теней.
Поля, где он гулял –
его застенок...
Хотя самим полям
нисколько не тесней.

253.
Бестрепетной весною,
весною без затей –
покорная за мною
моя тянулась тень.
Теперь почти отдельно
(куда она идет?)
плетусь за своей тенью,
отброшенный вперед.

254.
Опочивши, наш Епископ
чуть к святым не сопричастен.
Он святой? Да этот Минстер
мне прихода нипочем
не давал. Хоть нету больше
средств. Но, впрочем, что приход? –
каждый пастор – вор, безбожник,
спит с женою, как сапожник...
Христианство невозможно,
говорю тебе, народ.

255.
Обнаженные зубы.
Ходит острый кадык.
И слюною безумной
истекает дневник:
«Все развратники! ведьмы!
Ад им необходим!
Я один не уверовал,
я один, я один...»

256.
Апостол? Католик?.. Лик
от старческой страсти гас.
Осмеян людьми, велик –
он выше властей и каст.
Устал он, устал он, как
восстанье. И стал он зол.
А злость это сильный злак,
хоть пуст его колос, квёл.

257.
Волынки рев. Кривая брага.
И тракт кремнист.
Оборван, как рассказ, бродяга –
как камня свист.
Вослед детей бежит ватага –
хорош бросок! –
но, нет, не падает бродяга
в пустой песок.

258.
Опять октябрь воет
и крутит флюгера.
Вот дерево нагое,
как дева... Но пора:
не долго будет зонтик мой
стучать в твои торцы,
мой город иллюзорный,
как девичьи красы.

259.
Так вдохни, вдохни покрепче
снега, воздуху и дня,
незнакомый ветер встречный
за неловкость извиня –
пусть уже не видно яви,
неодушевленных тел,
пусть за городом гуляет
полногрудая метель.

260.
Бутылок тридцать черного
вина осталось. Смех.
И завтра в банке счет мой

закроется навек.
Я твой прямой наследник,
кривая благодать:
рубахи нет последней
и некому отдать.

261.
Рыхлый ветер с моря подул.
Подобрал девице подол.
Раззадорил франта наряд.
Дернул в лужах – города рябь.
Наступил октябрь. Рыбаки
утонули. Волны реки,
как герой мой, двинулись вспять:
он упал – его не поднять.

262.
Он упал, но псевдонимы
мимо пасмурных зевак
дальше двинулись незримо –
в свой проулок всяк –
городских насмешек мимо
в одиночку и вразброд
разошлись, и воедино
разве слава их сведет.

263.
Я прибыл умирать,
а не лечиться, доктор.
(Епископ, верно, рад.)
Лекарств не надо вздорных,
никчемных, как врачи –
всё это – только нервы:
(ничем не излечить
конвульсий самомненья).

264.
Два госпитальных месяца.
Палаты белый мел.
И не пришла невеста.
И ангел не слетел.
Лишь сквозь сознанья марлю
он зрит издалека

монахинь накрахмаленных
огромные рога.

265.
Гляди в воспоминанья, не мигая,
хотя и в них она совсем другая –
чужая, позабытая... Ну, что ж:
настал тот миг, когда, изнемогая,
воспоминаний даже не вернешь.

266.
В ноябрьский день
печально умирать.
Стена дождей
за стенами палаты.
Постой, постой –
ведь был же у меня,
ведь был простор
ни в чем не виноватый.

267.
И всё ж он будет с нею вместе,
не въявь – так веру обретя:
окаменеют занавески
и, как могильная плита,
диван застынет. Всюду – стены,
предметов сгинула толпа...
И лишь они вдвоем в гостиной,
склонив друг к другу черепа.

268.
Прибрежные сосны
малы, узловаты –
к ним море несется,
как призрак возврата,
к ним ветер примчался,
к ним дюны сползлись,
их видит печально
небесная высь.

269.
Соотечественник чаек,
соприродный твердым рифам

и забывчивым песчаным
дюнам – волн беспечным рифмам,
будешь слышать всё нервозней,
незапамятней и чаще
дактилические возгласы
чаек в воздухе палящем.

270.
От прилива
берег тает –
дюны, ивы
и сосняк –
все водой
соленой станет –
влагой той,
что плачет всяк.

271.
Горбатый паук
с крестом на спине –
биением мух
насладился вполне,
познал он их страх
и засох сам собой
в своих же сетях
в пыли угловой.

272.
«НЕ БУДЬ СЁРЕНОМ» –
эта фраза
звучит рефреном
и досель
в наречье датском
не к проказам
твоим – к бесстрастью
в жизни сей.

273.
Кровь встала. Затвердели веки.
Но даже труп затравлен, стар –
не ухмыльнется, не ответит
чуть выступающий оскал.
«Не будь Сёреном!» – все смеются –
вот ты уже и не Сёрен:

бескровней датской революции,
белее монастырских стен.

274.
Умер мой милый
в убогой больнице.
Дай же мне пылу
хоть помолиться.
Но беспощадно –
светел и страшен –
ангел, прощаясь,
крыльями машет.

275.
Сизифов труд окончен. В храме –
толпа хулителей. И дождь
проводит всех к могильной яме.
Зонты. Сутаны. Молодежь:
хранят студенты плод исканья.
Брат служит – тот, что, отслужив,
здесь не оставит даже камня:
никто не знает, где Сизиф.

276.
Один. (Но одиночеству
учить ли чудака?)
Кругом – чужие почести,
и лишь издалека
невидимо и робко
ко гробу разве мать
холодное надбровье
придет поцеловать.

277.
Когда он умрет последним,
кто же землей бесследной,
слитком бесследной глины
кинет ему вослед? –
сгинули безвозвратно
епископ, советник, брат и
даже тебя, Регина,
поверх его смерти нет.

278.
Достопочтенный тлен и прах,
себе в утеху ли, во страх
ты Имя Божье произнес
(так пыль летит из-под колес),
но не сказал, что будет дальше...
О, лжец без фальши,
лжец без фальши!

279.
Под бронзовой карикатурой
(потрескан лик его понурый,
потерт металл коротких брючек,
известных по «Корсару» всем –
до сладострастия измучен,
на стульчик чуть присел),
под сим кумиром Пигмальону
зри надпись: «СТАРЕЦ В СОРОК ЛЕТ»...
Не забывают миллионы
своих пророков и калек.

280.
Чтоб славою меня манил
миг ваших памятников дряблых? –
ведь самый бронзовый кумир
не бронзовее канделябра,
ведь самый мраморный болван –
свидетель иль творец историй –
не мраморней, клянусь, мадам,
чем самый туалетный столик.

281.
Чуть умер я с молвой о ней,
Регина преданней, верней
и откровенней стала:
ни сожаленья, ни хулы –
лишь похоть женской похвалы
речет ее устами,
мою оберегая честь:
де, Бога он хотел обресть
во всем сиянье истин...
Не стоит смерти этот мир –
мир проповедников-проныр
и желтых журналистов.

282.
СНЕГ БЕЛЫЙ, КАК ГОРЯЧКА,
СНЕГ ЧИСТЫЙ, СЛОВНО ПРАЧКА,
СНЕГ ВЕСКИЙ, БЕЗУСЛОВНЫЙ,
БЕССПОРНЫЙ, СЛОВНО СНЕГ,
ИЛЬ НЕБЫВАЛО АЛЫЙ, –
КАК ВСЁ, ЧТО НЕ БЫВАЛО,
ХОЛОДНЫЙ, СЛОВНО ЗЛОБА –
ГЛЯДИ: ИСЧЕЗ НАВЕК.

283.
«Обнищавшее сердце мое призри».
Обнищавшую песню мою отпой.
Люди призрачны, вечны, добры и злы,
так позволь моей боли пребыть с Тобой.
«Обнищавшее сердце мое призри».
Не врачуй моих ран – лишь очисти боль!
Я хотел быть «единственнейшим» из них –
дай желаниям лживым моим покой.

284. «НЕСЧАСТНЕЙШИЙ»
О, Боже, я несчастней всех!
сойди в мой мрак больничный,
Бог эпилептиков, калек,
юродивых и нищих,
Бог почерневших в небе птиц,
Бог совести нечистой,
Бог пауков и кровопийц,
лжецов и атеистов.

РОССТАНЬ

(антистилизации)

1979–1980

«Хороша наша неволя
Да кто знает про нее?»

Соболевский. «Великорусские народные песни». Т. 6. № 530.

1.

***

У того ли у белого камушка
уж как нет ни корня, ни горюшка.
А где горя нет – нет и участи,
а где корня нет – нет и отчества.
Провещал ли ворон черный камню белому,
камню белому, перекатному:
«Кабы было в тебе горе горькое,
уж пустил бы ты злое кореньице!»

***

Отворись, водица ключевая!
Отворю тя ключиком студеным –
разлелейся, светлая водица,
ты теки, да в руки не давайся –
ты от грязей черных утаися,
от песков от смутных уютися,
ты теки, бела́, по белу свету
уж как добрым людям на испитье,
небесам земным на погляденье.

***

Прояснись, очнись, светла́ река,
ты – кому питьё, кому черпанье,
корабельщикам – широк-ровен путь,
девкам – зеркальце неразбивное.
Позади тебя – глубока земля,
впереди тебя – солоно́ море:
ты течешь, река, ко сине морю,
как душа, свековав, ко Господу.

***

Раздавалась ночка черная,
пропускала зорьку белую,
выводила зорька белая
наперед свои снега белы́.
Раздавался большой колокол,
выводил на площадь черный люд,
выводили перед черный люд
протопопа окаянного.
Он ругал народ ругательски,
он молился Богу истово,
уж горел он, Божий праведник,
уж горел, как свечка Божия –
та ли свечка воску ярого,
та ли свечка воску вещего.

***

Избывала матерь сына своего,
уж ссылала со двора его долой
сопознать чужу сторонушку.
Спустя брата на десятый год,
стали брата три сестры его искать –
во чащобе зверем – бо́льшая,
щукой в реченьке – середняя,
звездой на небе – мизинная.
Уж как бо́льшая нашла его сестра
во чащобушке убитого.
Как середняя нашла его сестра
во быстро́й реке потоплена.
А мизинная нашла его сестра
во раю ли в том у Господа –
во зеленом во садочке ли,
под кусточком под ракитовым.

***

Как у речки наливные берега.
У мило́ва – кудревата голова.
Льется речка – вспять не вывернет,
вьются кудри – поворачивают

со дорожки со проторенной
к моему ли крыльцу косящату.

***

Улетали гуси со святой со Ру́си.
Уходили усы со святой со Руси́.
Уходили усы-бороды
на все три-четыре стороны.
Уплывали кудри буйные
уж за те ль моря за бурные.
На кого без гусей охотиться?
На кого без усов надеяться?
Без кудрей – кому поклонитися?

***

Уж как станет весна становиться,
возвернутся отлетные птахи
изо раю, из Царствия Небесна –
во том рае, во Царствии Небесном
голода-бесхлебицы не вемо.
Занесут возвратные птахи
нам от той от сытости от райской
хоть какие остатные крохи –
всяка птица по зёрнышку ржаному –
то-то будет посвисту да крику,
то-то крыл веселого пурху.

***

Уж как младость-то речиста,
примени ручью весенню,
ручеёчку ль первопутку
во беспутице измертвой.
Ручью лопота довольно –
лету снега не достало.
Младой речи слов довольно –
слову молодости мало.

***

Пришла зима зимовати,
зимовати, залегати –
млады снеги просыпа́лись,
просы́пались, залежали,
залежали беспросы́пно,
беспросы́пно, безоглядно
как по века окаёму
до весны до окаянной.

***

Снега разливались
синею водою,
Разливались годы
по-край бела света.
Свял огонь румяный,
свился дым кудрявый –
на зорьке румяной
ноне сад кудрявый.
Как бывают вёсны,
так и мы бываем,
как проходят зимы,
так и мы проходим.

***

В Божий час, в Господне время
как нашлет Господь насланье –
что нам грядый гром ни грянет,
ворон что ни проязычит,
что орел нам ни проорлит –
глухо наше беспечалье,
как в глухом лесу колода:
несмышленые не смыслят,
а смышленые – не верят.

***

Бог судья тебе, сине море.
Бог судья тебе, черн корабль.

Бог судья тебе, поднят якорь.
Бог судья тебе, ставлен парус.
Бог судья тебе, даль морская.
Бог судья тебе, воль людская.
Бог судья тебе, корабельщик:
перед Богом, как перед бурей.

2.

***

Отчего без горя камень бел-горюч?
он без горя, без кручины, без коре́ния,
как в дико́й степи трава перекатная?
Не пустить ему корня горького,
сладких веточек не выпрастать –
бесталанно лежать ему камушку,
словно скласть ли на нем головушку.

***

Как у красна лета
просит синь-русалка,

просит синь-русалка
себе бел-рубахи.

Для чего русалке
надобна рубаха? –

надобна рубаха
от людского страха,

от людского страха,
от людского взора –

от людского взора
ей реки, озера,

велики озера
да речная тина,

да речная тина,
да в озерах тихо.

***

Дороженька торным-торна
от поездочек она.
А ноченька темным-темна
от того ли от поздна.
А звездочка синим-синя
от небесного огня.
А думушка горькым-горька
от синего уголька –
от того ли дыму-чаду
сокручинного.

***

Чем молодчик не утешен
посреди плечей могучих,
на ногах своих на резвых,
с силушкой во ручках белых,
со воочием во взоре,
на устах со словом внятным? –
не душа ли его душит?
не умок ли умыкает?

***

Не от ноченьки черныя,
не от де́нька Господнего,
не от месяца синего,
не от солнышка красного –
чернь чернеется черная,
бель белеется белая,
синь синеется синяя,
крась красеется красная.

Чернь чернеется черная:
уходил добрый молодец,
бель белеется белая:
уходил по белы́м снегам,

синь синеется синяя:
уходил за синё море́,
крась красеется красная –
споискать доли-участи.

***

– Отчего ты, река, водой водна?
– Что от тех ли холодных ключиков.

– Отчего ты, тюрьма, людьми людна?
– Что от тех ли немецких замочиков.

***

Травушка-отравушка –
злобный корешок.
Как травила девушка
друга в четверток.

А заутра в пятницу
помер мой дружок:
то-то бают – пятница –
не талань денёк.

***

Выйдет красно солнце –
ночку не вспомянет.
Уедет молодчик –
ночку не воротишь.

Едва росы пали –
стали росы сохнуть.
Не успела вспомнить,
стал мил забываться.

Уж долга́ ты, память –
забытьё подоле –
знать, ты, мил, уехал
подале любови.

***

Молоде́ц удал
с вина зелена,
с думой черной ли –
красну девку бил
по белу́ лицу
да по синь глазам –
серый селезень
серу утушку –
да и прервал на ней
платье цве́тное.

***

– Что же вы, пьяни,
кабацкие голи,
всё-то вы пьете,
в кабак несете –
свое обличье
с себя пропили –
одну лишь водку
никак не пропьете.

– Тако нам горе –
кабацким голям –
кабацким пьяням –
по смерть гуляем:
голи не умеют
горе горевати,
голи не умеют
тоску тосковати.

***

В Полувецкой земле
полу́-веки живут:
по полу́-веку живут,
с полу-века мрут –
отдают други пол-века –
своим комоням,
а и комони – пол-века –
дико́й степи:

уж и скор дико́й путь
под комонем,
уж и скор легкий комонь
под полевцем –
под тем легким, полувечным,
полувецкиим.

***

Из чего, кукушка,
ты кукуешь
весною сладкой
на осине горькой? –
всем ты накукуешь
многи лета,
себе накукуешь
одну зиму.

3.

***

Катится катучий камушек.
Падает падучий дождичек.
Всклянь течет текуча реченька
во свое ли во синё море:
а сине море на волнах стоит,
а добры люди на своем стоят.

***

Всяко тело – на костях стоит.
Всяка душенька – на воздухах.
Всяко дело – на грехе стоит.
Всяка дума – на песке стоит.
Всяка церковь – на крови стоит.
Всякий вор – на белом камушке.

***

Как сошлись похвала с ругательством –
о святой, о Руси заспорили.

Уж хула хулит, ровно лес вали́т,
а хвала хвали́т, ровно щепь летит.
Та ль хула-то хулит со укорою,
а хвала-то хвалит со угрозою.
Ан Руси их пря – что собачий брех,
ей самой отвек по́век ведомо:
похвалою Русь не поставится,
а с хулы ее пуще смех берет.

***

Как зимою Русь бела́,
а весною свята –
дай нам, Господи, дожить
до сытного лета,
уж до лета, до страды,
до осенняя воды,
до грязей, до слякотей –
в осень Русь превсякая.

***

Бог еси на небеси – всяк в заботе на Руси:
богомольцы Богу молятся,
горемыки горе мыкают,
тугодумы туго думают,
краснобаи красных девок ймут,
а чистоплюи-то поплевывают,
толстосумы в де́ньгах рядятся,
пустомели бел-камень едят,
кровопийцы руманею пьют,
казнокрады всё казну крадут,
а побратимы, знай, братаются.

***

Наша дума кре́пка –
как стыдлива девка:
глазки опускает –
подол подымает,
глазки подымает –

подол опускает.
Глазки загляделись –
подол не поднять.
Подол завернулся –
глазок не поднять.

***

Как на чуждой на сторонке
красно солнышко не всходит,
а и всходит, то не светит,
а и светит, то не греет,
а и греет, то не преет,
а и преет – не растет.

Как на ро́дной на сторонке
красно солнышко восходит,
а взошедши, ярко светит,
посветивши, жарко греет,
а погревши, горько преет,
а сопревши – не гниет!

***

Не взлюблю я друга первого,
не взлюблю я друга дру́гого,
не взлюблю я друга третьего –
возлюблю я тридевятого:
уж того ли тридевятого,
уж того ли любомилого,
уж того ли златасребряна,
уж того ли скатножемчужна –
за походочку за частую.

***

Из-за девок, из-за баб
распотапился Потап,
пригорюнился Григорий,
усемёнился Семен,
извасилился Василий,

напетрился на Петра,
с Николаем до утра
николается.

***

Парню – ночка,
утрь – девóчке,
девке – завтра,
парню – нонь,
парню – санки,
девке – жданки,
девке – парень,
парню – конь.

Парню – пава,
девке – слава,
девке – слезы,
парню – смех,
парню – чара,
девке – чадо,
девке – старость,
парню – смерть.

***

Алешенька-доброхот
любит время, любит год –
только кувырк-трáву мнет,
возвертается.
Алексею я ему
посулю острог-тюрьму,
острог-тюрьму-тéмницу –
надождет, натерпится.

***

Спородилась – не очнулася,
а и росла я – не перечила,
была людям я пословная,
Богу-Господу повинная,

находилась я узёхонько,
намолилась я низёхонько,
натерпелась я до обвыка,
натрудилась я до роздыха –
до того ли страха-роздыха –
до спорядныя смерётушки.

***

Не на месте береза вырастала –
во чисто́м поле на безлюдье –
уж никто к березе не сподойдет,
по белу́ те́лу никто не огладит,
льстивых слов никто не умолвит,
отчим деревцем никто не покличет,
никто корня ее белого не стопчет,
прутья-ветья никто не заломает.
Не ко времени детина зарождался –
средь людей он, детина, на безлюдье:
лихолетье их ему не по лиху,
уж и речь их людская не по слуху,
уж и страх их Господень не по страху –
ни к кому он, детина, не сподойдет,
никого по белу телу не огладит,
никому слова льстивого не молвит,
никого в мать-сыру землю не втопчет.

***

Уж ты, полна полнь,
не страшись пуста́,
а ты, Масляница,
не страшись Поста.
Уж мы братинку
допьем до дна,
уж мы Маслянку дотянем
до Велика дня –
до Велика дня Господнего,
до Велика дня последнего*.

* Великий день – Пасха.

***

Ты победушка моя –
серебряные края,
донце позлаченое,
как звезда скаченая.

Пей до дна
да увидь добра:
уж беда-то
ярче злата,
чище серебра.

***

Спасу нет от зелена́ вина́,
сладу нет со сладкой водочкой,
спросу нет с медов беспросы́пных,
пени нет на пиво пенное:
как веселье ту́лится за за́бытье,
а уж за́бытье таится за похмельице,
а заутра на похмельице и ли́ца нет –
нет лица у молодца́ ответ держать.

***

Ради красного денька
пропьет рыба рыбака,
попадья пропьет попа,
старуха – старика,
корова – телка,
а бык – рога,
избу – друга,
а уж реченька пропьет
оба берега.

***

Не гневитесь, гости званые,
гости званые, сыто-пьяные –
уж как был бы ро́дный батюшка

завсегда на свете в живности –
уж не те б столы наставлены
не тем было еством-пи́тьицем,
не за ту скатерть насажена
уж не та и голь застольная.

***

Удова моя, удова,
не сносить мне голова,
голова ль моя буйна́
на царева на война,
война-воеваньице –
жёнкам завдованьице,
деткам сиротеньице,
девкам – загляденьице.

***

Как стал мой страх
на семи верстах –
куда ни глядь –
всё стоит позадь:
без обличья-лица
ухмыляется.

Ты ль, страх, мой страх,
полезай в застрех,
за печьми мыши́ –
крышу-кровлю мши –
ни кой, ни чей –
подколодничай.

***

Ты забудься, белый день,
ты забудься делом ли,
делом ли, забавою
до забы́тья светлого.
Ты дознайся, ноченька,
ты дознайся темного,

а дознавшись темного,
дню пусту́ не сказывай.

***

Не гонися за два зайца –
оба зайца не споймаешь,
оба зайца не споймаешь –
только ноженьки истопчешь.
Уж как первый будет заяц –
это любушка твоя,
а и дру́гий будет заяц –
это матушка с отцом.

***

Лебеда-лебёдушка –
в огороде.
Кулик-куличек –
на болоте.
Камыш-камушек –
по-край речки.
Гуси-гусельки –
по-край неба.

***

Под волной – вода,
под водою – глыбь до дна.
А во той во глыби –
рыбки-голуби:
машут крылышками
свежи рыбоньки –
пишут перышками
мелко-глыбонько.

***

Кричит петел
выше ветел.

Молчит рыбка
глубже глыбка.
А под речью,
как под речкой –
кривые русалки –
кривотолки.

***

Уж как бóяра, бóяра, боя́ре
подъезжали ко городу, ко граду,
на камéнь ли, на кáмень становились –
любо-дорого градом любовались.

4.

***

Не пали ты камушка –
в камне óгня нет.
Не коли ты камушка –
в камне ядра нет.
Не горчи ты камушка –
в камне горя нет.
Не сади ты камушка –
в камне корня нет.
Ты не строй по камушку –
в нем зачину нет.
Ты не рушь по камушку –
в нем исходу нет.
Есть во белом камушке
одна люта твердь,
под горючим камушком –
да безлюдна смерть.

***

В земле греческой есть горы те толкучие:
знай толкутся – гора об гору толочатся –
сóтолкнýтся, растолкнутся, вновь
сотóлкнутся –

пыль столбом стоит без толку с этой сутолки.
Похотел ли кто промеж тех гор проехати
аль – того мудрей – пройти меж них пехотою,
а, схотевши, меж толкучих гор замешкался –
уж тому коня не нукать – по́ век спеху нет.

***

Глядит зима дальше глазу
скрозь дремучего морозу –
не видать ли в поле палом,
не видать ли в лесе стылом
души пешей, перехожей,
души прыткой, перелетной –
уж какой ни есть, а теплой –
было б где зиме согреться –
извести тепло до лиха –
уж до снегового праха.

***

Как во русском аде
нету о́гня-пекла –
знать, допе́клось пекло
уж до снегу-пепла,
огнь дополыхался
уж до той ли стужи
лютой, безответной
стужи забуду́щей.

***

Взяли голи
чужой доли,
доли-участи
таланной:
огнь палили,
крови лили,
Божьей веры
огнь топтали.
Дали голям

ровну меру
бездорожной
зе́мной пыли –
знать, кого
не обездолишь,
своей доли
не избудешь.

***

Нам глаза даны,
чтоб поту́питься.
Нам уста даны,
чтоб покри́виться.
Нам душа дана,
чтоб сгасить ее.
Голова дана,
чтоб сносить ее.
Носи голову,
да не складывай,
терпи – горе ли? –
да не сказывай.

***

То не белы руки притрудились,
то не стать-спина присогнулась,
не могучи плечи источились,
в зень не резвы ноги пристоялись –
увядает кровь руда с казенного труда,
с безоглядной казенной работушки.

***

Как у нас на Руси
смолкли щуки-караси,
смолкли окуни-язи,
призамолкнули лещи –
без сетей тащи –
бают речи в нашей речке
лишь подлещики.

***

Как во царствах – цари,
во Литвах – короли.
А и насели на Руси
два поганые врази –
один Калин-царь,
другой Малин-царь –
был бы – третьего царя
и как звать не знай.
Уж от Калина-царя –
огнь калиновый,
а от Малина-царя –
дым малиновый:
им едино-лебедино –
что калина, что малина:
гибнет правда-старина –
вся ка́лина-ма́лина!

***

Уж как очи обесслезили
суше ветра, суше вихоря,
суше той травы-отравушки,
что тобой под корень скошена,
что тобой под корень скошена –
во сголовье мне положена,
во белы ноженьки складена.

***

Самоцветный каме́нь разгорается –
уж печет ровно жар во очах твоих,
ровно месяц печет во безвечьи он,
во безвечьи ль пекут часты звездочки.
Жарко ль звездочкам печь во подне́бесье?
Жарко ль печь во подне́бесье месяцу?
Жарко ль камню гореть самоцветному? –
жар горит – самому камню холодно.

***

Ни отца с того света, ни матушки,
ни гонца с того света, ни выходца,
ни письма с того света, ни грамотки,
ни словесного нам челобитьеца.
А и было б письмо стогосветное –
мы читать-то не знаем грамоте,
писарям снести – у нас веры нет:
писаря – богохульцы, пьяницы.

***

Дождали́сь мы дива,
дива-дивованья:
вспять поте́кли реки,
всплыли синь-каменья,
по́лымя-то мокро,
половодье сухо,
ночью пе́чет солнце,
де́ньком – тьма темнична,
вода вверх поте́кла,
дитё вниз заро́сло,
петухами куры
на заре запели,
жена свою ладу
витой плетью била,
невестка свекрову
со двора сгоняла,
Рождества сначала
Масляница стала,
Масляница баска –
след за нею Пасха.
А и всей-то страсти
на Великий Пост:
поросенок к Пасхе
яичко снес.

***

Как злодеи
злы на деле,

на том деле
на злодейском.
Доброхоты
токмо хо́тят
одного свово
хотенья.

***

Во всех землях все по зе́мну –
всё в Русее – по небесну:
в небе – солнце, в Руси – солнце,
в небе – месяц, в Руси – месяц,
в небе – звезды, в Руси – избы,
в небе – тучи, в Руси – вечер:
то-то диво русским людям,
то-то диво русским птицам,
то-то диво русским зве́рям,
то-то диво русским гадам!

***

Как у солнца бела́ –
зорька алая,
как у неба синя́ –
ночка черная,
как у синей воды –
пена белая,
так у добрых людей –
зло раскаянье.

***

Как восплакал сатана-диавол:
«То-то слушаю я ангельского пенья,
ан во том во поднебесном пенье,
голоса бывалого не слышу.
То-то гляну по-на свод небесный –
на летящи херувимы, серафимы,
ан промеж архангелов и ангел
крылышков своих не насчитаю.

То-то гляну на престол Господень,
что на все предстатели святые,
ан промеж предстательства святого
сатаны-диавола не узрю».

***

Божья милость – как волна морска:
она топит, она вынесет,
всё бежит волной ко берегу,
а откатит – не воро́тится.
Не пытай ты волну сере́дь моря,
а пытай свою волю дольную.

***

Волна во́лне ото́льется,
ветер ветру отвеется,
камень камню откатится,
мера мере отмерится,
воля воле отволится –
суд-судьба установится.

***

Из праха нас сотворяя,
двоил нас Господь отвека:
придал Адамию Еву –
единую плоть удвоил.
По образу и подобью
Господним рабам Он при́дал
по две ли по но́ги резвых,
по две ли по ру́ки белых,
дал виденье нам двуоко,
дал слышанье нам двуушно,
речь-говорь придал сугубу,
дыханьице дал двуноздро.
Ко этому ли двоенью
придал Он живот единый,
единую душу при́дал,
заве́щал едину веру.

Который в душе единой
единую веру о́брел,
Господь тому даст спасенье
единое на потребу.
Кто – раб – не обрящет веры,
аль, обретя, потеряет,
тому от едина Бога
даются навек две воли:
одна из тех волей до́бра,
а дру́гая – своевольна.
Нет страсти на свете ве́лей
того ль двоеволья люта.
Допрежь как смола геенна
в единую боль их слипнет,
еще на веку на жи́вом
разымут раба две воли,
как Игоря-князя ране
разо́рвали две березки,
как жен заблудящих рвали
двумя конями резвы́ми.

5.

***

Чем же бел белый камушек? –
той горючестью белой.
Чем же чи́сто чисто́ поле? –
тою удалью смелой.
Чем же сыр сыр-матерый дуб? –
мать-сырою землею.
Чем сыра мать-сыра земля? –
гибелью удалою.

***

Матушка пресветла стужа,
отпусти меня досужа –
нет тепла во теле столько,
тьмы да мякоти – стерпети
белоты твоей да тверди,
той ли тверди безврем я́нной.

***

Как из лесу – тропиночка,
а из полюшка – ископыть,
из синя́ моря – реченька,
из подне́бесья – звездочка –
так пути нет из времени,
нет возврата из синего.

***

В том ли во чистом поле,
во той ли во частой чаще,
во погребе ли глубоком,
во саде ли, в огороде,
у речки ли в желт песочке,
на росстани ль край дороги –
зарыт на Руси на свя́той,
богат велик клад глубокий.
А кто зарыл клад незнамо,
а где зарыл – сам не помнит,
лишь ведомо всем, что злато
не тратится в нем, не гинет.
Снесем тебе, брат назва́ный,
снесем тебе, брат крестовый,
в горсти той земли родимой,
где клад этот где-то складен.

***

От реки ли от той от Калки
до Кулико́ва ли поля
не идут, не переходят
те ли калики лихие –
они лика не ликуют
с ангелами, со архангел,
суд свой каличий не судят
над виною человечьей,
не поют стихов еле́нских,
не поют ни псальм, ни кантов
на латынском, на поганом
на безбожныим наречьи.

***

Отольется лето
в речке синь водой.
Принальется осень
дождичком частым.
Об то время листья
облетают в зень.
Об то время птицы
отлетают в рай.
Раю! раю! птицы,
полетайте в рай –
к Небесной Царице,
к Господу Христу:
уж добра землица
летнею порой –
Небесная Царица
и того добрей.

***

Как во день поминовения
посреди весны окрестныя,
посойдемся да помянем мы
твою душу отдаленную
бел-горючей сладкой водочкой,
бел-рассыпчатым калачиком.
А поверх могилы отческой
мы рассыплем зерно-крошево
как для тех для птиц для праведниц
в небе Бога долетающих –
знамо, наша память зе́мная
во сыру землю́ хоронится,
а уж птицы до небес снесут
о тебе поминовение.

***

Ты не сей моих глаз –
они не выглянут.
Ты не сей моих уст –
они не вымолвят.

Ты не сей мой след –
след не воротится.
А наместо глаз
слепота взойдет,
а наместо уст
немота взойдет,
а наместо следа –
даль бесследная.

***

Прежде век породнилися
белый свет с ночкой черною,
прежде век обернулося
время сроком и мерою:
в день – по красному солнышку,
в ночь – по ясному месяцу,
в век – по буйной головушке,
а в извечность – по душеньке.

***

В войну ль, в напасть
бел-душе пропасть.
Зачернеет беда –
не проя́снит добела́ –
обернется ли
ал-погибелью,
обернется ли
сер-спасением.

***

Кабы сбы́лись все проклятьица людские,
кабы все отмщеньица отмстились,
стал бы белый свет – едина пу́стынь –
чисто поле, частый лес пречи́стый –
ан в пустыне той бесчеловечной
не нашлось бы грешника спасаться.

***

Богородица-де́вица,
мать-сыра земля заступница,
попустила ты, мать-сыра земля,
в белый свет муку лютую:
уж не страхом она страшна,
уж не мукою мучительна –
с той ли муки Господь терял
образ свой человеческий.

***

Как травою обернется люто по́лымя,
жгучи искорки – цветками лазурьёвыми,
жарки уголья – все яхонтами-ка́мнями,
смолы огненны – медами настоялыми –
об то время обернется боль терпением,
об то время обернется мука святостью.

***

Сила – мера, сила – правда богатырска.
А и корень у той силы – кровь людская:
шибко кровушка в сырую землю льется,
в мать-сырой земле накре́пко коренится:
из земли той крови с корнем не повырвать,
как не вырвать с лютым корнем тяги зе́мной.

***

Как и всяка речка льется своим следом,
всякий зверь лесной он рыщет своей тропкой,
всяка птица держит путь свой перелетный,
так и всяка речь течет своею кровью.
Коль скудеет кровь – и речь в ней убывает.
Пролилася кровь – речь каплет пословечно:
истекает с ней говорюшка людская,
истекает с кровью той и Слово Божье.
Со той скудости, с того ли кроволитья,
коли кровь до немоты обезъязычит –

всякий лей ее без имени и меры:
вопиет людская кровь – да нет отзыва.

***

Знать, случится верное скончанье
вековечности и одночасью –
широте широкой обуженье,
долине далекой обрыванье –
сколько мне, веревочке, не виться,
сколько мне, веревке, не вертеться,
сколько мне, плачевной, не клубиться,
в петелки, во память-узелочки.

***

Как на росстани на Божьей
у Господнего предела
не хотела душа с телом –
птица с гнéздом – расставаться:
расставаньице не на год,
не на век – на всю извечность –
то-то жалко, то-то трудно,
то-то зябко, то-то стыдно.

ВДРУГ ДА НЕВНЯТНЫЕ СЛОВА

Баско – красиво, нарядно.
Братина – сосуд для пива.
Вемо – ведомо.
Еленский – эллинский.
Зень – земля.
Ископыть – земля, грязь, снег из-под копыт.
Комонь – конь.
Косящатый – с косяком.
Кувырк-трава – фонетические руины ковыль-травы.
Ладо – первоначально муж (супруг).
Мизинный – маленький, младший.
Нонь – нынче.
Печь – светить (-ся).

Победа – беда, горе.
Разлелеяться – разлиться.
Руда – кровь, в качестве краткой формы от «рудая» – ярко-красная.
Руманея – ром.
Талан (талань) – счастье, удача, судьба.
Черн (корабль) – от первоначального «червлен», т. е. крашен в красный цвет. Пример складывания новой этимологии на месте забытого значения см. в стихотворении «В Полувецкой земле...», где речь идет, разумеется, о позабытых половцах.
Ярый – чистый, прозрачный.

ОХОТА НА ЭХО

(эпиграммы)

1980–1981

А. Копировскому

Лорд Дерби, переложивший Илиаду английским «героическим» ямбом, относился к гекзаметру как к вполне колониальному товару – дикарски пряному, классически языческому (гекзаметр «противен гению нашего языка», попытки англизировать его ведут к нарушению всех законов просодии и проч.). У этой спеси, как и у всякой спеси, подоплека проста: священные напевы не по зубам английской моносиллабике. Великой англоязычной просодии, веками обходившей подводные камни спондеев, конечно же это обидно. К счастью, даже не преувеличивая значения греческих корней нашей языковой культуры, можно с уверенностью утверждать, что «Гнев богиня...» звучит на русском не менее естественно, чем «Мой дядя...». Так что задним числом в нижеследующей книге меня удивлял не метр, а собственно интерес к эпиграмме. И вот что я, конечно же постфактум, надумал: форма классической эпиграммы сама по себе – отчаяннейший парадокс: напевный метр, которому по природе потребно огромное эпическое пространство, загнан в тупик лапидарного предпочтительно двустишия; огромная волна эпического напева разбивается о скалу немой и краткой надписи и, разбрызгав одну стопу, откатывает обратно внутрь извечного звучания, оставив после себя немой и голословный камень. Возможно, этот парадокс и привлек автора этих строк, всю жизнь выбиравшего между полной бессмыслицей мелодической цезуры и поэзией смысла, где даже цезура семантически перенасыщена.

***

Музыка, ты родилась не подобно Киприде из
пены
постепенных морей – не из безмолвия волн –
нет, как Зевесова дочь, из его волосатого уха
грозно возникла в душе во всеоружии вдруг.

***

Пены мхом поросли смехотворно старинные
волны.
Мокрой Киприды из них идол выходит на брег:

властен классический стан, грудь горда,
в ренессансе осанки
рук барокко, ушных раковин, скорбных бровей...
Боги, ликуйте горе, родилась богиня порока!
Чаши нетленных колен всласть подносите
к устам.

***

Вой, мычанье ли – звук безглагольный, слепой
от рожденья –
удивительно: вдруг преображается в смысл.

***

Что же неслыханнее молчанья Господнего –
тише!
да замолчите же вы, граждане, ради Христа.

***

Косноязычен огонь. Утробно воды бормотанье.
Сколько бесхитростных тайн мы бы услышали,
коль
стало б словами тепло и смыслом исполнилась
влага,
но откровения их – лишь наводненье, пожар.

***

Если бы заговорить посмели деревья – корявой,
верно, была бы их речь, словно молчание их.

***

Мера ударная, как красавица или дурнушка:
дай ей звучанья шелков в пору ее долготе
или же краткости, но довольно ль фонетики
пряжи? –

дай ей и чувства подстать, дай ей и смысла
сродни.

***

На – с улыбкой прими это яблоко, хоть и нагое,
но непроглядное, как звучных речей наугад.

***

Маки-калмыки, орда панмонгольских алых
тюльпанов,
астры бесстрастные и хризантемы азийские, сам
сумрак среди бела дня – серый ирис (едва ли
лиловый) –
так сквозь молчания прах вдруг прорастают уста.

***

Спустится наземь с небес птиц-бездельниц
крикливая клика
в час, когда утра туман тихо восходит горé.

***

Голосом смуглым, как плоть, окликнула милого
дева –
сразу же всенощный гул ветра ревнивого смолк.

***

Пусть из дальней страны экзотическою
контрабандой
чрез океана хребты чудом сюда занесло
семечко черное, но в этой чуждой земле
прорастая,
ей лишь обязан собой – почвы исчадье – цветок.

***

Лай в сведенном лесу слышишь? Это – охота на
эхо:
ухарь охотник спустил свору своих крепостных.

***

Лирики ртуть – не река – лишь всплеск реки,
или даже –
только блики речных зорко сверкающих струй.

***

«Современность», ты миф эфемерный – тебе
фимиамы
зря кури́т рифмоплет или философ-профан –
нет на свете тебя: человек современен лишь Богу:
Богу предвечному в миг все современны века.

***

В чрезвычайной стране, в век сознаний и душ
геноцида,
целя не в бровь и не в глаз, нас породили отцы.

***

Яблоко так далеко от яблони милой упало,
словно свалилось с небес прямо в дорожную
пыль.

***

Ставили, о Израиль, не раз тебя на колени,
ты ж поднимался всегда с дюжины крепких
колен.

***

В жизни у каждого есть такое десятилетье –
то не начнется никак, то вдруг оно позади.

***

Жизни хватившись, на миг опомнились
влажные люди
и чуть живые цветы мертвому телу несут.

***

Комнаты, а не страны, житель – сверху я вижу
державу:
граждане, лужа, плакат, блоки домов, облака.

***

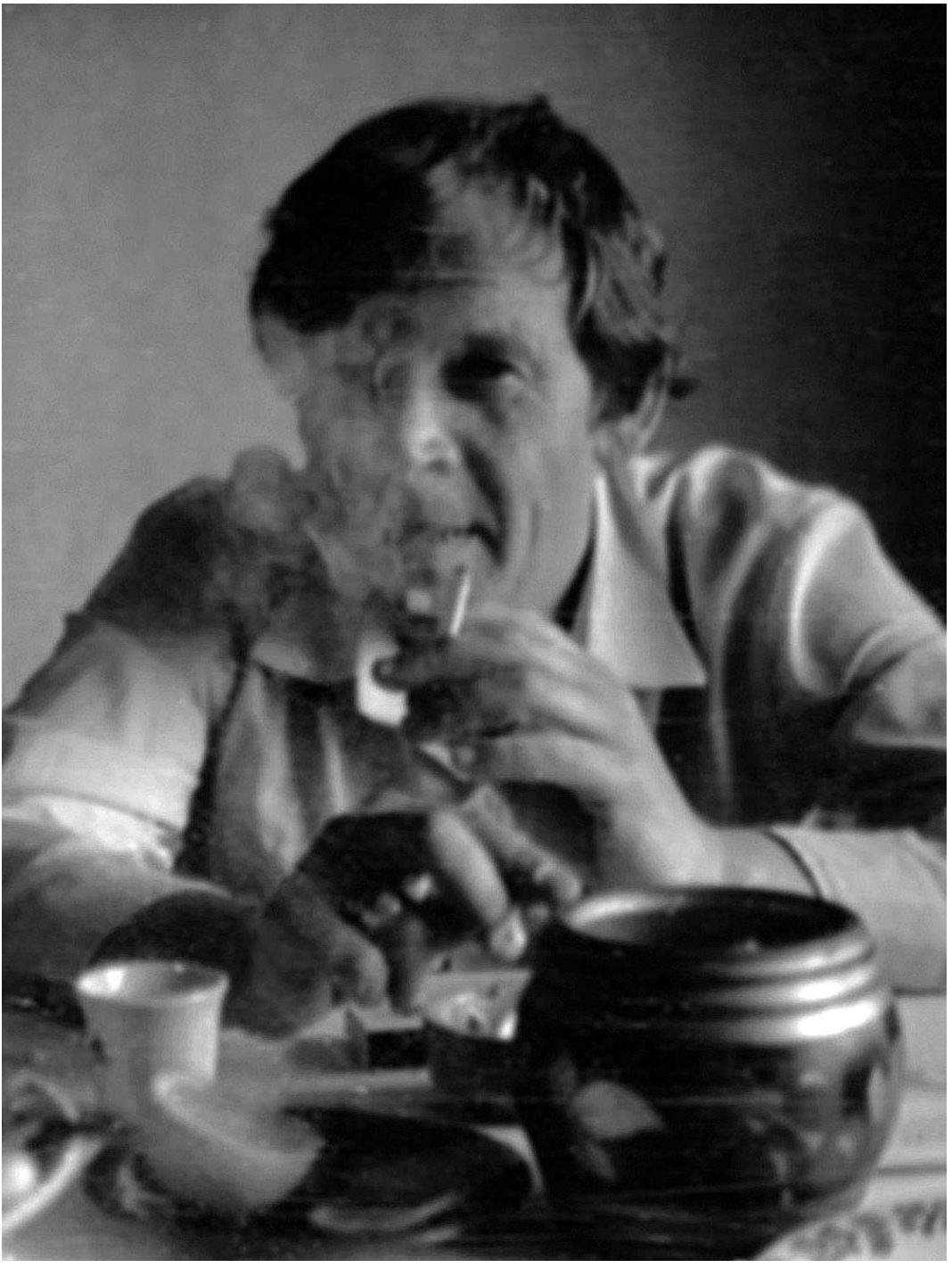
В связной фразе – увы – зреют исподволь
метаморфозы,
или бессвязна – увы – или незрела она.

***

Женщину видел я раз (или два?) – много крови
народной,
древней крови влилось в этот прекрасный
сосуд –
тонкий, бездонный и тех – предвечерних?
ночных? – очертаний,
столь загадочных для дальнего зренья огней.

***

Что же невежественней невежества русского? –
русский –
узко прорезям глаз – призрачный патриотизм.



***

Вольный простор это – блеф. В нем вольнее
всего произволу.
Но и слова в нем вольно сорно на ветер бросать.

***

Есть насажденья, и всё ж – ворона сидит на
антенне,
на проводах – воробьи, голубь – на глыбе вождя.

***

Сиро на сорных полях. Растут на вырубках
плахи.
Тесен российский простор: яблоку негде упасть.

***

Лично мне не мила эта, что ли, расхлябанность
моря,
как пограничной вдали вышки насмешка над
ним.

***

Осень пустая, я сквозь твою редкую, краткую
ясность
ужас провижу зимы, хоть и ненастен денек.

***

Нежилые леса, за лесами – поля, перелески,
скатертью стелется степь до нагороженных гор,
безнадежно пусты окружные моря и пустыни –
сколько же правды уйдет на всероссийскую
ложь?

***

Ты, как беда, никогда не приходишь одна,
т. е. вместе
вы являетесь вдруг – явственно, сонно ль двоясь.

***

Голое яблоко без покровов своими глазами,
голого яблока плоть видел и я наяву.

***

Ей поцелуи к лицу, и объятьями томно объята,
в полусвете ночном помнит об этом она.

***

Все лиловы сердца. У тебя же – серое сердце,
хоть и в захватанной, но в непревзойденной
груди.

***

Холод весною сойдет, как ноготь ушибленный
сизый –
где ж причинявшая боль злая его синева?

***

Яблоко – символ младой бесстыдства и
грехопаденья –
Ньютону дарит вконец, впрах обветшавший
Адам.

***

В душу вернувшись свою из расставанья удушья,
снимешь с тесной стены помолодевший портрет,
и обнажится под ним на выжженных светом
обоях
свежести прежней узор – враз беспризорен,
безлик.

***

Лета гнилого исход. Всё черней, перелетнее
птицы.
Глубже день ото дня улицы, выше дома.

***

После смерти само время длится, как волосы,
ногти
на покойном... Нагой время невнятно душе.

***

С ними теперь Одиссей. И тени глядят на Энея
без досады седой, зависти ль черной – о, нет:
он вернется еще прозрачным, как вечность.
А теням –
им ненавистный, как срам, странно уютен Аид.

***

Штиль, о чем ты молчишь? Тишина огромна.
Лишь к шторму
чайки, садясь на песок, друг на друга кричат.

***

Если товарищи, то – по несчастью, коль братья,
то – в братских

свальных могилах, а коль граждане – в сыске,
в суде.

***

Кольца на близких руках. Случайное дыма
колечко.
Средь полуискренних слов, ласк – полумаска
лица.

***

Размышленья ночей – негатив легкомыслья
дневного:
дня надводная гладь гинула ночи на дно.

***

В каменном городе коль ты однажды бездомно
ночуешь,
выбери гулкий подъезд в старых центральных
домах
и, что важнее всего, не ложись на ровной
площадке –
спи на ступенях самих: тело покой на одной
из ступеней, а та, что ниже, блужданий
изножьем
станет, а выше – рукав твой – изголовья ступень.

***

Всё кривее верста, и странник высох, как посох –
по суху, как по воде Петр, без веры грядет.

***

Восемь строчек простых о простой человеческой
муке –

муке бесстрастной, пустой раз невзначай
сочинил
некто, имея в виду конкретный пример
равнодушья,
но все друзья его вдруг звуком обиделись... Знак.

***

Долго мы жили, но ты становилась всё
недостижимей.
Господи, дай мне души не обделить наш удел.

***

Падший ангел, хоть пал, но глубин не достигнул
он ада –
полн неистраченной, злой тяжестью взор его
днесь.

***

Прячет созвучья поэт, подражателей ловких
страшится,
если, просчета страшась, сам подражает себе.

***

В юном, как день, языке слова легко и любовно
спариваются – союз рифм естественен в нем.
Но стареет язык – привычны брачные узы
стали созвучьям, скучны... Ветреность речи –
верлибр.

***

О, концептуализм! – не брак – ЛЮБОВЬ ПО
РАСЧЕТУ.
И по расчету лишь на столь вожделенный успех.

***

Капли слиток блестит столь отдельно и столь
драгоценно.
Оземь ударился, пав, стал – сырая земля.

***

Корни деревьев нагих – знатоки разложенья
и праха –
о небес глубине вовсе не смеют судить.

***

Ты меня не найдешь ни в столице безлюдной,
ни в прочих
вымороченных городах, в сёл ли застрехах, ниже
средь заснеженных сплошь, очумевших
окрестностей – стужа –
в черном, как сажа, лесу, в поле белом, как мышь.

***

Юбку деве задрав, не найдешь там ты дивного
дива.
Дивного дива ища, юбку ей не задирай.

***

Не осталось ни пня от рая – его древесину
ест языческий огнь в вечности диком аду.

***

В дружество между друзей и в братство меж
братьями верю,
в равенство верю среди равных – хоть нет
таковых.

***

Долго, наморщив чело волн, о чем-то думало
море –
горе тому, кто пучин думу решится прервать.

***

Память о прошлом бледней с каждым днем –
меж нами и прошлым
нашим – глухая стена – юных незнанье о нем.

***

Солнца лилового луч через стекла оптических
капель
за ночь наросшей росы увеличительной – он
в свежих листьях прожег небольшие рваные
ранки
ржавые чуть по краям – благополучнейший луч.

***

Всуе оставив богов и обожествив человека,
люди увидели вдруг, сколь отвратителен он.

***

Камень, ты молод, как день, но ведаешь ли,
каменея,
сколько сильнее тебя дряблая рыбья вода?

***

Камень весел и сыт, но вял и ленив от природы –
страха не знает он, и удаль ему ни к чему.

***

Даже крапива расти вкруг домишек остывших
устала –
выше некуда. Крыш сгорбилась дранка, и лишь
старожилы-сады еще корчатся в гуще бурьяна:
яблонь старинных кора треснула, вишен и груш
кроны зачахли. Вдали, мнится, тоже пожухло,
зачахло
небо, лежащее на похолодевших холмах.

***

Птицей из клетки златой вырвется жизнь из
младенца,
ибо мощней, чем дитя, жизнь в нем самом
и извне.

***

Много личин лицедей примерял на сумрачной
сцене,
и под маской гримас сделался сам он безлик:
не улыбнуться, не взять да нахмуриться – чист
перед кистью
холст, бумага чиста перед бесстрастным пером.

***

Ночь, мы скатались в себя, как комочки на
войлоке грубом.
Мы – тот же войлок, но нас можно смахнуть
с него прочь.

***

Вживе нам внятно: душа может жить и вне
утлого тела.
Боже, но вдруг лишь до тех пор, пока тело
живет?

***

Более библиотек я чистилища не посещаю,
ибо не чувствую днесь сладкого запаха книг –
как он прежде пьянил нас – не воспоминанье –
надежда
грезилась нам в желтизне истлевавших страниц.
Ну а нынче лишь текст очевиден мне. Буквы не
пахнут.
Книжных надежд аромат не томит меня, нет –
иже познах и без книг: упованье иль
безнадежность,
таинство истины ли – всяк постигает в себе.

***

Бел младенец, как пух. И юноша смугл, словно
галька.
Старец розов и сер, как облака на заре.

***

В космосе – хаос. Комет летают какие-то камни.
Дикий доныне тунгус верует в метеорит.

***

Моря свод, свод небес, радуг, храмов ли дивные
своды –
сводчата вечность, но без столь привычных опор.

***

Литеры древних молитв, как дорог полустертые
камни,
как под ногами в церквах стертый чугунный
узор:
тысячи сгинувших уст – всуе, истово ли –
изгибались –
целое море страстей – сих глаголов волной.

***

Двум народам сродни, я хотел воплотить их
несходство –
Корни мои напитай их родниковая кровь!

***

Вечностью ли отдает сновидений дикая
точность?
С вечностью ль соотнесен этот воистину край,
где забвения нет, где усопшие явственно живы,
где нашей памяти миг жалкий не нужен и лжив?
Не оттого ль наши сны забываем мы
молниеносно,
что из вечности в жизнь связанно рвемся из них?

***

Если заимствовал бог у смертных их облик на
время,
чтобы герою предстать с речью внушительной –
тот
смертный, чье в дело пошло столь тесное богу
обличье
на́ тот же срок исчезал из своего бытия:
видимый внешне друзьям-ратоборцам,
трофейным девицам,
птицам посмертным и псам, не сознавал он себя.

***

Милость в пустыне растет, питаясь влагой
глубинной,
но всеяден, как огнь – грешный иль праведный
гнев.

***

В ад дорогу мостят бетонными плитами ныне.
Месят плотины бетон, Лету чтоб вспять
повернуть.

***

Бег среди сочной травы вдруг гончей собаке
приснится –
лапами сонными в такт пес по подстилке стучит.
Запах пригрезится ли, как звезд течение,
точный –
жадно собака вдохнет комнатный воздух пустой.

***

«Князем воздушным» не зря христиане
в древних молитвах
дьявола звали. И впрямь: воздух – горения князь.

***

Мученик неопалим огня полыханьем поганым.
Хворост безбожный, что рос среди языческих
рощ,
он попирает легко стопой на стезе устоявшей,
с влажных Господних небес влажных не сводит
очей.

***

Бухты Рафин полукруг мал (Рафины – поселок
рыбачий).
К ночи, коль на́ море штиль, в небе ж огромна
луна,
множество лодок скользит в открытое промыслу
море –
факел на каждой – вдали яркою точкою он
тлеет, и с берега, где выдыхают тепло свое камни,
море в созвездьях огней кажется сводом небес.

***

Гневался, плакал, скорбел, тосковал – иже стал
человеком
среди убогих людей их безысходности Бог.

ИНВЕРСИИ

1980

«В моих руках оно подобно будет
Ключу от брошенной шкатулки в море».
Пушкин

***

То ли дело: среди ночи,
когда неба нет –
очевидны многоточья
звезд или планет.
День, и снова небо тонко,
а за небом там –
что – никто не знает толком
из господ и дам.

***

Гол король от веры в перья,
в мантию... А сброд,
сброд стыдится лишь неверья
своего: грядет
царь в парче!.. Пацан-козявка
вякнул: «Гол король!»
Но царю не стыдно – зябко,
только зябко, голь!

***

Человек, как волк, обложен
небылью своей.
Как клинок, тебя из ножен
я не выну. Лей,
лей любовь, вино, понеже
льется. Но по мне –
ты лишь небылью своей же
стиснута, а не.

***

Мы, как сплетни, пересуды
сообщались, как сосуды –

силой пустоты,
в нас зиявшей – рты,
пальцы, нервов многоточье...
Колбочки часов песочных:
как их не верти,
срок один в них – ты.

***

Хоть отъявленною явью,
как стеклом литым,
я и сдавлен, всё же я в ней –
как в сосуде джин –
блики пылью вековою
поросли, как мхом...
Что мне явь? – а мне б: на волю
из нее тайком.

***

Сообщилось судно течью
с вечностью пучин.
Но морские волки, те, что
знают, что почём –
судно кинули, и, судя
по всему – спаслись.
Терпят бедствие на судне
только стаи крыс.

***

В чем сосудов сообщенье? –
в том ли, что ни коей щелью
не пренебрегла
влага спрохвала?
В том ли, что чекушку, скажем,
мы до дна допьем
и ее наполним нашим
недобытием?

***

Уходите без оглядки!
Состраданья соль,
даже если слезы сладки,
каменеет... Боль
не застынет изваяньем
ваших, что ль, особ –
не имея очертанья,
станет соли столп.

***

Звук, я чист перед тобою,
при моих грехах –
кто нас разольет водою
хоть на вздох и прах?
Безъязыкая музыка,
что тебя я без? –
атмосферы ль синей зыбка
или мрак небес?

***

Близ холма, что всем известен
как гора Парнас,
я бесхитростных овец и
коз убогих пас.
Крючковатым был мой посох –
им – единый мах –
я ловил ягнят и нес их
в гору на руках.

***

Было как-то ненароком
утра, но не дня.
Провода набрякли током.
Транспорта возня
началась. В кофейной гуще
ощущений, плеч

всяк душе своей грядущей
двигался навстречь.

***

Зренье видит всё заранье.
Вкуса уксус лишь –
блажь. Беспало осязанье –
душ не заголишь.
Высечен из глыбы запах
тлена. Слух оброс
страхом. В порах полосатых –
ухо, горло, нос.

***

Кладбище желтее птицы
райской. Листопад
средь крестов, оград
пал навеки ниц он.
Выше тишины,
обнаженней Божья страха,
как восставшие из праха,
дерева черны.

***

Ради боли утоленья,
втаптывая в грязь
грешных нас (в свои творенья),
станут, открестясь,
воспевать решетки, нары
и параш дерьмо –
кто на родине Эдгара,
кто в краю Рамо.

***

На людское поголовье
погребальной глины комья

падают с небес.
Высь небес их вес
полнит силою ударной –
беспощадной, богоданной...
И глядит толпа,
вздевши черепа.

***

Выдохся июль. Всё шире
времени уход
между нами. Вот
даже тополя в квартире
не клубится пух,
семенем набухший. Впрочем,
во дворе на лавке склочен
сонм седых старух.

***

Отвлекаясь от бумаги,
ну, хотя б на миг,
скажем, что у нас в продмаге
(прямо в нем) мясник
удавился. Были толки,
отчего и как.
Но никто не смыслил толком
в смерти, в мясниках.

***

Не ночами – утром к чаю
жду ее, вернее, чаю
появленья: вдруг
вторгнется и рук,
уст моих коснется бурно,
вспыхнет, как смола...
А уйдет... я пуст, как будто
женщина ушла.

***

Не запомнил я, казалось,
цвета этих глаз,
но наутро все казалось
цвета этих глаз:
в сквере – лиственницы, ели,
девы, дети, спаниели,
блик асфальта ли,
голый дом вдали.

***

Годы сменит вдруг година.
Человек в свой срок
к Богу лепится, как глина,
жаждет, как песок.
Бог на черепки воззрится
с чистой высоты
или на песок – крупицы
кварца и слюды.

***

Как сквозь землю провалилось
солнце в море. Свет
стал рассеян, словно вспомнил
что-то. Мчались с дюн
в волны три наяды юных,
тешась прытью ног.
Сколько же им было десять
наших лет назад?

***

Ты ушла из жизни. Да, я
знаю – из моей
(я живьем не погребаю
женщин ли, друзей).
Жутко ладя шутки те же,
плоть, тоску, тщеславье теша,

злая, как молва,
ты еще жива.

***

Воробьи. Скворцы. Вороны.
Голуби с ленцой.
Каски из пластмассы. Робы.
Ватники. Лицо
черной «Волги» из. Ухабы
лезут на бугры.
Псы бездомные. Прорабы.
Крысы и воры.

***

Не склониться мне привычно
над загаром безграничным,
не очнуться вдруг
средь уснувших рук.
Жажда обернулась местью:
сух колодец – в нем
родинок твоих созвездья
не увижу днем.

***

Глухоты лохань
собственную всклянь –
чу! – качнула... Но покуда
в мире Бах и Букстехуде
существуют, всё же как-то
можно слышать вдруг
хоть тревожных пиччикато
моцартовский звук.

***

Сторонитесь душ,
тех, что слишком уж

одиноки. Ведь они-то
так и льнут к вам. Что же скрыто
за злосчастным их
одиночеством – средь пыли
в однокомнатной квартире
где-то между книг?

***

Ночь. Кварталов электрички
вкруг столицы мчат ритмично –
ветер пустырей
гасит поскорей
в мимолетных окнах тени –
паранойя сновидений
до ненастных утр
гонит спящих внутрь.

***

В бурю, в вёдро, как младенцев,
к платьицам, к дубленкам – к сердцу,
прижимая их,
из домов нагих
клочья комнатных собачек
(всех их как-то звать)
вынесут и, чуть не плача,
ставят на асфальт.

***

Истеричная беспечность
вечеринок. Чок!
С девочками, из-за плеч нас
зрящими. Дичок
(чок!) с бородкой, словно ключик
от чужих квартир, –
надокучили мне, внучек,
и чума, и пир.

***

Лот в Содоме мимоходом
жил. В тоске на дом,
окруженный пьяным сбродом,
что глядеть? – огнем
он гори! Но движет ею
та же страсть одна:
в любопытстве каменеет
Лотова жена.

***

Сосны в синеве и бельма
облачности глыб.
Несмотря на корабельный,
просмоленный скрип,
покачнувшись, точно пьяный
сушей мореход,
бор стоит, навек отпрянув
от балтийских вод.

***

В душной дюне навзничь лягу.
Как росы ночную влагу,
дюн дневных песок –
лап, когтей и ног
тысячи следов впитал он,
их рассыпал, разметал он,
оттого в песках
днем бесследно так.

***

Оттепель теперь – наслышка.
Стужа: ни гу-гу.
Слесарю, что, выпив лишку,
ночь проспал в снегу,
ампутировали пару
тароватых рук:

«Уж не то слесарить, падло,
нечем выпить, друг!»

***

Рос я при социализме
победившем. Поздно в жизни
я очнулся. Звук
изо всех наук
поздно выбрав понаслышке,
я с тех пор поднесь –
весь – вокзальная одышка:
опоздал... конец.

***

Пропаганды гной ли, бомбы,
ампул ли напалм,
как инверсии в любовных
сопряженьях – нам
столь привычных компанейски –
или негде? или не с кем? –
пухнут города –
или некогда?

***

Облик ли, душа ль из слов, не
проясненных в ней –
человек куда условней,
относительней,
нежли тот язык, на коем
говорят о нем
иногда... но будь покоен –
редко: днем с огнем.

***

А на улице-тихоне –
покупатели,

дети, патрули в законе,
тот же дом вдали,
что и рядом, те же моды
прячут женщин тук...
Даже странно, что погода
изменилась вдруг.

***

Сердце суть насос из мышц и
клапанов и т.
д. – качает кровь и мысли,
коих в темноте
удивляться надоело –
МОЗГ НА ВСЕ ГОТОВ.
Лишь душа – сей призрак тела –
состоит из слов.

***

Вопросил приятель в раже
литра на двоих:
«Чья же все ж страна-пропажа –
наша или их?» –
Их охрана и острастка,
страх, как у ворья.
Наши – страсть и страха ряска.
А страна – ничья.

***

Снег завесил угасанье
дачного денька.
Станцией и небесами
пахло. Вспомни-ка:
сумерки и снег сгущали
ощущение –
будто все еще в начале,
все еще вчерне.

***

Но в стране такой ничейной,
чтоб не стать частицей черни,
знаком плюс иль знаком минус
похваляясь – здесь, на вынос
ли – в земле ничьей,
чтобы слиться с ней,
путь единый вем:
трудно быть никем.

***

Из сторожки душной мы с ней
вышли в душный мраз.
(Я принес собакам миску
хлебной тюри.) Нас
обступила ночь окрестных
пустырей, и ты
сорняки рвала над настом
снежным, как цветы.

***

Не была, а показалась
щек твоих святая впалость,
полыханье глаз –
весь твой экс-экстаз.
Днесь иному жришь экстазу.
Чтением и я не разу
писем твоих пыл –
зря не охладил.

***

Сгоряча и на крылечко
ночью выйти – вах! –
в небе – звезд! в ущелье – речки
горный грохот – страх! –
воздуха рвануть ноздрею,
и перил дойдя,

выплеснуть вместе с водою
грязное – дитя.

(ЦИТАТА)

О, трепещут ми (мне) у́ди
(члены), всеми бо
сотворих вину: очи́ма
(я) взираяй, у –
шима слышай (и) язы́ком
злая (я) глаго-
ляй, всего себе геенне
(я) предаяй – о!

***

Мозг горазд. Душа кривая,
ничего не прозревая,
тлением живет
аминокислот.
Нечего иль поздно ждать, но
мой угрюмый стих
в их глаза глядится жадно,
в эти студни их.

***

Речи почву под ногами
шатко обретя,
вечность – памяти комками
чует ли дитя?
Так не ведал войн ли, розни
волевой финал,
что того, что началось, ни-
кто не начинал.

***

Непричастность к речи вязкой –
дар. Голосовые связки

не связуют звук
с провещавшим вдруг:
так заблещет влагой линий
тело лепестка –
из воды, безмозглой глины,
скудного песка.

***

За грехи себя карая,
как из познанного рая
(рай был глуп и вял)
сам себя изгнал
лирик – из своих напевов,
и остался в них
беспризорный призрак Евы –
совести двойник.

***

Грех судить эгоцентриста –
так он богодан:
у него с собою чистый,
истовый роман.
Самотяготенья сила
цельности ли род?
Для горбатого могила –
горб навыворот.

***

Пепел влас ли, нос ли, брови ль –
чуть полупрозрачный профиль –
месяца топаз
на заре. А фас:
переполнены печально
взглядом очи. От молчанья
чуть припухла рта
точная черта.

***

Смолкла семиструнна лира.
Занавес упал.
Погребение кумира.
Холм цветочный ал.
Средь еще живых несметной
в полутьме толпы –
вспышки магния – как смертной
вспышки пустоты.

***

Крупноблочен монолитный
сахар-рафинад
зданий. Ал желто-блакитный
меж домов закат,
если не лилов... и если
на него глядеть –
ясно: мы не будем вместе
ни с тобой, ни впредь.

***

Ты бесследнее тех пеших
вод, бесследней, чем
тот песок, что так заслежен
неизвестно кем,
ты бесследнее досады ль,
злобы ли, но ад
в том, что ты бесследней самых
сладостных услад.

***

Так из праха в прах – по самый
след свой – в небесах –
шли они и отрясали
с ног подножный прах.
Так из праха в прах – по горло
в собственной крови –

безоглядно, робко, гордо
в прах из праха шли.

***

Над огромной и багровой
баней – небо. В нем –
воронье. Светло и громко.
Ярко-серый дом.
Каплет с кислого сарая
в грунт: падений нить...
Хочется, не умирая,
до смерти дожить.

***

Праха горсть, часть отчей почвы
(судьбы в ней, следы)
я пошлю тебе по почте
частной – если ты
в пух праотческого грунта
ляжешь, не дай Бог,
бросят пусть тебе на грудь хоть
этот вот комок.

***

Мстиславу Ростроповичу

Средь крыловского оркестра,
где идет борьба за место
и за унисон
(отческий закон) –
лишь одной виолончели
звук извечно чист –
так, как если бы запели
тысячи отчизн.

***

Изваяние из звука,
разве это – ты? –

лишь набросок ног и рук и
прочей наготы.
Все подобья лгут, исход свой
обратив в абсурд.
Не бывает в мире сходства:
бесподобна суть.

***

От стихов и до оконца
подавать рукой –
слишком близко. Холм, что солнце
скрыл вечор собой,
высветлен небес до кромки:
изб, берез на нем
несколько – да столб, да тропки
спуск или подъем.

***

Под серебряною дранкой
кровли (блеск воды),
средь земли, созвездий ранних
над крыльцом, среди
косо поведенных стен и
трав, дерев в окне
с истиною запустенья
жить наедине.

***

Зорька в небе беспризорном.
Безъюдольна даль
разнотравья сорным дерном
зарастает – «Аль
мы не...» и так далье. Блики
ветра на лесах
лиственных. Ростов Великий
за холмом иссяк.

***

Прячется за косогоры
сей простор – в леса.
На водоразделе голом
озирается.
К ночи жмется воровато
на задах у изб.
И претит ему заката
гиперреализм.

***

Криво в горнице и гнило.
Три оконца – глянь.
Телевизора горнило.
Алая герань.
А из красного угла-то,
кружевцем убран,
Николай-угодник свято
смотрит на экран.

***

«Мы теряем лета наши, как звук».

Пс., 89,9

Средовечие* не душ, а
честной связи той –
душ с телесным их удушьем.
Вяз полуживой:
частью наг он – ветки, почки
высохли в свой срок,
но его связует с почвой
тот же свежий сок.

***

Вы мне на слово не верьте –
верьте мне на звук
иль на отзвук лучше. Ведь я

* Средовечие – середина жизни от 30 до 40 лет.

сам лишь отзвук. Слух
всколыхнется, как разлука –
отзыв тайных уз –
и заблещут слитки звука,
вспыхнут сгустки уст.

***

Леты мы пойдем по брегу.
Трое нас, считая реку.
Двое, коль не в счет
подоплека вод.
Иль один, коль не считать из
нас с тобой кого.
С бренностью пути считаясь –
вовсе никого.

***

Чтоб не унижались горы,
надобно горам –
не сравнительные взоры –
пропасти. А там –
холод низок, холод илист,
и слова малы...
До чего же опустились
губ твоих углы.

***

Дуализм любви нагляден:
отчуждений двух –
будто глаз – двух бойких градин –
блеск един... И вдруг,
ты, как в первый миг, чужая,
вновь чужая, как
отчужденные душа и
тело – пух и прах.

***

Произвол окрестных склонов.
Бессловесны вспышки кленов.
И подспудно тих
живописный стык
косогоров и прогалин.
Ворс пространств вдали,
словно юность, неприкаян,
словно старость ли.

***

У пивных ломают руки
старикам их, ай да, внуки,
бьют по синякам
и ведут... к сынкам
в околоток среди алых
кленов... иже в генералах –
синь как высоки –
те же старики.

***

Печь из мела и из сажи.
Кочерга. Ухват.
Мозг горазд. Душа гораже,
хоть мудрей стократ.
Мозг – изба. Душа – в оконце
поле без конца.
...Но гремят дверные кольца,
гнется матица.

***

Над подвыпившею дачей –
звезд далеких лай собачий.
Черная труба.
Яблонь голытьба
вкруг. До заморозков сивых –
сверху ли? из-под?

ледяные рос приливы –
лета смертный пот.

***

За окном – холмы, холмы и
вновь – холмы, холмы.
Небо маленькое в мыле
облачности. Тьмы
до явления окольной
из щелей, застрех –
в косяке оконца – холмы,
холмы, холмы... эх!

***

Отрешен от мира толщей
годовых колец,
человек внутри всё тот же –
старый сей корец
той же полной влагой полон,
но не можно ей
расплескаться произволом
влажности своей.

***

Праха ль гной, зерна полон ли –
позабыл росток-паломник.
От ростка побег
вмиг отрекся, вверх
возносясь. Но до побега
ли цветку, хотя поблек и
он во свой черед.
Плод – забвенья плод.

***

И.К. Сафонову

Позади Романов, иже
с ним Борисоглебск.

Фиолетовей, чем ниже
солнце. Сизый блеск
у шоссейного наката.
Радио со дна
вдруг плеснул концерт двадцатый
(Моцарт. Юдина).

***

Женской преданности стансы,
словно полустанков, станций
замерший на миг
заоконный блик.
Нам до нас – короче жеста –
час езды едва –
как от преданности женской
до предательства.

***

К ноябрю вода в пруду вдруг
прояснилась и
глянула окрест прозрачней.
Вышли нагишом,
как утопленники, вязы
отражений из.
И листва под ними слиплась,
словно веки глаз.

***

Храм он пуст, но пуст, как прах он –
прах не празден, но
в нем лежит с подкожным злаком
влажное зерно.
Прах он пуст, но пуст, как храм он:
праздника страда
отошла с толпой незнамо
как или куда.

***

Так о чем же тосковати,
песни пети – на закате
лета, года, дня?
и кого виня?
Люди вспыхивают, окна,
стоп-сигналы... Как
хороши деревьев – охра,
умбра и краплак.

***

О клише в мышленье или
об иных и тех –
но пока мы говорили,
выпал первый снег
в сумерки свои за шторой
и лежал там день который,
месяц ли, но вот
и который год.

***

Расставаться нам
настает пора. В передней,
словно в первый раз, в последний
мы друг друга на
глянем удивленно через
не порог, а рок... Оделись.
Но идти домой
всякому впервой.

***

Вот с известием ужасным
прибыл вестник, но
не допущен к пировавшим
коим всё равно.
Вот другой за первым сразу
мчится... Нет конца

здравицам, пока проказа
не пришлет гонца.

***

Между тем сама
не душа – сама природа
наша – за год? За три года? –
изменилась – ба! –
ПЕРЕВОПЛОТИЛИСЬ МЫ ЖЕ!
И душа тоскует, иже
хорошо кому
не в своем дому?

БЕЗДОННЫЙ ЧЕЛН

1981–1983

Э. Булатову,
с которым я встретился
в это прощальное время.

5. 9. 1983

***

Трудолюбивых ангелов крыла
помяты и изгвазданы. Их лики
черны от копоти, как черные дела.
Отчетливей на черном пота блики.
Прозрачнее эфирные тела
реальной плоти. Молодые длани
опутаны узлами синих вен.
Кистей суставы сбиты. И колен
бугры уродливы. А кудри слиплись. Тлен
уже коснулся душ бесплотной ткани.
В очах потухших – отблески геенн.

***

Непроницаемый
туман падет на город
и долго, долго в нем,
как в проявителе,
всё будет плавать. Что б
ни скрыл туман – дома ли,
деревья ли, людей –
все видят лишь туман.

***

Остались от восстаний –
лишь лозунгов слога,
раскурки от воззваний
да митингов лузга.

Все в стоге, как иголки,
все неясны извне –
везде лежат осколки
лорнетов и пенсне.

И сам народ, обратно,
На Невском, на Тверской
присыпал крови пятна
подсолнечной лузгой.

Плевки да харки. Конский
навоз. Да сена клок.
Да гильз тупые конусы
скатились в водосток.

Я на опилки хлеба,
безмозглый самогон
меняю перстень либо
фамильный медальон.

***

В парадов годы пылкие,
портретов впереди,
всех шариков с опилками
и всех «уди-уди»,
шаров воздушных – гроздьями
над гроздьями голов
живых – явились в гости мы
в мир мерзостей и слов.

НАТЮРМОРТ

Наставник наш боролся с эстетизмом.
Мы малевали под его эгидой
картофель, что отечественной почвой
обмазан был, как печь; селедку с синим
отливом иль ломоть ржаного хлеба –
чтоб передать его съестную ноздреватость,
мы собирались с нюхом...
«Натюрморт
есть вспышка жизни, – говорил учитель, –
которая на первый взгляд мертва, как
вот эта кружка из ничтожной жести,
но, дети, сколько цвета в ней одной:
в ней вся зима, все тесное ненастье
осенних дней, все серебро застолья
изысканного, царского... Да что там! –

все серебро безвкусного Ватто».
Тут принимались мы за акварели
и с колонковой неуклонной кисти –
роскошный дар китайских рикш и кули –
поспешно сглатывали цвет или оттенок,
чтоб в ту же сырость жизни и бумаги
внести другой и дать смешаться им
естественно...
В застенке тусклом класса
всевластно пахло масляною краской
и растворителем настырным. За окном –
обшиты пышным снегом – театрально
краснели третьяковские хоромы,
очерченные грязной желтизною
Замоскворечья. Как купец, был скуп
декабрьский сумрак по утрам, но все ж он
сгущался в крыши, трубы, колокольни,
в деревья, что росли на кровлях храмов,
и, наконец, устало разрастался
в непоправимый кистью натюрморт
Москвы пятьдесят первого...
Учитель,
не впрок пошел мне ваш урок предметный –
чугун копченой утвари и глина
всех кринок треснувших, и патоки потёки
на булках с марципаном, хоть и вкусных,
но приторно бликующих... Вещей
не ощущаю я средь вещей жизни,
а ощущаю, разве, ощущенья
да бьюсь, как в каземате, в тесной мысли,
хотя бы в той – пустой, бездарной, косной,
в которой стыл, как самовар, аморфный
тех лет непроходимый натюрморт.

***

А оттепель и впрямь была
два дня спустя,
но оттепели в марте
естественны, скорей мороз
(он был не розов – сер) –
в день всенародных слез был зол
необычайно – марево
его декабрь (не январь)

напоминало. Нас
из классов выпустили в скорбь,
что скоро отсырела
(каникул не было тогда
весенних) сколько гор
мы обкатали, сколько луж
мы расплескали влажно,
хоть и с неловким торжеством
до траурных торжеств.

***

Что-то общее есть у всех
в выражении лиц, словно бы в лицах
у дебилов или у калек,
или у гомосексуалистов –
что-то общее – вместе иль врозь,
на дому или в учрежденье:
отчужденья всеобщая злость,
бесноватость самоотчужденья.

***

Мрачные расчетливые дети.
Даже и в семье они внебрачны.
Игры им скучны. Скучна им мира
невидаль. Порок и тот им скучен.
Любят, разве, деньги: йены, лиры,
доллары, гинеи и пиастры...
Ласкового смысла не имеет
их младенческое исподлобье.

***

Им не рано с утра.
Им не поздно в ночи.
Ни туда, ни сюда
ты их не волочи –
пусть их лечат мамань,
учат деток уму...
Атеистам и впрямь
помирать ни к чему.

***

Мы – дураки из страны дураков,
Всё потеряли мы, кроме оков.
Под облаками своих потолков
мы обитаем – удел наш таков:
в лес не идем, но боимся волков,
и сквозняков нам мерещатся казни.

***

Что за шум, а драки нет?
Что за шут, а драки нет?
Что за гам, а драки нет?
Что за срам, а драки нет?
Что за стон, а драки нет?
Что за стол, а драки нет?
Был ли шум, коль драки нет,
или драка столь бесшумна.

***

Когда убили одного,
все спрашивали: кто? кого?
когда? с какою целью?
солдат ли? офицер ли?

Когда убили десять лиц,
все вслух позорили убийц,
запомнив благосклонно
убитых поименно.

Когда убили сто персон,
никто не спрашивал имен –
ни жертв, ни убивавших,
а только – наших? ваших?

Когда убили миллион,
все погрузились в смертный сон,
испытывая скуку,
поскольку сон был в руку.

***

Так деревенеют
деревья окрест:
по чьей-то вине,
чьих-то происков чрез –
прекрасный и юный,
дерзая, разя,
в бою обоюдном
падет, как роса.

***

Уж мы резали его –
Андрея Боголюбского.

Крепок, крепок наш Андрей –
мертвый вышел из дверей.

Из дверей он из ворот...
Сохранились петли – вот.

***

Людская кровь, людская кровь,
людская кровь... кровава.
И, как в траве – отрава –
в крови таится рок:
он вас швыряет, как морковь,
налево и направо,
чтоб вы уперлись здраво
в свой роковой мирок.

***

Из леса вышел человек,
он вышел по-людски.
Лежали плеч его поверх
иголки и листки.
Он был непоправимо сед,
непоправимо рус.
И лес глядел ему вослед
насмешливо, боюсь.

Из леса вышел человек
печальный, как ручей.
В карманах, окромя прорех,
ни денег, ни ключей,
ни паспорта, ни адресов,
ни пропуска – на кой? –
он сам был замкнут на засов
улыбочкой такой.

Из леса вышел человек,
веселый... абы как.
В его котомке – смех и грех –
краюха и табак,
бутылка липкого вина
и книжица о том,
как мы из леса, старина,
и снова в лес идем.

*BOOTTOMLESS BOAT**

Бездонный челн, бездонный челн
бездонный челн причалит
и к нашим черным берегам,
и строй братоубийц –
все те, кто вовсе ни при чем,
кто знать не знал, не чаял –
сойдут в глубоководный срам
под вопль прибрежных птиц...

ПОЛЕТ

(Скука, скука
входит в дом без стука,
как в страну войска –
смертная тоска.)

В городе Туапсе
были платаны, рейд,
был порт, было море, танкеры
и горы во всей красе.

* *Boottomless boa*t есть некое судно «без дна», в котором древние шотландцы пускали в открытое море повинных в отце- или братоубийстве.

За городом был холм
и метеосамолет
У-2, «этажерка» фанерная
стоял там испокон

в травах – ни бэ ни мэ –
реликтовый самолет
привязан был, как корова, он
к колышку на холме.

(Скука, скука
входит в дом без стука,
как в страну войска –
смертная тоска.)

Но в городе Туапсе
почти что испокон
средь населенья летчик жил,
как следует жил: как все.

Недаром на войне
Отечественной не раз
его изнутри изранили,
изранили извне.

Таможенником служил
он, глядя во все глаза,
что можно здесь, что можно там –
там можно, а здесь нельзя.

Но службы вышел срок:
на пенсию, как в степь,
вышел бескрылый летчик наш
и зачастил в ларек.

«Пилотам пить нельзя», –
твердил он, захмелев,
и собутыльников разнимал,
милицией грозя.

(Скука, скука
входит в дом без стука,
как в страну войска –
смертная тоска.)

Но как-то под хмельком
он очутился вдруг
средь лодок и кур окраины
и высмотрел этот холм

и этот аэроплан,
и колышек, и в душе
у летчика шевельнулся вдруг
один пятилетний план.

Почувствовал летчик наш
желанье не «полетать»,
а что-то, что непреложнее,
чем высший пилотаж.

Хоть чувства его, как медь
в окиси, не ясны –
скорее всего, он испытал
желание УЛЕТЕТЬ

КУДА-НИБУДЬ, а куда
не чувствовал он, поди,
как птицы – электрический ток –
садясь на провода.

(Скука, скука
входит в дом без стука,
как в страну войска –
смертная тоска.)

Взявшись за план с утра,
с метеолетчиком
сошелся в пивной он и рассказал
про юнкерсы, мессера.

Был метеолетчик зол
на водку и называл
он «дозаправкой в воздухе»
утренний опохмёл.

Год кореша парят
в портвейна парах, порой
скатывая вдвоем с холма
летательный аппарат.

Но срок наступает, и
таможенный с книжки куш
снял летчик и напоил дружка,
как в день авиации.

Безбрежным был полдня пыл,
и летчик наш, не спеша,
скатил с холма пилота в тенек,
потом самолет скатил.

И вот очутился он
в небе привычном, как
водка, и летчик, захмелев,
отвесил земной поклон

платанам, сухой траве,
терраске своей, ларьку,
цистернам нефтехранилища
и маленькому кафе

портовому. Много гор,
селений, дорог и рощ
увидел вдруг летчик, о коих он
не ведал до сих пор.

И моря увидел гул
огульный, неземной,
без суши неподвижной, и
к морю он повернул.

Покуда проспится ас,
наступит и минет ночь,
далёко уйдет он вдоль берега –
не нужен ему компас.

А если ему вдогон
пошлют эскадрилью, две,
к морским волнам безопасным и
к горам будет жаться он.

(Скука, скука
входит в дом без стука,
как в страну войска –
смертная тоска.)

Вдоль берега наш пилот
летел, словно демон, а
в воздушном пространстве кружил над ним
советский воздушный флот.

Весь в мыле воздушный флот –
так низко не мог он пасть:
опасен для нынешних скоростей
столь бреющий полет.

Над ним над одним, ну и
дела! Над ничтожным ним
кружил весь военный округ, друг!
во всеоружии.

Над ревом, над блеском крыл
смеялся, как бог, пилот,
«Прощай, любимый город» пел
и «Беломор» курил.

Смеялся и знать не мог,
что между сухумских пальм
механик уже налаживал
музейный ястребок.

(Скука, скука
входит в дом без стука,
как в страну войска –
смертная тоска.)

Умением истреблять
сам летчик владел с войны
и истребитель УСЛЫХАВ –
ну, что он промолвил? – «Блядь».

И Турция эта, шут
бы взял ее, в двух шагах
померкла – теперь не Турцию,
а хоть бы парашют.

Но прыгать-то низко, и
нет Турции никакой,
о чем он всегда подозревал
во глубине души.

(Скука, скука
входит в дом без стука,
как в страну войска –
смертная тоска.)

Увидел он в ястребке
чужого лица пятно,
но с этой бреющей высоты
не мог он уйти в пике.

Не стал он пятну лица
делать знаки, что-де
вернуться желает он к жизни – нет –
летел он до конца.

Прижался лишь к скалам вплоть –
на третьем заходе лишь
(салага машиной едва владел)
сподобил юнца Господь.

Звук очереди – черед
всегда означавший – дни
былые напомнил летчику,
закончившему полет

последний. Взорвался бак
и летчик взорвался, и
стал тяжелее воздуха
замысла пух и прах.

И прямо в девятый вал
упал он. Теперь со дна
не всплыть ему: держит кабины клеть,
как кости кистей – штурвал.

(Скука, скука
входит в дом без стука,
как в страну войска –
смертная тоска.)

Лазить за ним на дно
не стали. И так стране
стоило слишком больших хлопот
этакое говно.

Щепки фанерных крыл
унес куда-то отлив,
после того, как прилив о скал
стену их долго бил.

Герой наш на дне морском
брошен. Над ним вода.
А над водою – чайки летят
не в Турцию ли тайком?

(Скука, скука
входит в дом без стука,
как в страну войска –
смертная тоска.)

***

Заводится, как патефон,
поддельный неофит:
лицо из кожи лезет вон,
глаза сошли с орбит.

«Аз за отчизну пострадах –
мне б визу в мир иной...»
И пена мнений на устах
мешается с пивной.

***

Во глубине колодца
звезда теперь не тонет
средь бела дня. Но вы не
ушли от нас в зенит,
хоть снег вас не коснется
и ветер вас не тронет,
и жребий вас не вынет,
и тьма вас не затмит.

***

Мы шли сквозь незнакомый лес
осеннего обыденного вида

и говорили, помнится, о Витте.
Вдруг лес иссяк и сам в себе исчез.

Открылся поля склон, и посреди
него стояла вышка, словно арка
средь площади, и от нее овчарка
к нам с лаем мчалась сквозь бурьян. «Гляди, –

сказал мой друг, – вот эта установка
для радиоглушения. Их тьма...»
Стояла вышка тупо и неловко
и совершенно по себе сама.

Овчарка лаяла. Я глянул без укора
на техники родимой чудеса,
которые заглушат очень скоро
знакомые до боли голоса.

***

Их призраки из-за кордона
бредут в отеческое лоно –
невидимая вереница –
через свинцовую границу,
чрез проволоки ток колючий
сквозят – беспочвенно идущий
стоп не оставит отпечатка,
ни пограничник, ни овчарка
его не чуют в двух шагах,
бесчувственные, словно прах.

***

Но зато всё то, что здесь
было близко вам,
станет чудом из чудес
неизменным – там.
Не обрушится фасад,
не наскучит скит...
Словно некий верный клад
вечно в вас зарыт.

НОЧЛЕГ

Я ночевал в подъездах, в скверах
во двориках, в кабинах тесных
грузовиков военных, даже
в горах у Иссык-Куля раз,
во мху под звездами и хвоей
военных чащ, и вот однажды
ночлег мне в сумасшедшем доме
нашелся. Помнится, стоял

октябрь. Лил дождь. И на трамвае
приехал я к дурдому. Парком
старинным обрамленный тускло
темнел среди ночных стволов
старинный дом. И над порогом
желтела лампа одиноко
и угрожающе, как ночью
у нас желтеют лампы. На

ступенях каменных белела
фигурка доктора, а впрочем,
какой там доктора – Маринки –
век одноклассницы моей,
весь век отважно походившей
на безуспешного ребенка,
которому наш мир не нужен
и за которым глаз да глаз:

гляди того, нашкодит. Ей же
самой даны были два глаза,
наполненные удивленьем,
которое не удивишь
ничем – два черных, иудейских,
зараз бесхитростных и хитрых,
и им была несоразмерна
сама Маринка-кроха. Мы

вошли в дурдом. Переодели
меня в наряд больничный. В этой
по-воински безликой байке
почудилось мне, будто вновь
я – в Бресте, в госпитале, где я
однажды повалялся славно,

в солдатах будучи. (Нет, память
в нас только спит, как лоботряс,

но потряси, и вдруг очнется.)
Маринке отдал я начало
«Подземной нимфы» – на дежурство,
и двинулись мы с ней в обход
вечерний по палатам. «Сашка,
пошли – посмотришь сумасшедших», –
гостеприимная хозяйка
так предлагает полистать

альбом Пикассо или Босха.
И мы пошли по анфиладам
палат, и зал, и коридоров,
чередовавшихся, как дни,
как день и ночь... И бесконечно
Маринка отпирала двери
и запирала следом. Люди
мелькали в сумерках палат.

Халаты их равняли. Лица ж
казались байковыми тоже –
голубоватой байкой или
зеленоватой. И обход
не впечатлил меня. Лишь утром
больных увидел я воочью,
и были все они похожи
на завсегдатаев пивной,

но до ее открытья, утром –
в урочный час, когда у входа
они, как призраки, возникнут
и воплотиться жаждут хоть
во что-нибудь живое. Впрочем,
понять столь точное сравненье
лишь знатокам возможно, каюсь,
но над другим не бьюсь. Потом

был отведен я в тьму палаты
на уготовленную койку
(старушка-нянечка сказала,
что специально для меня
она застлала ДВА матраца,

нашла подушечку погуще
так, чтобы дорогому гостю
спалось послаще). В той моей

палате пахло, как в казарме.
Казарменному же допросу
я был во тьме подвергнут. Мигом
решили эти голоса,
во тьме витавшие отдельно
от тел своих, что «принудилка» –
удел мой, и к своей рутине
вечерней возвратились. Весь

их разговор, во тьме лениво
лишь вспархивавший, словно голубь,
мне был знаком от жалкой альфы
до мизерной омеги. Тут
лежали молодые парни,
а я три года с лишним слушал,
как наши молодые парни
ведут беседу перед сном.

Звучали смачные насмешки
(их суть – тоска и отупенье),
они к молчанью угловому
все относились. И оно,
молчанье это, было тоже
тоскливым, злым. И всё ж к чекушке,
на той неделе пронесенной,
сводились речи в основном.

На том я и заснул. И значит,
ночлег блестяще состоялся.
И утром, «выписавшись», вышел
я в солнечный старинный парк
с убогим тазиком фонтана
посередине – был он полон
листвой октябрьской – одноцветной,
но ярко-серою листвой.

Был день высок и ясен. Город
звучал, виднелся за оградой
чугунной. И в глазах рябило
от радости и воробьев.

А корчи солнечных деревьев
настолько были очевидны,
как будто корчились не сучья,
а скоротечность дней земных.

И вскоре на ступеньках, тех, что
вчера дождем мерцали мрачным,
а нынче высохли, как слезы,
Маринка появилась с той
улыбкой непроглядно школьной,
почти забытой, но реальной,
и, подскочив ко мне, сказала –
откачивала, мол, всю ночь

она какого-то мальчишку –
он умирал, но выжил. Всё же
она прочла начало «Нимфы».
«Перекусить бы нам». И мы
свободно вышли за ворота
дурдома этого в столицу,
где двигались машины, люди
куда угодно... Но куда

ведет рассказ мой? Много дальше,
чем мне хотелось бы. Ведь с ночью
покончено. Ночлег удался,
и есть в наличье белый день.
Но я не про ночлег (хоть, впрочем,
ночлег, как таковой, проблема,
порой серьезней постового
в ночи стоящая) – про то

что вот уехала Маринка
из этой нашей сумасшедшей
страны в какой-то странный Лондон,
где «London bridge is falling down»,
и не прочесть ей окончанья
«Подземной нимфы», хоть стихи ей –
до лампочки, и не сойтись нам
теперь хотя бы раз в году,

а то и реже. Разве дело
во встречах? – даже не в разлуках.
Былого не вернуть – тем паче

из Лондона. Обычно мы
не задаем себе вопроса –
ОТКУДА нету возвращенья
былому этому – вот случай,
когда навязчивый ответ

нам сам дается в руки. Между
былым и нами есть граница
по-государственней каких бы
то ни было границ: столбы
с гербами, серые мальчишки,
натасканные, как овчарки,
стоят меж нас и нашим прошлым –
вот отчего возврата нет

нам из самих себя... Маринка,
не унывай. С тобой унынье
несовместимо, как с Москвою
твой Лондон днесь несовместим.
Сильнее расстояний близость.
Живи легко, раз эта легкость
твоей душе необходима,
как людям вечером ночлег.

***

Но он еще младенчески кичлив
твой англичанин в первом поколенье,
хотя его предел – имперсональность
с безличностью граничит, а его
боязнь сентиментальности граничит
с бесчувственностью выдуманной, ибо
он сам нет-нет да ощутит еще
по-русски непростительное чувство
и скажет «bloody» или скажет «черт с ним»,
и плюнет через левое плечо.

***

Но мы останемся изгоями,
не ставши ими. Без следа
простимся с городом, из коего

нам не уехать никуда –
лицом к лицу, как с небылицею,
с родной безликости столицею,
свой прах давно втоптавшей в прах
и исчезавшей на глазах.

***

А из этого города
не уйти, не уехать мне,
не проститься с ним запросто,
не расстаться, не встретиться.
Видно, нет нам прощения
нищим духом, юродивым:
не простит он мне много что,
да и я не прощу ему.

***

Зимою близорукой
украдкой, впопыхах
ты встретишься с подругой
в искусственных мехах
заснеженных задворок
и углядишь тайком
былого лето морок
в лице ее нагом.

***

Тайком закрою я глаза,
чтоб увидать на миг
черты осунувшиеся
и прядь волос нагих,
и трепетание ресниц,
и трепетанье век...
Как много позабыл я лиц
на миг, потом навек.

***

Блудниц ли лица иль страдалиц –
в былые дни, в былые дни
под маской юности скрывались
от нас неведомо они.
Но и теперь их суть едва ли
случайную мы различим,
когда глядят из-под вуали
своих смеющихся морщин.

***

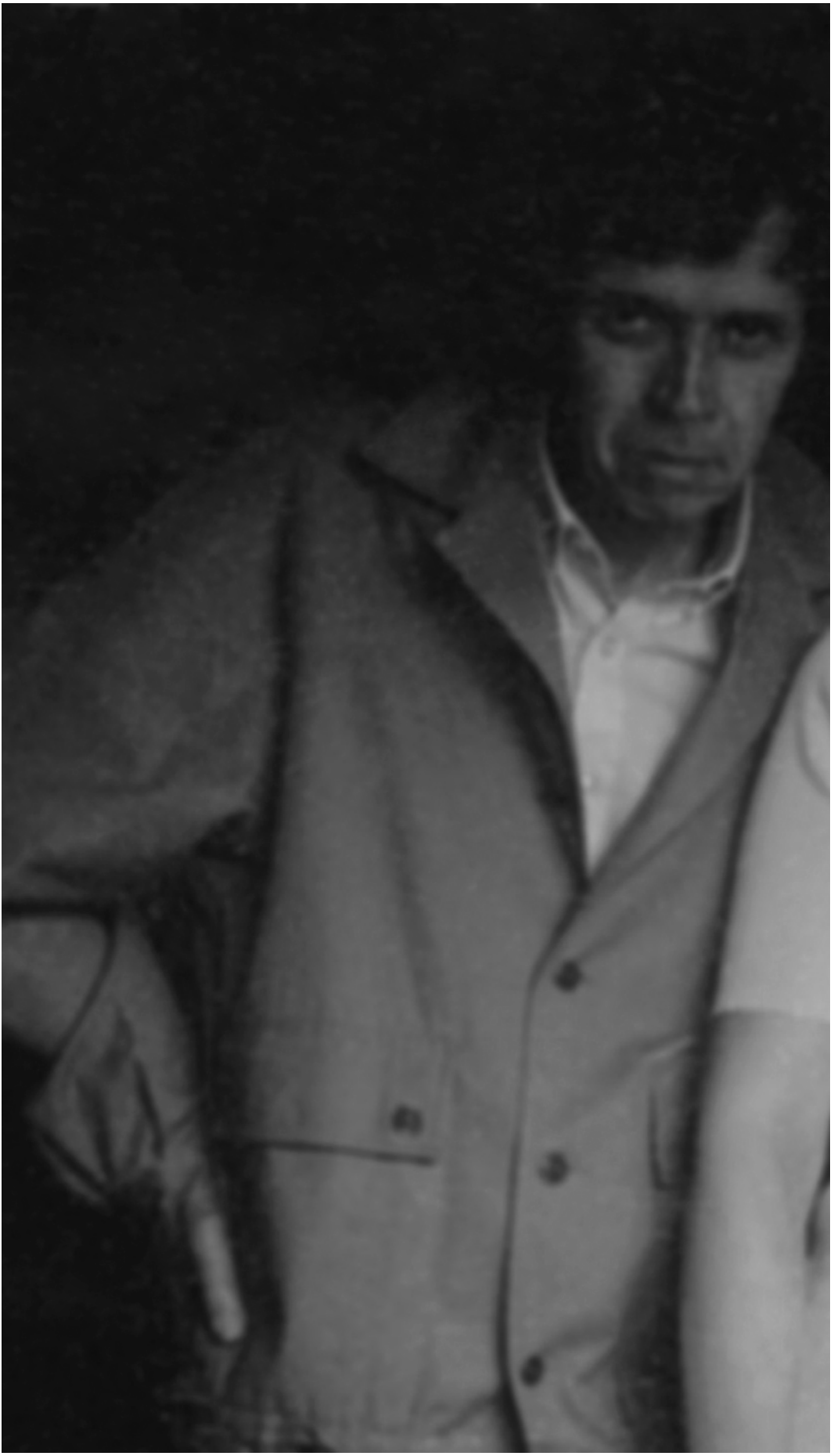
...И не в диковинку во сне нам,
чтоб женщины переливались
одна в другую, а другая
в одну, лишь изменяя внешность,
личину, оболочку, словно
из слова в слово – плавный смысл.

***

Она бесхитростно одна,
она бесхитростно одна,
она бесхитростно одна
в миг сокровенный тот,
когда, когда, когда она
зажмурится и ждет.

***

Предательство – род вожделенья
мужского. Женщинам оно
стыдливым – по определенью,
по сути их – не суждено:
хоть предадут, но тем не менее
давно никто не предан тут:
коль предадут, то лишь забвенью
вас, женщины, коль предадут.



***

Не ведая, не зная
назад ли, наперед
душа, как взор, сквозная
единый миг живет
и ока во мгновенье
сквозит в оттенках глаз –
где пристальность томленья?
где близорукость ласк?

***

Первых встреч предплечья
и последней встречи
плечи безразличные –
далеко далече,
далеко далече –
лишь колечко – пальцы,
лишь ужимка – плечи,
лишь браслет – запястье.

***

Не протянулись нити.
Остановился миг.
Нет, вы вообразите
безгрешности тупик.

Не расползлась из рая
пустыня на весь свет,
где Авель, умирая,
глядит братану вслед.

Не плодоносят кроны.
Нет воздуха для крыл.
И Евы «растворенной»
Адам не растворил –

нет, он избегнул гнева
Господнего, поднесь –
в саду с нетленной девой,
а не с тобою, бес.

***

Оно слетело с уст, и
из первозданных вод
явились слитки, сгустки
первоначальных нот,
и в космосе тенистом
семь дней – широкоскул –
пел, наполняясь смыслом,
первоначальный гул.

***

Я на слове
себя ловлю –
так настом снег
покроет мглу
декабрьских стогн,
сутулость шуб,
но, тая, он
слетает с губ.

***

ПРОЗРАЧНАЯ МАСКА –
ей нету конца:
сей маски гримаса
не застит лица
живого, но, Боже,
я вижу: оно
гримасою тою же
искажено.

***

Хотя я неподвижен
и не сошел с ума,
но тень моя, пойми же,
и по себе сама –
то вдруг возденет руки
(моя ж при мне рука),

то выпрямится вдруг и
посмотрит свысока.

***

Нет, не стать мне конформистом,
дорогой товарищ.
Чистый, чтобы прокормиться,
звук не отоваришь.
Мне не петь в народном хоре
лихо, разудало:
«Во Содоме, во Гоморре
девица гуляла...»

***

Я не любитель мнений,
податливых на миг.
Но вы, конечно, гений,
коль исходить из них.
Известно ли алмазу
число его карат? –
а вы вписались сразу
в оценок прейскурант.

***

Всё к худшему. Души
тратят до поры –
известность снаружи
или изнутри –
безвестность. Где решка,
где орел? – но ведь
важно, что же между них –
золото или медь?

***

Как она свои стихи читала? –
руки пред собою протянула,
словно в них листочек, испещренный
точным героическим звучаньем,

но листочка не было, и руки
сами напрягались, словно память,
напряглись глаза ее, как мышцы,
став еще прозрачней и светлее,
прямизна осанки затвердела,
как бы от самой себя отпрянув.

Если бы тысячу лет вода стояла,
не старея, не испаряясь,
за всю тысячу лет ни разу
не плеснувши, не колыхнувшись,
затвердела б вода, как слиток:
гладкий, теплый, не лед, а твердый,
неподвижный и влажный – вот как
твердо эти стихи звучали.

***

Когда упавшего пророк
пинает пса, чтоб не подох,
мне б очень не хотелось знать,
приятно ли ему пинать
под ребра, в морду и под зад...
Пес выползает в серый сад,
перевалившись за порог.
И в руки взял себя пророк.

***

То, что я опоздал к обеду,
к крошек шапочному разбору,
то, что я между двух застолий
оказался, как меж двух зайцев,
я считаю своей удачей,
участь, выпавшая мне поздно:
гостю в этих застольях тесно,
как за пазухой тесно камню.

***

КРАСИВЫЕ БУКВЫ –
но их завитки,
чтоб кровью набухли,

как вены руки,
виясь безотчетно,
как танец иль дым,
чтоб смысл был отчетлив
и неуловим.

АКРОБАТИЧЕСКИЙ ЭТЮД

Неестественность искусства –
корчи естества.
Так гимнастки стройной русло
извивается,
так гимнастка, словно слово,
гнется – видит Бог:
у нее, как у коровы,
груди между ног.

***

«Иные смерды
Богатые,
Гребли золото
Лопатами»

(Подблюдная – к смерти)

Знать не знал я лермонтовской скуки
и поднесь не знаю скуки бродской –
скуки романтической иль скуки
интеллектуальной – любопытно:
суть у этих скук одна и та же –
слишком нелюдимая гордыня,
на своем стоящая, как камень,
иль как белый день в краю полночном:
скучно, долго, ясно, очевидно –
зелень стала серой, синь напрасной,
лопасти теней полдневных стерлись –
времени течение лопатой
не гребут, как мужички из песни –
золотишко солнечного света –
низко солнцу, облакам прозрачно,
призрачно немеркнущим предметам –
скука – разновидность дальтонизма,
белым столь присущая ночам.

Я ж позорно развлечен, как в детстве
иль в порочном отрочестве, в прорве ль
юности пустой и ненавистной –
ИНТЕРЕСНО жить мне: и поднесь
я дивлюсь завзятому злодейству,
подлости людской бесстрастью, либо
доброте столь самоочевидной,
словно чудо, но всего сильней –
этой вот ЕСТЕСТВЕННОСТИ дикой:
словно капли падают за ворот
в марте, словно слова не воротишь –
ей невнятны ни добро, ни зло.
Не перестаю я удивляться
женщинам – их красоте-коросте,
музыке – беспамятства звучанью –
иль искусству, чей закон – условность –
ставит под сомненье звук и цвет.
Я готов буквально съесть до буквы
Книгу, что годится не пороку –
лишь пророкам в пищу... В полной тьме –
рад не рад – а вечно что-то ищешь
лихорадочно – и пусть не свет, а отсвет
чуть забрезжит – до чего заманчив
он для ночки... Где уж тут скучать.

***

...И читал-то я за эти годы
раза три – не более – публично,
и хотя в компаниях различных
я читал, но было впечатленье
одинаковым: казалось, в каждом
из собраний этих мне встречался
человек всегда один и тот же
(хоть не мог он быть одним и тем же,
но, однако, несомненно, был):
ставил он еврейские вопросы,
ждал на них – смущенья – не ответа,
не дождавшись, сокровенно злился
и сидел от этого прямее
на прямом, как гвоздь, советском стуле,
и хотя хотел, не ухмылялся,
и хоть ухмылялся – не нахально.

ГОРАЦИО

Но дальше не молчание, а то,
что нам поведает Горацио-Вергилий,
как эхо иль как попугай твердивший
вслед Гамлету его слова – вопросы
в ответы обращая расстановкой
лишь интонационных ударений,
и в подражанье чуть не перешедший
границу жизни – он расскажет всё
неудовлетворенным: то-то эхо
в потемках станет ухать, словно филин,
а попугай, изображая трель,
картавить на безумный лад – ведь Гамлет
так хорошо сыграл безумье лишь
по той неизлечимейшей причине,
что был безумен и без представленья –
сам по себе – что ж станет повторять
Горацио в берете виттенбергском,
разумный, как термометр, в котором
температура чуждая снует
то верх, то вниз?.. (Вот для чего Шекспиру
пришлось пересказать нам всё заранье,
использовав кровавый материал:
впрок школяру поэт не доверял
дальнейшего молчанья...)

***

Расти, готическая ель.
Дуб, корчись, словно корни.
Звучи, звучи виолончель,
искореняя скорбь,
и ни о чем, и ни о ком
не забывай, не помни –
но неподвижность душ смычком
замедли и ускорь.

***

Удел летучей мыши:
в тисках ночных округ

всё мечется, и свыше
ей дан лишь зрячий звук.
А днем средь вечной грязи
в звучанья кладовой
она, подобно фразе,
висит вниз головой.

***

Побочен белый свет,
бессмысленно обычен,
и тысячами лет
насыщен миг не впрок.
Остыл горячий чай,
и светлячки обличий,
чуть вспыхнув невзначай,
исчезли между строк.

***

Хоть средь безбожнейшей столицы,
но так же, как в святой Руси,
на Тихона стихают птицы,
и визг предутренних такси
не глушат хором. Перемены
птиц не коснулись, как систем,
хоть молкнут на Афиногена
они, как люди: насовсем.

***

На прощанье спой мне –
хоть что. Не молчи.
Разве не достойны
мы притолоки хоть,
порога высокого
да лая в ночи?
Подождет до срока твой –
уход так уход.

***

Без значенья помолчим,
словно камень скинем с плеч –
ты, кручина, не кручинь,
ты, переча, не перечь.
Это мы на склоне дней,
словно миг один, одни –
ты, желанье, не жалей,
ты, сомненье, не сомни.

***

Был воздух млад. Был молод
удел наш. Словно дым,
висел над нами город
огромный. И над ним
летали птицы ало,
лилово и пестро,
и каждая роняла
бескрылое перо.

***

Гуляет где-нибудь и он
средь осени лесин,
беззвучной музыкою полн,
как нотный магазин,
беззвучной музыкою полн,
как диска, что разбит,
кусочек острый... Испокон
гуляет паразит!

***

Кто к людям безоглядно
измлада был влеком,
кто собственные пятна
в них не искал тайком,
того предаст товарищ,
тот станет нелюдим
под старость, как пожарищ
охолонувший дым.

***

На площади – садик,
в садике – скамейка,
на скамейке – девочка,
рядом с нею – мальчик.
Девочка не плачет.
Не смеется мальчик:
чаял да отчаялся,
мнил, да усомнился.

***

Нависают веки.
Обострился нос.
Опустились руки.
Но на любой вопрос
серыми губами
(на языке налет)
мы отвечаем сами
и за себя лишь: нет.

***

Остается надеяться лишь
на созвучий безлюдную тишь,
на деревья – дай Бог им ветвей –
на приземистость псковских церквей,
на печной изначальный огонь,
на друг друга родную ладонь
да на небо, где – с веком не в лад –
только птицы да звезды летят.

***

День светал окрест,
как надеялся.
Снег лежал, лежал,
да не выспался.
Ближний лес стоял,
будто ждал чего.
А дальние леса
удалялися.

***

Приземисто с утра.
Бок о бок спят ухабы.
Когда и в путь пора бы
и вообще пора,
полей бескрайних голь
проговорила логу:
«Присядем на дорогу».
И лог сказал: «Изволь».

***

Дачи заколочены.
Ночи безоглядны.
Дай нам Бог собачьего
лая за версту.
Дай нам хоть обочину
от пути... и ладно,
и довольно – нечего
клянчить попусту.

***

Кровавая зелень
осеннего дыма
и неба высокого
стог.
И то, что прекрасно,
то необратимо,
как зелени красный
листок.

***

Я – дачный, навеки
покинутый дом –
холодный и ветхий
с прогнившим крыльцом.
Но видели вдосталь
вблизи и вдали

забитые досками
окна мои.

НОЯБРЬ

Пусты конурки дач.
Участки кривобоки.
Прозрачны сучья, сроки.
И воздух гол, бродяч –

в штакетниках густых,
заборных сетках. Это –
весь скрип калиток лета
на ржавых петлях стих.

Твоих пустот, зима,
уже пустуют знаки:
бездомные собаки,
безлюдные дома.

До срока, хоть сама
уже почти приспела,
сорокой черно-белой
прикинулась зима.

И стала настом слизь
ухабов, ям дорожных –
в нем свежезаморожен
антологичный лист.

Лес хвойным стал. И пуст
в его сырых отрогах
столбов четвероногих
высоковольтный путь.

Всё – в одиночку, врозь
и коль оттаял иней,
алеет на рябине
несклеванная гроздь.

...Так в солнышке косом
ноябрьских дней бесславных
мы шли нарезать лапник
с моим живым отцом.

***

Поначалу сходились мы
в дни рожденья недавнего,
в дни набора армейского,
на гуляньях на свадебных,
а теперь, коль увидимся –
у могилы у глиняной,
средь хлопот погребения,
на поминок безрыбии.

***

Девять дней живет в дому
душа, отлетевши.
По окрестному холму
бродит сорок дней,
по низине, по холму
бродит безутешно
и уходит, потому
что простились с ней.

***

...Холодеет матрац.
Всё пустыннее в думах и домах.
Теплые уголья глаз
розовеют в бессонной золе.
На том свете у нас
всё больше родных и знакомых –
само понятие «аз»
всё бессвязнее здесь, на земле.

ДВЕ ЭПИТАФИИ

1.
Свет дальновидной звезды мы узрим даже –
вечность в него не зря подливала масло.
Мы называем его звездой – звезда же
давно погасла.

2.
Днесь наконец поэта-страстотерпца
мы обрели могилу при прощаньи
с прахом той, что так долго несла под сердцем
его молчанье.

31.12.80–2.1.81

ДВЕ ЭПИТАФИИ

1.
С трубкой, улыбкой, тростью снова в гетто
света того, в той залетейской бреши
да разрешат заздравному поэту
пить Аджалеши.

2.
Отрок поэзии русской, не крививший
уст своих подобающей гримасой
глубже теперь он стал, зато и выше
судьбы негласной.

***

Пусть память как-нибудь
сама отыщет броду:
так берег входит в воду
по пояс и по грудь.

В беспамятства союз
вступая добровольно
и превращаясь в волны,
я в землю окунусь.

***

Но я пожить еще не прочь
под птичьим небом. Въявь
увижу, может быть, точь-в-точь
песков балтийских вплавь,

и буду бос, и буду гол,
и наступлю, Бог мой,
шальному морю на подол
атласный, кружевной.

***

Уж коли из смерти в мир мы
явились, как из-за ширмы,

чтоб жить и достигнуть снова
лишь небытия былого,

то песенка наша спета –
мы выходцы с того света,

мы сами – посланцы смерти.
Но это не так, поверьте.

***

В век аббревиатур
объятия короче,
короче дни и ночи,
веревочка и шнур.

И над тобой, земля,
над прорвою финалов,
мы, как инициалов
сплетались вензеля.

***

Обладают ли душой
ангелы? Иль сплошь
из души они одной
состоят? А рожь
их кудрей, а облак крыл,
взор острей ножа –
неужели, Азраил,
всё это – душа?

ПРИ СЛИЯНИИ

1982–1983

ПСКОВУ,
граду речному и «вечному»
Дому Животворящей Троицы

***

Нет, ни в верстах и ни в часах дорожных
стоит от нас сей Псков, а много дальше –
за младости неладной пеленою,
за отрочества призрачностью чистой –
в младенчества потусторонних вспышках
ярчайших он является нам, будто
зарница-озорница вырывает
из вязкой ночи звуки – клочья мрака...
а хочется нам верить в озаренье.

***

Во Изборске Старом
куры запевают.
А во Гдове вдовы
по воду сходили.
Во Печерах черный
звонарь пробудился –
к заутрене ранней
братию сзывает.
Во Плескове* скоро
праведников трое
ко Живоначальной
Троице сойдутся.

***

И в За́псковье – закат.
И в За́величье – вечер.
(Ко вечере звонят
средь бела дня.)
Уже сошел народ
со службы – спины, плечи –
над ними восстает
оплот Кремля –

* Плесков – старинное псковское название Пскова.

прозрачный силуэт
сих башен, стен высоких –
пройти его иль нет
насквозь? Гляди:
всё по местам своим –
Никола со Усохи,
Василий, Михаил,
а впереди –

углы на склоне дня
Козьмы и Дамиана,
храм Богоявленья –
сей сколок лет,
и звонницы фасад
могуч. Хоть ночь, но рано:
и в За́псковье – закат,
и в За́величье – свет.

***

А Великая река
она как велика? –
как великое терпенье –
застоялись берега.
Как Пскова-река одна
до слияния видна? –
как великая усталость –
еле поднялась со дна.
Как Мирожки – от
ручеек течет? –
как великая погибель –
мельче собственных болот.

***

Тиха Пскова – и рыба не плеснула,
и камня в реку дикую не бросил
никто, а все идут по алой глади
круги, круги, как кольца на надрезе
древесного ствола иль отпечатки
незримо чьих, но осторожных пальцев.

***

Не слыхали, не наслышались
звону Божьего, Господнего,
звону медного, зеленого,
звону красного, малинового –
здесь на звонницах-то нет колоколов,
а коль есть, то безъязыкие,
безъязыкие, безгласные,
словно песня – бессловесные.

***

А Великая река,
хоть мала, да велика.
А Пскова-река лежит
тише стеклышка.
А и Кремль меж них
не ворохнется стоит.
Перед тем, как стечься им,
встал Предтечи храм –
встал Ивановский собор:
три креста, один запор.

***

Спины и плечи
толпы быстротечной людской.
Вечер как вечер –
он тихо глядит из-под век.
Храм Иоанна Предтечи –
один над рекой.
Храм Иоанна Предтечи
пред встречею рек.

*(КРОМ. ПРИКАЗНЫЕ ПАЛАТЫ)**

Приказного крыльца изломы
на столбах бочковатых, тучных –

* Кром – псковское укромное название кремля.

точно змей из палаты выполз –
многолапый, нелепый – трижды
изогнулся и грозно замер,
затаивши дыханья тяжесть,
дыбом дерево кровли встало
чешуи булатной подобьем – ишь:
подавитель и пожиратель,
страшный рыночный змей-горыныч.

***

Уж хорош Никола, что от Торга:
посегодня народ под ним торгует.
Еще краше Никола со Усохи,
и болота под ним как не бывало.
А Никола у Каменной Ограды –
рад не рад – совсем один остался:
ниотколь не виден за домами
ну, хотя б главы его клобук
на улице Розы Люксембург.

ЧАСОВНЯ «НЕУГАСИМАЯ СВЕЧА»

Свечи перед иконою
Николы-свет Угодника
нет нынче и иконы нет
в часовне, прилепившейся
к Николе со Усохи – лишь
тонкая, благолепная
главка над нею теплится
Свечой Неугасимою.

***

Звонница Вознесения
Нового всё возносится
и что ни день, то сызнова
над церковкой укромною,
над тучей, и молчание
ее пролетов ярче лишь,
сильнее, оглушительней

без колокольной окиси,
что зеленей окрестного
нашего лета красного.

***

Купол Спас-
Преображенья.
Сколько яви
в нем слилось:
капля меди,
капля меда,
капля крови,
капля слез.

***

Круг Козьмы и круг Демьяна
на склоне горы и дня
кони карие пасутся –
три стреноженных коня –
не гремит Гремячья башня,
глядя бережно на них:
как пасутся кони влажно,
превращаясь в вороных.

***

Поминутно ходит солнце средь ветвей.
Посолонно ходят тени вкруг церквей
крестным ходом, крестным ходом –
а коль церковь над рекой –
аки по суху, по водам
крестный ход идет такой.

***

Как под травами – коренья,
таковы и подцерковья.
Как приход сошелся верный,

так сомкнулся четверик.
Как недвижно крыл паренье,
так застыл разлет притвора.
Как при матери младенец,
так при церкви – бел-придел.
Как дыханьице невзрачно,
так апсиды воздыхают.
Словно царь со службы вышел,
таково во храм крыльцо.
Каково родство укромно,
так под кровлей закомары
византийскою высокой
даже бровью не ведут.
Чем на небе птиц поболе,
тем и кровля многоскатней.
Век себя кругом обходит
по-над кровлей барабан,
как обходит крестным ходом
белый храм народ пасхальный.
Как следы в снежок запали,
так под куполом узор.
Каково свисает капля
долго с облака благого,
таковы и налитые
эти капли-купола.
Как в золе огонь остался,
так и в гонте – огнь древесный.
Как над реками – стрекозы,
так над церквами – кресты.

***

Облака стали плотью –
долговаты, круглы ль –
куполов поголовье,
глав и главок горбыль –
шлемы, луковки, маки,
полусвет полусфер –
и озерный в размахе
не разгонит их ветр.

***

А у храмов здешних
дыханьице – пух.
Нет, не дышат пышно
абсид их меха.
Невесомо, каменно
средь строек-разрух
тихо за деньками
стоят их века.

***

А разводы-валики,
как узор на прянике –
на прянике будто –
печатные буквы.
А и прясел вмятины
на сахаре стен,
как в прянике мятном –
глянул – будто съел.

***

А под куполом идет
тут узора хоровод –
чьи следочки из земли
на него посрезали?
Уж и сладок всяк следок –
то-то водится танок*
под главою гонтовой –
не расходится домой.

***

Втиснут в ряд с домами,
как в скитанье – скит,
бьет притвор крылами,
бьет притвор крылами,

* Танок – хоровод.

бьет притвор крылами,
да не возлетит,
или, тужась тетивой
в пустоту над нами,
целит он углами –
звонницы стрелой.

***

Было дерево карим –
стало сивым, как сумрак, как дым,
было смуглым веками –
стало серым, устало-седым.
Кровлею ли на храме,
гнута ль лемехом в главах она
иль над башен «кострами»
серебрится дерев седина.

***

А каково теням вольготно –
вечерним, утренним и дневным –
на этой извести церковной,
на сей блаженной кривизне –
округло, угловато, прямо,
устойчиво или покато,
то выпукло, то углубленно,
то высветлено, то темно,
то явно слишком, то уютно,
укромно, потаенно или
прозрачно, призрачно ли – словом,
различно – замечательно!

***

А как они дышат? –
как будто не камень, а мех
кузнечный. Гори же,
сиянья алтарного горн.
И камня прохладу
вдыхай же, сияние всех

свечей и окладов
и ликов в глубинах икон.

А как же пустует
теперь эта кузница их
и пьет вхолостую
дыхание ветхих мехов?
Вино или млеко? –
чем храм опустевший налит –
нет, эхом, как некой
он влагою полн до краев.

***

Храмы-то набухли
пустотой без блага –
мертвые, как буквы
из Слова Живаго.

Или живы линии
тайной жизнью слов –
полевые лилии
главок, куполов?

***

Дерево – цветений сплав.
Сочен, коренист –
силуэт любой из глав
церкви – вечный лист:
иль зеленый, словно лес,
заржавелый ли –
лист – застывший соков всплеск
солнца и земли.

***

Серебрится, яко
райская змея –
кровельная дранка,
гонта чешуя –

хоть и не сгорело
дерево дотла,
стало его тело
серым, как зола –
будто пламя съело,
а память сберегла.

***

Что же видят издалече –
из былого лютой сказки
бровки* храмов – спины, плечи
да мотоциклистов каски,
тусклые затылки или
отражения своих
стен былых в автомобилей
задних стеклах ветровых.

***

Есть и люди во Пскове
(кто не видел людей?).
Но мельканье людское
к благолепью церквей
непричастно: настолько
посторонни они –
эти люди – устоям
собственной старины,
что почти незаметны
рядом с этой красой –
столь странны, несусветны,
что НЕСХОЖИ С СОБОЙ.

***

Улеглось волненье
арок, закомар.
Кривизну прозренья
подточил комар.

* Бровки – углубления в стене, в которые «топились» окна; как бы глазницы окон.

Прихоти насущность
нам понять слабо.
Стало в мире скучно,
скученно. А по

городам и весям,
замесив бетон,
ходит бес с отвесом,
яко со хвостом.

Строже, чем орнамент,
он на нас глядит,
заложив фундамент,
яко динамит.

***

Летом далече до ночки.
В небе над Псковом речным –
ласточки, чайки да летчики,
голуби, ангелы, дым
фабрик да рябь воробьиная,
облачности паруса
и, как былое, незримая
звезд непроглядна краса.

***

После зорьки алой
по ночам по белым,
по ночам упрямо
ночь белее храма,
храм белее ночи,
ночь белей, чем очи
подколодной чуди здешней,
чуди белоглазой.

***

Солнце вечное,
беспречь свети!
В тебе ночка-глубь –

как в тихом омуте.
Церковь, как в цвету
яблонька одна.
На белом свету
нам и ночь красна!
а и насквозь видна,
как пить до дна:
эх – была не была –
нам и ночь бела!

***

Богородица ходила,
следу Божьего искала,
во оставленные храмы
проникала сквозь затворы,
со Пароменья Успенье
напоследок оглянула –
среди бела денька Дева
одинешенька, как ночка.
Каково во Пскове людно,
таково ей одиноко.
Каково во храмах пусто,
так никто ее не узрел.

ИЗ СОФИЙСКОЙ ПЕРВОЙ ЛЕТОПИСИ

...В семь тыщ восемнадцатое
лето с сотворенья
мира Божья, генваря
в день тринадесятый
изволил Великий Князь
изволить две воли:
веча бы у нас не быть,
снять колокол вечный.

Поиманы Богом
и Великим Князем –
волен Бог и государь
в вотчине своей он,
во Плескове и во нас,
в колоколе нашем,

в вечном колоколе и
гуле его вещем.

...Опускался долу
колокол, что солнце,
и, на колокол смотря,
плакати начаша
вечники-крамольники
псковичи – от мала
до велика (токмо
слез не испустили
кои млады и зане
не в разуме сущи) –
как им не упали
зеницы на землю,
зеницы на землю
со слезами вкупе?
како не урвалось
от корени сердце,
плачучи по старине
и по своей воле?

...Поклонившись Троице,
князь начаша править –
правых, виноватых
по себе твориша.
От насильства, грабежа
разбегоша многи,
пометав детей и жен,
в города иные,
иноземцы во свои
земли разъидоша,
и осташа во Пскове
псковичи едины.
Некуда, Заступница,
от себя успеть:
ЗЕМЛЯ НЕ РАССТУПИТСЯ
А ВВЕРХ НЕ ВЗЛЕТЕТЬ.

***

С той поры, как царь Иван Васильевич
(а точнее, царь Василь Иваныч)

выводил измену изо Пскова,
Псков навек остался неизменным,
а коль изменялся – неприглядно,
как душою брошенное тело
страшно изменяется – хоть прибран
прах, омыт водою ключевою,
прежде чем для вечного прощанья
всем на поглядение поставлен.

***

Ищи ветра в поле...
Во бору – дорог.
Во нашей неволе
волен князь да Бог.

Как полей раздолью
мерою – сыр-бор,
так и своеволью
мера – произвол.

И когда над полем
лес зайдется в дым,
уж мы поизволим!
уж мы похотим!

***

Каждый храм во Пскове
сам себя укромней,
каждый храм во Пскове
сам себя огромней:
хоть велик – уютный,
хоть и близок – дальний,
хоть миниатюрный,
но монументальный –
ширь и высь в обличье
тесное впитал он:
велико величье –
обойдется малым.

***

Ан не вывернуть нам
храмов наизнанку –
двоеличие стенам
вечное дано:
уж снаружи-то стена
стеснилась, как правда,
а внутри, как истина,
раздалась темно.

Уж наружа-то видна,
а нутро укромно.
Всяка истина – стена.
Всяка правда – прорва.

***

Знать, теснее извне, чем внутри,
храмы псковские, но до поры
в этот их первозданный секрет
нету входа и выхода нет –
не войдет, не воскликнет позор:
«в тесноте Ты давал мне простор»,
до пределов небесной красы
«в скорби распространил мя еси».

***

Чрез звонницы основу,
чрез мощный четверик,
как будто через слово,
мы смотрим через них,
и сквозь теснины-своды
мы видим скорбь-страну,
как будто через воду
или через весну*.

***

Пуста, аки бездна,
храмов старина –

* Или: через вину.

вера БЕССЛОВЕСНАЯ
в ней заключена –
посильнее искуса,
попустей поста –
хоть извне неистова,
а внутри пуста.

***

Расцвет – он мастера, как сок,
всего всосет из почвы
и вместе с именем его
поглотит – не беда:
потусторонен, словно Бог,
творения воочью,
жив мастер – легкая стопа
во глубине следа.

Упадок-дока имена
творит: играет ими.
И за соломинку труда
напрасно ухватясь,
сам мастер до трясины дна
в свое уходит имя –
и лопаются пузыри
земли: поверхность, грязь.

***

По обету кончане
во един Божий день
«однодневку» кончали
деревянную – пень
от грядущего древа,
что повырастет здесь...
Однодневку напева
я сложу Тебе днесь*.

* Конец – административный район древнего Пскова; кончане – его обитатели; однодневка – деревянная часовенка, которую непременно в один день ставили всем концом на месте будущего обетованного храма.

***

Безымянные зодчие
вместо смертных имен своих
оставляли воочию
имена, духом полные –
имена ли предстателей,
имена ли всея святых,
имя ли Божьей Матери
или имя Господнее.

***

Из земли они восстали,
словно праведники после
гласа трубного, и трупно
тление преодолели:
как и праведникам круто,
как и праведникам вольно,
таково церквам округло,
таково краеугольно.

***

У Пароменья в Примостье
лик ликуют слитки стен –
церкви белые, как кости –
мощей, превозмогших тлен.
И в укор нагим руинам
новостроек, древний Псков
не исходом, а зачином
мнится мне, времен исход.

***

На тесноте замешан
церквей съестной простор.
Ты не глядишь, а ешь их –
есть что-то от просфор
в их очертаний сдобе –
и пусть мой образ слеп,

но камень их съедобен,
как обращенный в хлеб.

***

Пусть проста простота,
но хитра:
от нее, как от зла
до добра.
В том секрет ремесла
сих церквей,
что добро проще зла,
хоть трудней.

***

Жаль, что с нами не было
отца – до могилы –
золотой его мечтой
зодчество осталось.
Жаль, что с нами не было
дорогого друга
Севрюгина и его
детей златоглавых.

***

Кабы звезды виделись
среди бела дня.
Кабы храмы ставились
сами в одну ночь.
Кабы пели звонницы
без колоколов.
Кабы вера верилась
сама по себе.

***

Как во Пскове стоят
храмы древние
меж безбожных домов?

А вот так стоят:
ты и шаг не шагнешь,
а приблизишься,
ты рукой не подашь,
а заручишься.

Приложение

ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ В МАРТЕ 1969 ГОДА

1. ОТЕЦ АЛЕКСАНДР

Вот прошли мы Святые Ворота
за Николою Вратарем сразу,
словно из-под земли, вдруг явилась
всей обители глубь перед нами:
храм Успенья, огромная паперть...
Рядом с звонниц, церквей белизною
белый снег, белый свет не мирскими,
а иными казались. И в этой
белизне вдруг пред нами явился,
словно туча, отец благочинный
в облаченьи воистину черном,
с черным взором, но взора чернее,
лик его обтекая, струились
влас ручьи и ручьи благочинной
бороды: в ней играл всякий локон
круто, властно и иконописно...
Но потом оказалось – не столь уж
был похож он на В. Соловьева,
как сперва нам со страху казалось –
нет, глаза его не полыхали,
а глядели упорно и глухо,
терпеливо, но ревностно (впрочем,
это сходство ему не пристало б
и по чину). Отец Александр
не способен был к мудрости – страстью
почитая ее (и недаром),
мыслил он только строгостью ясной,
незлобивой, покладистой даже –

и, советы свои изрекая,
чуть похож он был на замполита,
что в политике вовсе не смыслит,
пьянству бой арьергардный давая.
Прост как перст был отец Александр –
лишь во время служения в храме
вдруг блаженно он преображался –
простота его делалась сложной –
здесь не брал прямотой он и ростом,
умалялся в предстательстве Слову,
и светлее, осмысленней, глубже
взор его становился... и краше
был Владимира он Соловьева.

2. МЫСЛЬ

Дьякон, с коим снег мы вывозили
с паперти за древние ворота,
уставал от молодости, силы,
долгих служб и свежести воздушной –
засыпал, санями правя – так что,
раз уж чуть мы не перевернулись,
за двоих грузил и разгружал я
свежий снег, чтоб дьякон отдышался.
И пока пластал я снег красивый,
в голубой овраг его бросая,
он, борясь со сном, его беседой
одолеть старался – бережливо
тратя голос низкий, каменистый,
странный без акустики церковной.
О себе распространялся мало
он, сказав лишь, что армейской службой
раз насытясь, обратился к Богу
и жалеет, что учился мало,
что хотел бы промысел Господень
он постичь в напастях всероссийских,
что в столице, чай, народ ученый
знает лучше, но и он, однако,
сам дошел до мысли, до догадки,
размыслив над злосчастьями страны –
мысль на морозе прозвучала кратко:
«Есть мученики и у сатаны».

3. ПИТИРИМ

Маленький, тряский.
В серой ряске.
Не по летам веселы
маленькие глазки.
Да и сам проворен
Не по летам –
по своим ста двум годам –
в жестах, в разговоре ль.
А и разговор-то
его птичий –
как по кочкам скачет речь
издалече.
Пел в Александринке
он при Александре
III. Тенором он пел
превысоким.
Был дороден Александр –
куды Николаю! –
я обоих видел сам,
а всё не помираю –
не берет меня Господь
до времен последних вплоть.

4. МАРТ 1969

В первых числах марта
мартом и не пахнет –
снег февральский пышен,
лишь на зорьке пышет
попоздней, подольше
его хладобойня,
да голые ветви
разве что цветнее
стали – не начертаны
тускло, одномастно:
ожили оттенки
их замерзшей кожи –
лиловей, краснее
иль зеленоватей
стали. Но на месте
зимние морозы,

и в деревьях сонных сок
тоже неподвижен.

(Суть весны, художник,
в освещенье, в свете,
в воскрешении цветов
словно бы из мертвых.)
Суть весны хотя бы
в том, что на морозе
в первых числах марта
августом не пахнет.
Оттого монахи
меж трудов и службы
слушают по кельям,
словно пенье птичье,
из «Спидол» пластмассовых
о весне о Пражской
нездешние вести,
рассуждая чинно:
верит в Бога или нет
этот самый Дубчек.
(В том и сила звука,
что его оттенки
внятны нам и в темноте
в отличье от цвета.)

5. ДВОЕ

Как и память за забвеньем,
так обитель за стеною,
за стеною нерушимой,
на которую Баторий
только зарился по-польски,
только блазнился по-пански.
Изовне стена крута –
выпускают ворота
только призраки безлики
из монастыря свята.

Безымянной братьи средь
два послушника безликих
мне придут на память впредь.
И один из них – юрод

напоказ псалмы поет,
напоказ же надрывая
в трудах праведных живот.
Звук заслышав богохульный
от хохлов-семинаристов,
он ближайшее к ним ухо
крестит, крестит ноздри, рот.
Щупловато, дико молод
и наследственно безлик,
он презрения немого
в братии к себе не зрит.
Он во храме станет так,
чтоб отец заметил всяк –
отвращает благочинный
от него свой взор в сердцах.

А другой послушник некий –
он намеренно безлик –
днем свою скрывает силу
за сноровкою труда
и усердие немое –
за подобием улыбки,
что скользнет, не выдав мысли,
и исчезнет без следа
на лице его пустынном,
как бесследная зима.
Он теряется во храме
многолюдства, но, когда
засыпают в келье братья,
он легко и осторожно
поднимается к распятью,
молится почти безмолвно,
но как дневные труды,
словеса его упорно
бескорыстны и тверды.

6. ОТЕЦ АЛИПИЙ

Настоятель же отец Алипий
не глядел он полной глубиною
глаз своих, а щурился вполсилы
и чуть-чуть хитрил, в улыбку пряча
от нелепых нас, от непричастных

страшное, как чудо, прямодушье,
что ему присуще было прямо –
пастырского посоха прямее.

Хороша была его усмешка:
он шутил над нашею мирскою
дурью, как родитель благодушный
над ребячьей шалостью пошутит,
не соря суровостью напрасно,
для себя всю строгость сберегая,
как хозяйка – питьице и ество
в ожиданье Гостя дорогого.

7. АЛЕКСЕЙ

А звонарь-то Алексей-заика
пред своею звонницей воскресной,
как Давид пред скиниею, скачет,
словно он к колоколам привязан,
и на нитках, как марионетка,
дергается, звону повинуясь,
воздух бьет подрясника крылами
не своей, а Божескою волей.

От великой доброты душевной
заикался он, переполняясь
добрым словом, и, нагрянув в горло,
птицею в силках – словечко в связках –
билось, и, провещаться стараясь,
Алексей сильнее улыбался
и махал руками, словно птаха,
выше смысла звучного взлетая.

МГНОВЕНИЕ ОКА

1983–1985

1. ПОБЛЕСКИВАНИЕ БРЫЗГ

«Шел дождь и перестал
и вновь пошел».
Пушкин

***

Весны прочитано письмо –
у каждой веточки свой почерк.
И ветра влажное весло
гребет листву. Она из почек
сперва блеснула мал-мала
и, к горлу хлынув, залила
собою города ущелья...
Но в чем же смысл сообщенья?

***

Пахнет ли вода голубизною
так, как глубиною пахнет всяк
всплеск ее? – Не знаю, брат, не знаю.
Или вспомнить не могу никак.

Пахнет ли отлив ее лиловый
тем, что он на деле зелен, ал
на заре? – Не знаю, право слово.
Позабыл, наверно. В детстве знал.

***

За городом где-то,
но солнце встает.
Лиловое лето,
и город-разброд.
Но из перламутра –
бетон, зеленя.
Прохладное утро,
но жаркого дня.

***

Сквозь затененный дом
пройти под яркой аркой
из ночи с холодком
в «день явно будет жаркий».
Оврага пять минут –
зеленая утроба –
и сонным в сонный пруд
нырнуть: проснемся оба.

***

В пруду – и как возник он
среди асфальта дик? –
плыть на заре средь бликов
и отблесков младых
иль вечером средь жженья
лиловых вспышек – «Эй!» –
иль днем средь отражений
небес и этажей.

***

Вот Дантов, как в призме,
но пляж, а не ад.
Валяются жизни,
и судьбы лежат.
Вот рок без покрова.
Но тешатся ишь –
и старец лиловый,
и сизый малыш.

***

Из золотой волны волос
своих возникнув словно,
спит дева в клевере – он рос
вот также въявь укромно –
вся – то падение, то взлет,
то встреча, то разлука...

И по бедру ее ползет
всевидящая муха.

***

Изваяние – Роден? – Майоль, скорее,
через пару лет, глядишь, и Генрих Мур,
изваянье женщины – за нею –
травы, город, облака амур.

Изваяние из плоти, пота, лета
шевельнулось: «Где очки мои?»
Изваянье прикурило сигарету.
Изваянье почесалось: муравьи.

***

Средь здешнего ада
(сплошные азы и зады) –
редка, диковата,
себе же в диковинку ты,
как райская птица
среди земноводнейших птах,
как радость бесстыдства
в младенчески чистых глазах.

***

Мгновенна вспышка плоти
небес и лет среди.
Вот так мелькают люди
средь пляжной тесноты.
И тел их перепевы
печальнее могил.
И без одежды девы,
как бабочки без крыл.

***

Надворных бликов пляска.
Поблескиванье лиц.

В тени в своих колясках
младенцы родились.
Отец ушел в газету.
Мать торопливо спит.
Высоцкий с того света
им песенку хрипит.

***

Вот созерцатели зеркала вод – рыбаки.
(Окуни водятся здесь, говорят, и бычки.)
Удочки их, словно длинный и скучный рассказ:
карпа в подводной траве они видели раз.

Рядом – зигзаги чуть голубоватых стрекоз.
Именно голубоватых, не синих – белес
цвет их, прозрачен на солнце и даже в тени –
выцвели словно со времени детства они.

***

Сам дернувшись, как поплавок, мальчишка
подсек, и леска молнией блеснула,
и рыбка прыгает по серому асфальту,
как будто выброшен на берег плеск воды.

***

Моржи это люди
такие. Гляди:
их плоские груди,
их прессы тверды,
всяк бицепс из стали,
всяк жест их из жил,
но всё застилает
спасительный жир.

***

Тела перепевы.
Всё плотнее плоть

юноши иль девы.
И, глядишь, вот-вот
опустеют лица,
глаз померкнет зной –
плоть навек сплотится
до себя одной.

***

Жарко. Душно. Сухо.
Всё плотнее плоть.
Вытесненье духа
происходит. Хоть
дышат где-то в центре
легкие-меха,
полные процентами
этих ПДК.

***

Смешались даль и близь
в наплыве горизонта,
и встрепенулась сонно
дерев дневная слизь.

Обрушилась на град
воздушной влаги глыба,
и небо, словно рыба,
блеснуло где-то над.

Погасло красоты
прекрасное далёко.
Но, как глаза, зонты
раскрылись многооко.

***

Взрыв грозового дыма.
Как паровик, гроза
прогрохотала мимо,
пустивши пыль в глаза –

земную и из влаги...
Вкруг ветра-сорванца
деревья, как собаки,
отряхиваются.

***

Ненастья серебряный век. «А вода какова?» –
нетронутым блеском покрыт ее внутренний
холод,
и на ноги встала, примятая было, трава,
очнулись кусты и две яблоньки диких. Приходят

на пруд нынче только нагие спортсмены-моржи,
сверкая клыками улыбок. Вдоль берега, впрочем,
недвижно стоят рыбаки: в их душевной тиши
карась не плеснет, воробей не подпрыгнет.
И очень

довольны они на безлюдии гладкой водой.
Вчерашнего плеска в траве зеленеют осколки.
И кажется сказкою ясности век золотой.
И туч вороных серебрятся загривки и холки.

***

Ненастье. Охладев
к своим теням, стоят
развалины дерев
и зданий невпопад.
А ветр – пространства зуд –
деревьев мнет бока.
И как на Страшный Суд
несутся облака.

***

В день холода и света,
когда ясней, чем в зной,
и мимолетность лета,
и сердца стук дверной,

свод неба глубью дневной
наполнен – ярок, крут –
раскроет над паденьем
спасенья парашют.

***

Стоишь, озираясь, но кто ты и где?
А, впрочем, кто б ни был – везде тебе тесно –
по пояс в младенчески чистой воде,
по пояс в отеческом своде небесном –
над плоской водою торчишь поплавком,
но с кем-то ты связан невидимой леской:
мгновение ока пройдет, и рывком
взлетишь ты, как дым, за небес занавеску.

***

Отнерестился тополь. Лип
цветение отпахло.
Цикорий светится, раскрыв
полдневный серый глаз.
И сорняки так велики:
на них, как на деревья,
садятся воробьи, едва
покачивая их.

***

Сочней и чище тени.
Отчетливей вдали
строенья без затеи –
лишь плоскости одни.
Пространство, столь нагое,
подстать им: прах и пух.
Но небо то такое,
то этакое вдруг.

***

Вне города где-то,
где дали себе на уме,
там белое лето
меняется в цвете извне,
там вянут цветы и
трава выцветает, что ни
денек: мимикрия
таящейся всюду зимы.

***

Молоденьких личик
безличье. Вокзал,
где из электричек
исчезли калеки.
Но вот – одинок,
словно с неба упал:
безрукий, безногий,
безликий.

2. У ПОДНОЖЬЯ МОРЯ

«Подобием того, сего».
Пушкин

***

Здесь за морем – запад, а
за лесом – восток,
а на юге Клайпеда –
ай да городок,
а рядом с Гируляем –
чуть северней – весь год
в пустой зенит стреляет
зенитный миномет.

***

Здесь в Восточной Пруссии
песок белобрыс,

еще белобрысее
на немецком солнце
береста немецких
берез или брызг,
белизна морская, или местные
литовцы.

***

Серая иль синяя –
какая ни есть –
БЕЗУСЛОВНА линия
горизонта здесь.
Вдоль нее стоят суда –
танкер, сухогруз...
(Я уехал и сюда
больше не вернусь.)

***

Волны моря. Волны дюн.
Волны спин в волнах
иль в дюнах. Юный юн.
Пожилой – в летах.
Всё, как в прежние года:
отмерена даль –
вода вечно молода,
стар, как мир, янтарь.

***

Моря оторопь легка.
У прибоя в ямке
дети строят из песка
воздушные замки.

ЭЛЕГИЯ

Много лет глядел я, как
по излучинам прибоя

люди шли куда-то (всяк
одинок, хоть шел гурьбою)
и в песка слепую даль
постепенно удалялись,
становясь сначала с палец,
с ноготок, с песчинку... Жаль.

БАЛТИКА

Воспоминаниям
здесь полная свобода –
легко, невнятно им.
Как волн бросок,
несутся облака.
Изменчива погода.
Вода здесь далека.
Песок далек.

***

Дни мелькают, как мгновенья ока.
Вечером закатов панорамы
ходим мы глядеть на берег моря –
чуть ли не с утра мы вопрошаем,
а под вечер часто – ежечасно,
глядя в небо: будет ли закат?
В море нет домов или деревьев –
в нем ничто не застит наступленья
ночи. Лишь бы дымка или тучи
не сокрыли зрелища. Что ж будет,
будет ли закат – всяк день невидан?
Если б впрямь его могло не быть.

***

Багровые ворота
заката: в них ушел
весь здешний свет по волн
ухабам. В силуэты

всё превратилось – птиц
то взлеты, то паденья,

и люди, и растенья,
и падающий ниц

прибой. Но силуэты
прозрачны, хоть черны,
хоть всю палитру света
сожгли в себе они.

***

Мужчины, женщины и дети
в прибое, засучив штаны
иль подобрав подол – при свете
заката как они видны? –
сначала полусилуэты,
а после – вовсе силуэты,
а после недо-силуэты
опять – уже на фоне тьмы
сгущающейся – полудымки,
а после – вовсе невидимки –
теперь они идут домой,
став окончательною тьмой.

***

Днем в зените, затмевая светом взор нам,
солнце прячется в сияние темно.
На заре ж снисходит к морю иллюзорно –
удаляясь, приближается оно
к миру дольнему. И море на колени
опускается, но движется поклон:
волны гонят пред собою свои тени,
тени гонят пред собою пену волн.

***

Запредельность света.
Пляжа гаснут дали.
Наши силуэты
столь прозрачны стали,

чтоб исчезнуть вскоре
в звездном многоточье
у подножья моря,
у подножья ночи.

***

Шторм: вывернуто море наизнанку.
Шторм: море расползается по швам.
Шторм: снова в обреченную атаку
идти и небосводу и волнам.

В рядах воды тяжелое броженье,
и на поверхность выброшено дно.
Шторм: бешенство бескрайнего движенья,
что на пустой застой осуждено.

***

Произволом бурных волн,
зыбью ли обманной,
сталкивая небосклон,
как с песка баркас –
глубиной отечною,
тучей ли, туманом
море бесконечное
движется на нас.

***

Откуда столько воздуху взялось?
Несутся волны, тучи и волос
цветные пряди, платьев подола,
песка и брызг и гальки мал-мала.
Без передышек, пауз – ровен, скор –
ветр без порывов – как застывший взор –
своею силой равен небесам,
как будто неподвижен воздух сам,
как будто неподвижен небосвод,
и это мы несемся в нем вперед.

***

Вода. Разводы пены.
Вновь вода.
За волн грядою –
новая гряда.
И волн колени,
плечи волн – к плечам
вздымаются, как двое
по ночам.

***

Бунтует моря водоем.
Но захлебнутся волны в нем.
Из желтой карты берегов
ему не выскочить – таков
удел бушующих пучин:
географическая синь
вновь покрывает моря гладь,
и можно чуть ли не понять,
что неподвижная вода
естественней, чем бурь гряда.

***

И в ясную погоду видно
за отраженным блеском, как
нагое море первобытно,
чуть ли не первородно. Мрак
подводный крепок – словно в нас, в нем
слились начало и конец...
И море выглядит в ненастье,
как окончательный свинец.

***

Из дымки прянул яркий горизонт
и к берегу помчался всей стеною.
В себе замкнулось море неземное:
изогнут волн его свинцовый гонт.

Лавины пены двинулись с вершин
подвижных гор волненья штормового,
и нежный пляж стал побережьем снова,
и кто-то в буре плещется один.

***

Пенится пена, но
явно ведут на дно
волнения ступени.
И птицы в облаках
барахтаются, как
люди в прибрежной пене.

***

Буря много дней крепчает,
и на берегу ее,
в безраздельном царстве чаек
появилось воронье.
Ветер заслонил от чаек
моря сытный водоем,
и, оголодав, отчаяв,
часть их стала вороньем.

***

Огромен и сер,
силен, несладим
дул западный ветр,
и прямо под ним
неслись дотемна
две тучи, но вдруг –
на север одна,
другая – на юг.

***

Штормовая сосна
у подножия вод

узловато росла
вкось, вполуоборот,
и ветров кривизна
гнула ствол, гнула вязь
ее веток – сосна
вкруг себя обвилась.

***

Мера времени – сизый
баснословный песок.
Мера дали и близи –
небосвода бросок.
Мера силы кургузой –
баллы волн. И взгляни:
мера скорости – узел
узловатой сосны.

***

Вот изнанка взрывов грозных:
в узкий берег моря ширь
ткнется, и, взлетев на воздух,
море лопнет, как пузырь.
Волн разгладится неволя –
вот волнения итог:
пены перекати-поле
и беспочвенный песок.

***

Налетала ясность
с моря, словно шквал.
Десять раз ненастным
день на дню бывал.
Из мгновений ока
состоят они –
этого далёка
оборотни-дни.

***

Тишь распространится
на мир вечерком.
И волн черепица
покроется мхом
планктона. Волненье
умчит на восток.
И встанут деревья.
И ляжет песок.

***

Пена вынырнет со дна
моря, хмуря бровь.
Но откатится волна
в поднебесье вновь.
Из себя не выйдут вон
в отзвука обрез –
пена пены, волны волн,
небеса небес.

***

Волна отольется,
и во все цвета
заблестит на солнце
гальки пестрота –
влажное мельканье –
было или нет? –
испарится с камня
вместе с влагой цвет.

***

Впитает следы
ботинок и ног,
впитает воды
далекий бросок,
вновь до пустоты,
глядишь, он засох –

лишь брызги слюды
не впитает песок.

***

В предосенних елях,
в предосенних соснах
птицы – те, что пели –
замолчали вовсе
в июле – в начале
осени безбрежной.
А те, что кричали,
те кричат, как прежде.

***

Милые птицы,
птицы-певицы,
птицы-красавицы,
Бог вам, конечно, воздаст
за то, что вы били
крыльями, пели,
мертвые петли
делая среди небес.

ЦИТАТЫ

Живи же, всяк живущий,
как слово: без возврата.
Звучи же, звук – созвучий
очарованье свято.
Жизнь, полнись, хоть как холод,
погост или больница,
«пока Господь в нас ходит,
пока в нас веселится».

***

На ущербе скорости
и сквозь жизни сон

где-то возле Полоцка
я услышал стон –

не электровоза
безгортанный рев –
духовую музыку
паровых гудков:

в детства мгле заранее,
так звучали в нас
за-вы-ва-ва-вания
будущих пространств.

***

Хоть август и на месте,
уже видны ночами
осенние созвездья,
предзимние созвездья –
созвездье Рыб вначале,
затем Телец и Орион,
огни Большого Пса –
грядущий иней обронен
в тебя, небес роса.

***

Зренье – это
род ослепленья.
Видел лето я
слово в слово –
без зазренья,
без сожаленья –
непосредственно,
безусловно.

***

Зимы ночной отчаянье
(какое ни на есть).
Вот тьма вчерашняя в окне
и утром тут как тут.

Самозабвение труда
отрадно, а не труд.
Постанывает в чайнике
воды горячей жесть
на медленном огне,
на медленном огне.

***

Зияние звука –
разрыв и разлука
с незыблемой явью.
Как звук
сквозной, одиноко
мгновение ока –
разъятый
и замкнутый круг.

***

До последнего вздоха,
до последнего звука
моли Господа Бога –
Отца, Сына и Духа,
и придет твоя мука
во мгновение ока,
во мгновение ока
отлетит твоя мука.

***

Зори там небывалы
на просторе морском,
там высокие скалы
стали мелким песком,
там водой стали сроки
и росой – паруса,
там ветра толстощеки
дуют людям в глаза.

***

Прибой похож на взмах огромных крыл,
но как бы ими он в песок ни бил,
как ни сильна, ни высока на вид –
синяя птица моря не улетит
в полдня зенит, в отверстый ли закат,
как скандинавская птица детства – в ад.

***

Шторм восточнее набега
в самой западной из стран.
Но опять идет вдоль брега
дюн горбатый караван,
и песок окрестной сини
тоже сгорбился и стих –
лишь небесная пустыня
над пустыней вод морских.

***

Моря глубь голубизною
скрытое. Заката медь.
Хорошо хоть нас-то двое –
коль кругом едина смерть.
Почернели силуэты
наши на закате том
по сравнению со смерти
млечной ясностью кругом.

***

Штиль про шторм знать не знал,
солнце ж знало свой час:
был теней лесповал
под ногами у нас.
Мы у шторма каймы
замирали, сквозя,
прямо времени мы,
но глядели в глаза.

***

Барочен моря вечный храм –
волюты, вензеля
разбитых оземь волн, а там,
водою став, земля
уходит в горизонт высок,
в небесные поля,
где вечность – мертвая петля –
барочный завиток.

***

Свет, как в кристалле,
преломляется в июне –
по мне печали
в году печальней нет:
ночи краса
лишь миг белеет всуе
и, словно пса,
прочь отгоняет свет.

***

Тень – это прорва, это нерв
и неподвижности помеха...
Похож в песке лежащий негр
на тень от – где он? – человека.

И день похож на тень от – где
он? – дома – вот он, вот он.
Но тень уж плещется в воде,
от берега идет по водам.

КАХЕТИНСКИЕ СТИХИ

1983–1985

Зурабу и Ламаре
«Где хорошо».

В. Хлебников

В Кахетии, неподалеку от Телави, есть деревня Алмати. Я гостил там несколько раз и всякий раз недолго. Однако на то, чтобы хоть извне осмыслить «механизм» жизни этого селения, ушел весь многолетний опыт моего общения с Грузией, без которого я не постиг бы образ страны в очертаниях этой деревушки. Впрочем, многолетнего опыта не жалко – приобщившись Алмати, я вдруг другими глазами взглянул на всю Грузию, на Тбилиси и даже на старинных в нем друзей. Приобщившись Алмати, я другими глазами взглянул и на русскую поэтическую традицию описания «кавказских красот», основным недостатком которой мне представляется нарочитая экзотичность изображений в сочетании с растительной пышностью слога, которую наши северные гости пытались сквозь неизвестный им язык усвоить у своих гостеприимных хозяев. Тешу себя надеждой, что хоть в какой-то мере отступил от этого чуть приевшегося уже в XIX в. канона, и, может быть, так оно и есть, если понимать «красноречие», без которого трудно говорить о Грузии, как ОБРАЗ, а не как ПРИЕМ. Тем не менее освободиться от каких бы то ни было влияний невозможно – невозможно даже достаточно точно осознать, от кого и в какой мере ты зависишь в своих писаниях, особенно если пишешь о Грузии, где можно подпасть под обаяние поэта, который вовсе тебе неведом, но чья просодия, что называется, витает в воздухе. Таким образом, отстраняясь от известных мне Анны Каландадзе и Нико Самадашвили, тщательно избегая соприкосновения с теплолюбивой восторженностью Пастернака, я все же, как ни старался, не смог избавиться от нескольких интонаций Мандельштама («Человек бывает старым, а барашек – молодым»). Но самое сильное и прямое влияние оказал на меня не вербальный, а визуальный ряд «Пасторали» Иоселиани – мне кажется, не заучи я эту ленту наизусть, я просто не увидел бы Алмати. А, возможно, всё же увидел бы. Но так или иначе, я благодарен Отару Иоселиани в той же мере, в какой бесконечно признателен Ламаре Кикнадзе, без рассказов и пояснений которой многим стихотворениям этого сборника просто неоткуда было бы взяться.

Январь 1986

С января 1986 года я ни слова не изменил в этом сборнике, решившись не примешивать к тогдашнему его настроению скорбного чувства вины и ответственности, которое после 9 апреля 1989 года вытеснило все прочие мысли и ощущения, связанные в моем представлении с родной для меня Грузией.

Апрель 1990

***

Чтоб уразуметь Алмати,
должен видеть ты опору
всей долины Алазанской –
Алаверди храм среди
неба. Но его твердыня
без Алмати непонятна,
как дитя без материнства,
как кипенье без воды.

***

Далеко ли от Алмати
мир чужой и захребетный? –
Слушай, мир на то и мир он –
сам себя отыщет он.
Мир чужой от нас «имери»*,
и в определенном смысле
всяк чужак – имеретинец,
кем бы ни был наречен.

***

Чуть исчезла солнца кромка
яркая за кромкой горной,
в небесах раскрылись звезды,
как огромные глаза,
вспыхнула над Цинандали
и чуть дальше – над Телави
гроздь огней, что породила
алазанская лоза.

* Имери (то же, что Имеретия) дословно: «за хребтом».

***

С трех сторон вокруг Алмати
бурых гор застыла буря,
и из-за одной восходит
солнце – ярким, полноцветным –
а садится за другую
так же вдруг, молниеносно –
долгих сумерек томленье
здешних душ не растлевает.

***

По-над впадиною речки,
над ночным шумком Инцобы
дом стоит последний или
самый первый дом в селенье –
в отдаленье от овечьей
тесноты строений прочих,
и Инцоба об Алмати
по его оконцу судит.

***

А названия окрестных
населенных пунктов, словно
прейскурант напитков славных –
кто же в оном не знаток? –
но не вина, а селенья –
Цинандали и Кварели
иль сельцо Напареули,
или Греми-городок.

***

Храм в селе напротив – «Хмала»
(«Меч») – так назван почему-то
небольшой и обветшалый
храм – на нем растут деревья
и кусты – служил недавно
он сторожкой... Что ж поделать:

хоть во всем мы столь не схожи,
все же мы – единоверцы.

***

Где ж разрушенные храмы? –
на том свете, на том свете
они в Царствии Небесном
пребывают неземны.
Где же тот, кто их разрушил? –
там же, где пребудет вечно
всяк свидетель разрушенья
дома, улицы, страны.

***

Осень поздняя блаженна.
Урожай тяжелый собран.
И вино в огромных квеври*,
по словам грузин, «кипит»,
словно лава в недрах земных –
та, что, вырвавшись наружу,
как усталость замирает
в гор мозолистый гранит.

***

На дворе ноябрь, но лето
еще теплится в Алмати.
Яблоки – в ветвях зеленых
и фонарики хурмы,
но чем выше, тем рыжее
горный лес, а выше иней,
выше – снег: чреда сезонов
вертикальна – до зимы.

***

Кабаны, медведи, лисы,
зайцы, серны – все со снегом

* Квеври – зарытый в землю глиняный сосуд для хранения вина.

в горных зарослях столкнутся
вскоре и усвоят ясно
смысл его, как смерть, холодный,
но – дурная иль благая –
снега весть достигнет редко
обитателей долины.

***

Вепри? – нет: за перевалом
они кроются: лезгины
по старинке мусульманской
не едят свинину их...
Рай свиной! Эдем кабаний!
Нет земли обетованной
лишь бедняге человеку,
убивавшему святых.

***

Ночь, конечно, очевидней
дня цветного. Кто же мрака
не заметит? Только ночью
нам вселенная видна.
В ночь отчетливее речи
той воды высокогорной
в час, когда душою чистой
с кем-то говорит она.

***

За горой восточной где-то
встало утреннее солнце,
но еще лежит в Алмати
тьма ночная. И роса
полновесна. Гонит стадо
в темноте пастух. Но в небе
на глазах созвездья гаснут:
выцветают, как глаза.

***

От зимы зимою, братцы,
никуда нам не укрыться.
На вершинах гор окружных
снег лежит. Но он растает.
Лишь с шестым по счету снегом
настает зима в Алмати,
теплая для нас – пришельцев
из страны шестого снега.

***

Не видны – слышны скорее
гор аккорды – на октаву
или выше или ниже
горизонт неугомонный.
Этой музыкой от зренья
скрыта сини монотонность –
беспросветная пустыня
неприкаянного неба.

***

Высоко на горных кручах,
как шаман, кричит и скачет
о, почти отвесных речек
полудикая вода,
что влачится по долине
нищенкой в отребьях пены
с известью кавказской в сгибах
утомленного хребта.

***

Но и здесь печальна осень.
В огородах чахнет чала*.
Ночь приходит в гости рано
и гостит подолгу, но

* Чала – сухие стебли убранной кукурузы или проса.

еще с яблони могучей
не стряхнул мальчишка яблок,
и, как клад, уже зарыто
в землю новое вино.

***

Почвы серой и зернистой
россыпи и впрямь златые.
Но дороже злата летом
серебристая вода:
меруэ* ее мгновенно
превратит в вино, как в Кане
Галилейской, иль в сациви
превращает без труда.

***

Утро. Горы неподвижны.
Нежен свет. Какой-то малый
на околице деревни
зло швыряется камнями
в некую собаку – каждый
раз собака отбегает
от камней, но неизбежно
возвращается... В чем дело?

***

Как в любой другой деревне,
укреплен среди Алмати
на столбах, для пытки годных,
лик великого тирана,
и глядит аляповато
на крестьян земляк великий,
что за общий счет написан
неким местным богомазом.

* Меруэ – тот, кто распределяет воду для орошения.

***

Взобрался соседский мальчик
в крону яблони старинной,
словно в рай – в большую крону
погрузился глубоко,
словно в воду. Камнепадом
яблок град по травам скачет,
и от яблони родимой
катится недалеко.

***

Мрак предутренний – старухой
обернется иль собакой.
И крестьянин погоняет
утро, словно жеребца.
Вмиг дороги, словно реки,
зазвучали. Даже тени
на роскошном горном ложе
не залеживаются.

***

Вырубить в горах окрестных
несколько каштанов, срезать
ветви с желтизною листьев
и до голой древесины
обтесать стволы литые –
пусть с горы, ветрам открытой,
волоком лошадка стащит
балки будущего крова.

***

Или быть веселым старцем –
плясуном и балагуром,
но рассказывать в застолье
осенью про виноградник:
«До меня ль ему? – от родов
он, как баба, отдыхает.

Я ж тоскую: что ни день я,
а пойду его проведать».

***

Иль зайти к соседу утром
попросить помочь в работе,
от участия в застолье
отказавшись церемонно,
церемонно согласиться
нового вина отведать
и до поздней ночи славить
дружество и труд совместный.

***

Или сшить такую бурку,
чтобы бурку не пробила
дробь, ни малого калибра
пуля, чтоб, постлавши бурку
и укрывшись буркой той же,
путник спал или охотник
до утра средь снежной бури,
как под кровом, безмятежно.

***

Иль старухами вкруг жарких
углей на горе собраться
зябким вечером – судачить
о делах, соседях, ценах,
свадьбах, похоронах, родах,
ну, а главное – справляться,
кто кого иль одурачил,
иль не смог – дурак несчастный.

***

Или стариком бессильным,
когда все ушли по делу,

оставаться в доме гулком
приглядеть за малым внуком
и сидеть неколебимо,
неподвижно, вспоминая –
что? – а то, что нам, возможно,
и вовеки не припомнить.

***

Если ж молод ты, как утро,
в тесных «рэнглеровских» джинсах
ты на корточках с дружками
посиди на перекрестке
улочек, смеясь, толкуя
о «фиатах» и справляясь,
кто кого иль одурачил,
иль не смог – дурак несчастный.

***

Иль пируй с заезжим гостем,
дом открой родне иль другу,
чин веселья соблюдая,
как завещано от предков –
что за снедь, вино, а тосты! –
так сплелись в них ложь и правда,
как влюбленные сплелись бы,
если б их никто не видел.

***

Иль поймать лису (в капкане –
лапка, а капкан – на жерди)
и показывать соседям:
свежей шкурою своей
поднимает пыль лисица
и к земле родимой жмется,
безвозвратно озираясь,
но не глядя на людей.

***

Или, бросив молодую
и неспешную работу,
за ворота выйди: тащит
по земле сосед лисицу.
На глазок прикинь: стара ли,
а коль молода и самка,
пни под хвост ее для смеха
модного носком ботинка.

***

Или будь самой лисицей:
из родной норы спускайся
за курятиной в Алмати,
привыкай к повадке той,
что присуща псам и людям,
чтоб капкан заржавый щелкнул
иль в горах зеленых, рыжих
грянул выстрел голубой.

***

Этот край ветхозаветен:
здесь, как блик земного рая,
по словам Екклесиаста,
«сладок свет», как виноград.
Если ж лозы портят лисы –
их поймав, как Соломон вам
рек: «возлюбленным несите
лис и свежих лисенят».

***

Иль будь осликом, который
целый день идет, который
целый воз везет, который
почему-то на щенка
вдруг походит, а походка
у него грустна, как песня

грустная: и груз несносен,
и дорога далека.

***

Или стань таким шофером,
как Коро* – в его машине,
как в утробе материнской
пребываешь ты, хоть мчится
он быстрее, чем дорога
успевает мчать навстречу –
только Роберт Лукашвили
мог бы с Ястребом сравниться.

***

Или с девушкой (с невестой)
вечером на новой «Ладе»
выехать к мосту чрез русло
каменистое Инцобы,
чтобы видно было с кручи
в Сабуэ – селе напротив –
светомузыки в машине
межпланетное мерцанье.

***

Есть у каждого в Алмати
кличка: Кундза будет Кундзой
весь свой век – не станет древом
тот, кто вживе прозван Пнем;
Бэхви (лодырь, недотепа)
не ленился б, если б не был
прозван Бэхви, как источник,
им же найденный потом.

* Коро – значит «ястреб» (прозвище).

***

Иль пойти взглянуть, как строит
новый дом Зураб Кикнадзе
(он хоть здешний, но в Тбилиси
жил весь век свой, бедолага),
и чуднее его дома
нет в Алмати... Книгочей он:
видно, вычитал из книжек
острой крыши очертанье.

***

Иль испечь в старинном тонэ*
хлеб старинный, как преданье,
и хрустящий полумесяц
отнести приезжим людям
городским: пускай надломят
неумелыми руками
этот хлеб, что по-грузински
«хлебом матери» зовется.

***

Или взять и побраниться
с этим увальнем-соседом –
ведь сосед – твой рок, а кто же
до конца судьбой доволен?
Слушай, надо же когда-то
душу отвести... И разом
оборвать поток проклятий:
свиньи! свиньи в огороде!

***

Иль красавицею местной
будь – средь бела дня звездою –
потонув во взоре черном
собственном, и век одна

* Тонэ – врытая в землю глиняная печь, в которой пекут хлеб.

ты пребудешь даже в толпах,
неподвижна и в движенье,
словно молнией, своею
красотой поражена.

***

Или будь вдовою – что же
делать? – в меру безутешной,
скорби чин благопристойно
соблюдая: слезных рек
берега тверды – из взора
лишь печаль течет незримо...
Что на свете тяжелее
покрасневших вдовьих век?

***

А ведь мы еще недавно
у покойного гостили...
Строгое его радушье
походило... на закон.
Был он стар, но прям и древним
был достоинством исполнен
и безмолвием – к безмолвью
привыкал заранье он.

***

Или к родственнице дальней
подрядись сложить палати*.
От доходной работенки
заскорузли и разбухли
руки у тебя. Но русских
слов армейское звучанье
ты забыл так прочно ныне,
что не понял бы команды.

* Палати – нижний этаж дома.

***

Быть работником отменным
трудно здесь – еще труднее
быть лентяем – длинной тенью
день ползет за ним. Молвой
здесь пронизан всяк. И все же,
как в любом краю, труднее,
ах, всего трудней, батоно,
просто быть самим собой.

***

Лишь в Алмати в предрассветной
тьме я понял: по-грузински
петухи кричат в Алмати
так же, как в краю любом –
их Господь затем и создал,
чтоб по всей земле кричали
на наречии грузинском
о Пришествии втором.

***

Алматинские крестьяне
твердо верят в землю предков,
прочно верят просто в почву,
благодать для них вода,
верят в небо, верят в горы
и в платан священный верят,
свят для них св. Георгий
и Тамар для них свята.

***

О рождении Гомера
семь исчезнувших навеки
городов доныне спорят.
Но в укор чужой вражде
всяк грузин святой царице
и воительнице всюду

поклоняться может: тайно
прах Тамар зарыт везде.

***

Бог живет в горах – известно –
и в большом нагорном небе.
Из-за туч нагорных зорко
он взирает: вот долина,
вот известные до мысли
душ держатели – людишки...
Но, как благодать, огромна
гнева Божьего лавина.

***

Очертанья гор старинных,
лиц старинных очертанья,
словно надпись на забытом
языке... Открыть секрет
очевидный не удастся
даже пылкому Рамазу...
Мало ль на земле загадок,
а отгадок вовсе нет.

***

Поелику прочно связан
всяк грузин через обычай
с историческою далью –
памяти не утомив,
может жить он средь преданий
древних, как в бетонном доме,
и истории печальной
предпочесть цветастый миф.

***

С небесами селянина
цепь очажная связует:

на цепи – котел семейный,
пар съедобный – над котлом...
Цепь была той вертикалью,
что Иакову приснилась,
но зачах очаг, и все же
ХРАМ грузина – отчий дом.

***

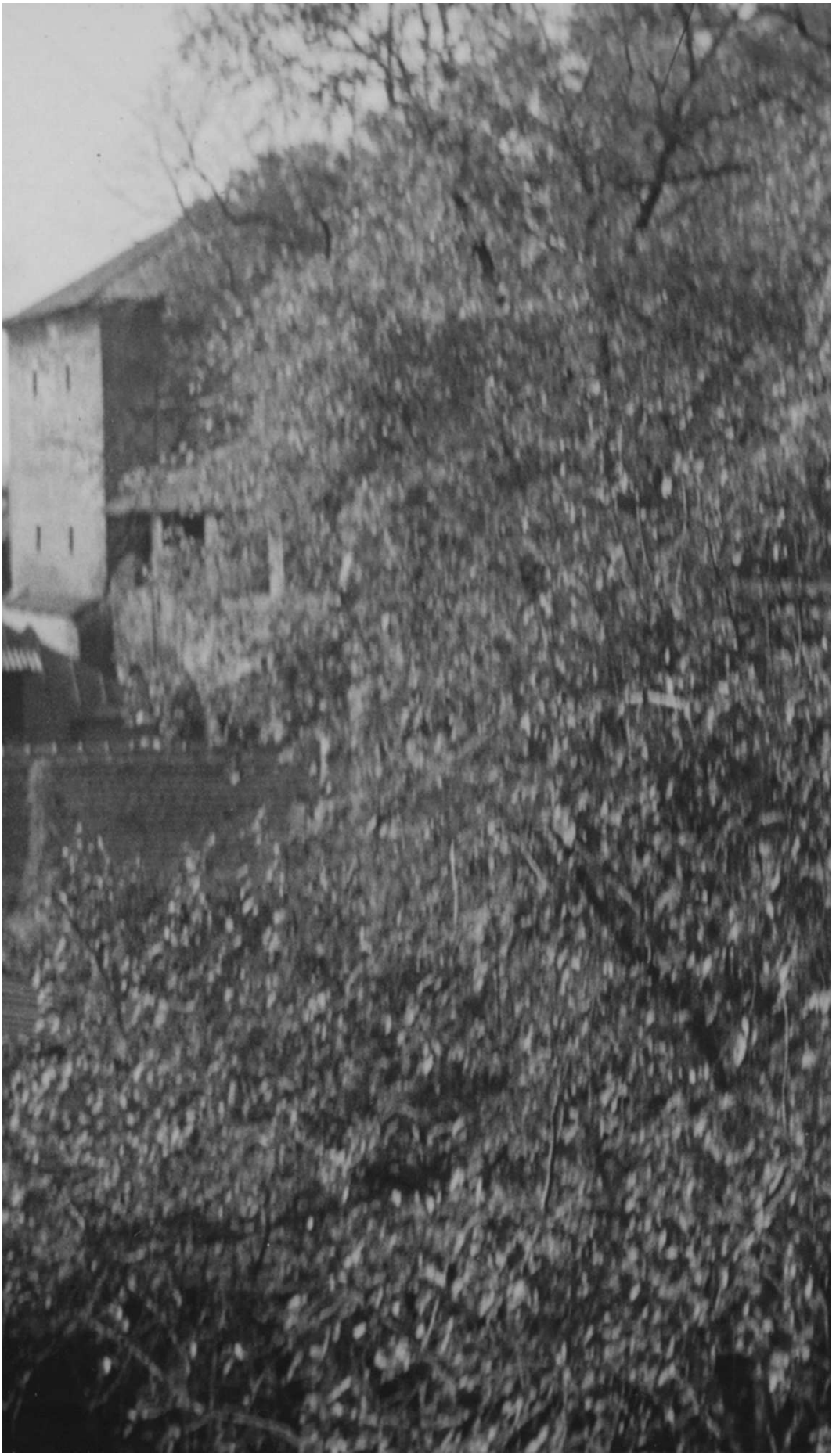
С пышных гор, что к ночи солнце
спрятав, утром возвращают,
злые дэвы не спускались
в наши мирные места,
рыжей Дали не видали
в виноградниках окрестных,
но от древнего платана
тень священная густа.

***

Ах, не вздумайте, батоно,
покупать домишко этот!
Он хоть дешев – с дешевизны
этой вряд ли будет прок.
Говорит вещунья наша,
а уж ей-то можно верить:
над землей, где дом построен,
злобный тяготеет рок.

***

«Э! Никто в домишке этом
не живет и жить не будет –
коль очаг твой на заклятом
месте – горек его дым».
Но стоит домишко – садом
одичавшим зарастает:
надо ж где-то приютиться
наконец и духам злым.



***

Если же на галерее
под лозою виноградной,
где янтарной кукурузы
свалена початков гроздь,
средь чурчхел, рядком висящих,
есть сосульки покороче,
значит, в доме есть ребенок –
есть из будущего гость.

***

Мы – заезжие профаны –
на вино мы, как на небо,
лишь мечтательно взираем –
ничего не видно нам,
но провидит кахетинец
много тайных тайн, когда он
на вино глядит, как зодчий –
на воздвигнутый им храм.

***

Если кто-то умер в доме,
целый год в стенах печальных
петь нельзя застольных песен,
напевать ли за работой:
пусть покинувший жилище
слышит лишь, как дом родимый
ежедневно, еженощно
скорбь немая оглашает.

***

Два бездомных пса при доме:
Биби – словно пыль, приземист,
клочковат, а в Муре гаснут
долговязые кровя.
Биби млад и весел, Мура
стар и грустен. Был и третий

пес, да люди пристрелили,
видно, в краже уловя.

***

Дева в трауре прозрачном
вычурном и даже модном,
как окутанное в вечер
утро – вовсе б не смотреть
на подчеркнутую смертность
плоти сумрачно прелестной...
Да, тиран хвалил недаром
вирши «Девушка и смерть».

***

– Ненадежен ваш обычай:
если пьешь за человека,
что навек покинул землю,
слившись телом с ней – звучней
должен быть трезвон бокалов,
и тогда душа услышит
поминальный звон и речи
всех, тоскующих по ней.

***

Недосуг крестьянам здешним
ждать ли светопреставленья,
чаять ли земного рая –
знают здесь из рода в род:
принесут плоды деревья,
и лоза – веселья грозди,
и обкатанные камни
с гор Инцоба принесет.

***

Всяк грузин наполовину
состоит из речи яркой –

не одни голосовые
связки, не язык один –
говорят глаза и плечи,
поза каждая, осанка,
а без рук красноречивых
нем бы сделался грузин.

***

Эта речь – сама горячность
солнечная (смысл вторичен)
и нарочитою, если
возомнишь ее, взгляни,
как в запястьях перекатов,
в мощных венах горных речек
негасимым пульсом бьется
голубая кровь страны.

***

А в устах прекрасных женщин
он, как счастье, бездыханен,
а в устах мужчины, словно
вновь гортань его суха –
вздохом, смехом ли застольным,
но грузин обозначает
все, что одухотворенно,
животворным звуком «цха».

***

Вот он завтрак наш воскресный:
средь тенистых вспышек солнца –
кисть седого винограда
хладная, как вдохновенье,
и златая плоть орехов,
как извилистого мозга
слепок иль как гор бурливых
маленькое изваянье.

***

Ни при чем в краю отрадном
свечеревший неудачник –
что ж ты делал ранним утром,
ничего не сделав, друг?
Погляди на виноградник,
что плодит людскую радость,
на счастливую подкову
гор селения вокруг.

***

Нес я лестницу, что утром
одолжила нам соседка
(мы спускали лишний шифер
через новое окно),
и какая-то старуха,
рассмеявшись ртом беззубым,
мне сказала: «Генацвале,
чем ты занят? Пей вино!»

***

– Мне приснился, генацвале,
сам святой Георгий. Сколько
было там людей, но сразу
я его узнала и
говорю: «Так много горя –
почему не помогаешь?»
Он же: «Разве это горе? –
то ли будет – погоди».

***

Светлой памяти Андрея Вязникова

Не достроен дом Зураба,
но в единственной готовой
комнате есть шкаф и ширма,
стол, – чуть призрачная мебель,
пережившая блокаду

Ленинграда – здесь Андрею
и привычно, и уютно
будет, где б он ни был ныне.

***

Воздух здешний золотистый,
словно звонкая монета
с твердым курсом обращений
солнечных, и чуть живой
воздух наш – легко ранимый
и рассеянный, как будто
то ль одной измучен думой,
то ль кручиною одной.

***

Раз уж выпили за встречу,
надо выпить за разлуку.
Что сравнится с разлученьем? –
не бывает вечных встреч –
за устои вековые
расстояний, за дорогу
роковую, что пред нами
вздумает назавтра лечь.

***

Выпьем за непониманье!
за незрячий взгляд, что свойствен
иноземцу на чужбине –
ведь не тайну – лишь покров он
видит. Выпьем же за то, что
человек с землей родимой
слитны, нечленораздельны,
как... соитье – рогор ари?*

* Рогор арии – как это сказать.

***

Кахетинское младое
цвета гор окрестных рыжих
кружит головы, как солнце
в небесах высоких кружит.
Вдохновенно пахнет киндзой,
базилик лиловый красит
горы снеди – между ними
речь журчит потоком горным.

***

Выпьем же за дом Зураба! –
островерхой иль покатой
кровля может быть – у КРОВА
очертаний не ищи
очевидных – не глазами –
лишь душою благодарной
познаешь его – у крова
очертания души.

***

Вчуже край чужой прелестней,
чем он есть на самом деле.
Если заживо с землею
связан ты – не до пейзажей
ежедневных. Не дай, Боже,
в отчуждении прозреть нам.
Выпьем же за тех, чья ноша –
крест пожизненной чужбины.

***

Кисть, чья зелень – словно окись,
эта гроздь вина литая,
вся в пыльце мне вдруг напомнит
мною виденную в хати*

* Хати – святилище, молельня у хевсуров и пшавов.

гроздь зеленых колокольцев,
что когда-то украшали
перерезанные горла
в жертву съеденных баранов.

***

Описать размером древним
плясовым и хороводным
вкруг ствола корней круженье –
круг сезонов, круг забот
деревенских и особо –
душ поруку круговую
и, как хоровод созвездий,
крови яркий хоровод.

***

Всяк народ – урок другому,
всяк народ – укор другому,
всяк народ – гора, с которой
лучше видно гребни гор,
что бушуют по соседству
неподвижно, безоглядно,
и породе их невнятен
ни урок и ни укор.

***

Будь же, речь моя, прощаньем,
горечью и облегченьем:
слова маленькая капля
падает – как камень с плеч.
Многоточье точек зренья –
звезд беспечных многоточье –
так молчанье обрывает
переполненную речь.

***

Нет, не женщины, а звезды
породили нас. С родимой
пядью праха у любого
есть космическая связь:
если ты рожден в Алмати,
солнце ходит над Алмати,
месяц ходит над Алмати,
звезды кружат отродясь.

***

Звездочеты-книгочеи
говорят, что в миг зачатья
сочетаются не люди –
всех созвездий полумгла.
Стало быть, в твоих объятьях –
вся вселенная – не тело
женское. Так выпьем, братья,
за небесные тела.

***

Хоть в своем огромном небе
гор хребет не коронован,
и никто не княжит ниже
над долиною вина,
но пейзаж настолько пышен,
обрамленный вышиною
гор, что без гипербол ясно:
это – царская страна.

***

Труден сельский труд, как всякий
труд родной на свете труден –
заскорузли твои руки,
голова твоя седа –
но коль внятен, словно воздух,
труд, бессмыслицы лишенный,

то граничит труд с отрадой,
как с долиной гор гряда.

***

Или полдень средь Алмати
на ногах стоит нетвердо?
Небеса ль не увлажняет
звезд красивая роса?
Иль от ртвели и до ртвели*
обмелели наши чаши?
Или мужеству невнятна
дев кровавая краса?

***

Тяжела и камениста
кладка стен в Алмати тесном:
камень к камню тяготеет,
камень к камню дико льнет –
дай нам, Боже, жить, как должно,
умереть, как подобает,
превратившись сокровенно
в край родной, в родной народ.

***

В городе, где под асфальтом
не видать родного праха,
зарастает родовое
древо дикою корой,
но почтительны в деревне
к старикам, почти как к мертвым,
ибо без почтенья к предкам
мертв народ полуживой.

* Ртвели – время сбора винограда.

***

Песнь грузинская: прекрасен
лад ее многоголосья.
Если бы могли поладить
люди, слившись, как мотив.
Добрых вин букет грузинский:
если бы могли и люди
сделаться добрей, прозрачней,
как вино, перебродив.

***

Красота, как пропасть, та, что
вечностью голубоватой
полнится, и небу трудно
различить ее черты:
смесь кромешного паденья
с самым горним порыванье –
красота и есть условность
безусловной красоты.

***

Грузии издревней слава!
Алазанским долам слава!
Славному Алмати слава! –
здесь в краю души нагой
славны мужи, славны девы,
коньяки и вина славны,
но всего славнее слава –
слава славе дорогой!

***

Всё сказал я, как казалось
глаз, души ли зазеркалью,
не кривя сознаньем зыбким
ради слов. Алаверды
к гулким сводам Алаверди
и к горам окрестным гулким,
к квеври гулкому, в котором
бродят речи тамады.

***

(Строгий переписчик Торы
на пергаменте, что сразу
станет древним, завершая
труд свой, вправе оставлять
мал пробел для двух ли, трех ли
слов – пусть впишет их заказчик,
приобщась собственноручно
тебе, Божья благодать).

НЕПРЕСТУПНЫЙ СВЕТ

(КНИГА ОТКРЫТЫХ СРАВНЕНИЙ)

1986–1987

«Не перейдеши Иордана сего».
Втор. 31,2

It's like – no matter what it's like.
W.B. Yeats

«Ибо все мы сыны света, сыны дня».

«Our thoughts are ours,
their ends none of our own».
W. Shakespeare

1.

Как, чем белее свет – черней
снега (светает рано –
лишь клочья ночи – воронье
витает в небесах),
вот так и...

***

Как сон запястия сперва
наполнит колыбельной
чуть слышной песней, а потом
в бессонницу ума
проникнет прямо наяву
своих видений сонмом,
которым он наполнит всклянь –
заснувшие глаза,
вот так и...

***

Как он ни дик, ни одинок
среди пустынь пустынник –
мучительнее одинок
тот мученик, что взят
в языческую толчею
арен кровавых Рима,
где одиночество его
кромсают на куски,
вот так и...

***

Как эта тайна лишь грехов
твоих же сокровенье –
но, словно камень, носишь ты
за пазухой ее,
вот так и...

***

Как из запавших в смерть глазниц
деревья из проталин
округлых – ветками, стволом –
всем существом глядят,
как озираются окрест
всевидящие кроны –
сосудов сгусток – в небесах
запечатленный взор –
вот так и...

***

Как в детстве грянет первый залп
салюта; и цветные
развесит гроздья за рекой,
за голытьбой домов,
и в Александровском саду
взлетит салютом черным
над твердокаменным Кремлем
густое воронье,
вот так и...

***

Как, помешавшись, человек
безумный, словно вера,
мешает в стихнувшей печи
остывшую золу,
вот так и...

***

Как восполнение времен
есть их исчезновенье,
а восполненье наших дней –
исчезновенье нас,
вот так и...

***

Как Пасха позднею была,
весна ж – еще позднее,
и вовсе поздно мне теперь
о них воспоминать,
вот так и...

***

Как, зная точно наперед
смысл словосочетанья,
ты вздрогнешь вдруг и вдруг поймешь,
в чем смысл его живой,
вот так и...

***

Как отрешается от тел,
что смешаны не с грязью,
а с тяготением земным,
высокопарность душ,
вот так и...

***

Как нынче утром за окном
в безлиственном ненастье –
все там же лип старинный строй,
что двести лет назад,
вот так и...

***

Как не было апреля, Лизк, –
шел снег косматый, крупный
и, опустившись до весны,
послушно исчезал,
вот так и...

***

Как чувствует себя земля
бесстыдно заголенной –
ни снегом не прикрыта, ни
грядущею травой,
вот так и...

***

Как из бессмертья в первый раз
сей «первенец из мертвых»,
отбросив «будущего тень»,
явился во плоти,
вот так и...

***

Как ты тверда, как ты умна,
надежда, с идиотской
пугливой, ласковой, немой
улыбкой на устах,
вот так и...

***

Как постепенно человек
смежает свою душу
всевидящую, чтоб она
прозрела, наконец,
вот так и...

***

Как, взявшись за свои слова,
я не шепчу их жарко,
не вглядываюсь в их предел –
лишь ВСЛУШИВАЮСЬ в них,
вот так и...

***

Как унизительно, небось,
тебе во прах спускаться
с небесной псевдо-высоты,
поднявшаяся пыль,
вот так и...

***

Как, выходя в свой огород,
засыпанный камнями,
глядишь: тот бросил друг, тот – враг,
тот – сам упал с небес,
вот так и...

***

Как взвешен Иов был на тех
весах точнейших правды:
в одной из чаш – отчайнья стон,
и истина в другой,
вот так и...

***

Как забывается любовь
иль ненавидит вера,
надежда ль, не смыкая вежд,
безоблачно грустит,
вот так и...

***

Как музыка бесплотна ли? –
душа ее бесплотна,
но тело – воздух голубой –
трепещет сотни лет,
вот так и...

***

Как храм небес пасхальных скрыт
той снежною завесой,
раздранной криком воронья,
когтями голых крон,
вот так и...

***

Как рвет уста ребенка крик,
иль слезы плача очи,
а жестов будущую гладь –
ад материнских корч,
вот так и...

***

Как псевдо-временем Господь,
не обинуясь, создал
сначала скорлупу – потом
внутри ее яйцо
иль псевдо-дикий мед легенд,
Вергилиеву утварь,
чтоб Откровенья молоко
излить в их псевдо-глубь,
вот так и...

***

Как мартом холодно в раю:
отечные деревья

чернеют гарью, а горé
парит вороний грай,
вот так и...

***

Как Пасха празднует тепла
Господня возвращенье,
апрельский оглашенный снег
низвергнувши с небес,
вот так и...

***

Как на Великий День с небес
посыпал снег глубокий,
хотя глубоким, словно мгла,
не стать ему теперь,
пускай апрельски дерева
черны великопостно –
в их черных венах светлый сок
не обратится вспять,
вот так и...

***

Как Бог Адаму говорил:
«Не ешь от древа знанья,
а то познаешь смерть», и как
поддался Еве тот
не оттого, что сладок столь
запретный плод, затем лишь
что он, подобно Еве, сам
не знал, что значит «смерть»,
вот так и...

***

Как среди чуждых и родных
понятий вряд ли сыщешь

БЕСЧЕЛОВЕЧНЕЕ, чем – да! –
понятие «народ»,
вот так и...

***

Как одноцветная весна
мощней, однообразней
распада осени – он пестр
цветист, размашист, слаб,
вот так и...

***

Как славы я не вожделел
эстрадной, всенародной –
признания желая лишь –
признания во всем,
вот так и...

***

Как видимое временно,
невидимое ж вечно,
как проще невидали даль,
чем видимости месть,
вот так и...

***

Как Искупитель Иисус,
идя на смертну муку,
взяв на себя весь смрад и срам
грехов людских, как Он,
всей тяжести людских грехов
подъявши крестну ношу,
безгрешен сам остался, чист,
вот так и...

***

Как издали нам верить в смерть
куда наглядней, проще,
чем если – вот она: вблизи.
Помехою – не страх
и даже не надежда на
загробный мир огромный,
а соприкосновенья вплоть –
но с чем? – поди пойми,
вот так и...

***

Как всмотришься в толпу, толпы
почувствуешь «бок о бок» –
враз видишь: нету никого
и, в том числе, тебя,
вот так и...

***

Как человеку, чтобы стать
и вправду одиноким,
какое множество людей
потребно – Боже мой! –
вот так и...

***

Как ужас шарит в темноте
незрячими руками,
пока не лопнет на заре –
воздушный детский шар,
вот так и...

***

Как человек, в котором Бог
чуть-чуть да проявился,

уж в чем-то НЕДОЧЕЛОВЕК –
юродивый слегка,
вот так и...

***

Как всякий, но однажды был
бессмысленным младенцем,
и даже Пригова Д.А.
носили на руках,
вот так и...

***

Как для того, кто норовит
не в темноте, а в свете
от сути спрятаться своей,
есть «НЕПРЕСТУПНЫЙ СВЕТ»,
в котором обитает лишь
то Божество, чей «облик»
вовек не видывал никто
и не увидит век,
вот так и...

***

Как даже лучшему из нас
быть ангелом опасно:
как ни старался человек –
не мог столь низко пасть,
вот так и...

***

О, НЕПРЕСТУПНЫЙ СВЕТ – пред ним
мы все, как есть, слепые –
и тот, кто честно слеп, и тот,
кто зрячим мнит себя,
вот так и...

***

Как на изломе лета (всяк
уж понял: будет осень),
когда июльских дней спадет,
почуяв ночку, жар –
на насыпь высыпет народ
и с «берега» взирает
на грязный поездов поток,
что мчит невесть куда,
вот так и...

***

Как началось само собой
всё, что ни есть на свете,
и кончится само собой
безвольно, вяло, вот
так и...

***

Как сам Господь наш во плоти,
гонимым вездесущим,
был Израиль до наших дней
с чужих и давних пор,
вот так и...

***

Как для язычников своих
Господь степенно точит
из древа мудрости сосуд,
и стружек кудри суть
всех знаний наших свитки, но
их полный смысл – лишь чаша,
готовая всей глубиной
гневливою – вместит,
вот так и...

***

Как годы наполняют душ
просветы отчужденьем
от жизни (может быть, оно
и есть сама душа?),
вот так и...

***

Как глубина души живет
своей глубинной жизнью –
не то что мы ее – она
порой не помнит нас,
и даже Божий лик, водой
бесстыжей отраженный,
мы лишь поверхностью души
способны отразить,
вот так и...

***

Как в заговор гнилых дерев
я не вступлю, в восстанье
твоих незрячих трав меня
не заманить, весна,
вот так и...

***

Как серафим с вселенной схож –
на все четыре сразу
идти он может стороны
из глубины себя,
вот так и...

***

Как этой праведности наст
поверхностный, хоть чистый,

сравнится с покаяньем ли
мгновенной глубиной? –
вот так и...

***

Как лишь тогда удался твой,
крик, вопль иль детский лепет,
когда немую суть его
всяк принял на свой счет,
вот так и...

***

Как схож со взрывом серафим
был, коль взрывная сила
не столь безликою была б,
бескрылою не столь,
вот так и...

***

Как капля теплого Днепра
в горячем третьем акте
«King Leer»-а заскорузла, а
вот – капли ледяной
разрыв – балтийской капли на
странице книги «Руфи»
(и мнится, жизнь уже тогда...
а ведь и впрямь прошла),
вот так и...

***

Как в детских жмурках вам глаза
повязывают зреньем,
чтоб зорче шарить пустотой
неутоленных рук,
вот так и...

***

Как мы наследуем – кому
и что – почти не важно,
а важно то, что смерти лишь
наследуем мы, вот
так и...

***

Как разбрелась давно детей
игравших в жмурки стайка,
а ты все ищешь за платком
их хохот, их тепло,
вот так и...

***

Как вдохновенья бурный ветр
стихает: четче, мельче
волненье почерка – мертвей
его пустая зыбь,
вот так и...

***

Как Ньютон ни велик был, но
закон-то тяготенья
был яблокам известен все ж
задолго до него,
вот так и...

***

Как музыка – пусть холодна
извне – внутри пылает,
или не музыка она
и... и не холодна,
вот так и...

***

Как истину нельзя познать –
(жен познавай, познанья)
к ней можно приобщиться лишь –
к СОБОРНОСТИ ее,
вот так и...

***

Как лишь слепой способен на
прямую «безоглядность»,
лишь ослепленный впрямь идет,
куда глаза глядят,
вот так и...

***

Сколь незапамятна она –
забывчивая память,
которую воссоздаем
уже напамять мы,
вот так и...

***

Е. П.

Как некто Рабинович был
отличнейший писатель,
но ни читать и ни писать
на иврите не мог,
вот так и...

***

Как хочется воскликнуть: «Ложь!»
в столь беспросветной правде.
(О, вопиющий, где ж твоей
пустыни вечной глушь?),
вот так и...

***

Как словно конница вперед
твой взор несется, копья –
ресниц бессонных острия –
наставив пред собой,
вот так и...

***

Как никнет почерка волна,
стихи стихают – скоро
лишь мертвая, но всё же зыбь
останется от них,
вот так и...

***

Тетрадь суха, как листопад
на дне глубоких парков,
где поперхнулся сам собой –
бездымной гарью он,
вот так и...

***

М. Ш.

Как ты проник пространство не
в пространства триединстве,
а за пределами его –
в пределах духа – тех,
где ипостасей числят три
за Богом, забывая,
что их единство (без числа)
само есть ипостась,
вот так и...

***

Как из глазниц своей зимы
базедово-нагими

сентябрь яблоками глаз
взирает вкруг себя,
вот так и...

***

Как вдруг раздастся по земле
предвечный глас молчанья,
и рухнут стены слов пустых
иль полных тайным злом,
вот так и...

***

Как небо в сумерках своих
пылает облаками,
а в облаках – обломки птиц –
исчадье здешних крыш,
вот так и...

***

Как ночью мерзлые дрова
нам обжигают руки,
подобно пламени, что в них
таится, словно клад*,
вот так и...

***

Как волн тяжелых валуны:
что ни волна – то камень,
и сразу же за ним – Сизиф
согбен и седовлас,
вот так и...

* Или плод.

***

Как Дионис и Аполлон –
СОАВТОРЫ, и нужен
благообразия ладье
истошных волн балласт,
вот так и...

***

Как узкоглазое зимой
чуть освещает солнце
дома, что копотью ночной
покрыты даже днем,
вот так и...

***

Как если заблудился ты
в раю, то он потерян –
навек потерян для тебя
окрест цветущий рай,
вот так и...

***

Как Бог, быв слишком вездесущ,
чтоб заниматься каждым
из нас, в опеку отдал нас
тебе, нагорный рок,
вот так и...

***

Как не извечный астроном, –
как сеятель выходит
ночь сеять звезды: их давно
охолонувший пыл,
вот так и...

2.

***

Как за добро приятней мстить,
вольготней, безопасней,
чем мстить за мстительное зло –
оно же отомстит
бесстрашно и добру, и злу,
ничем не обинуясь
за неудачи, за грехи,
за бедствия свои,
вот так и...

***

Как на востоке одарен
всяк, словно смерть, глубокой
той неподвижностью, что в дар
дает недвижность гор,
вот так и...

***

Как я благословляю тех,
кто правотой своею
стихи мои унизит, но
их устремляя ввысь;
как я благословляю тех,
кто лишь тщеславья ради
изысканно мои стихи,
но грязью обольет;
как я благословляю тех,
кто ради самозванства
безукоризненно хулить
их станет, чуть дыша;
как я благословляю – хоть
и неудобно – тех, кто
похвалит их, не устрашась
безвестности моей:
(последних я благословлю
не искренности ради,

а чтоб добром не поминать
одних лишь дураков),
вот так и...

***

Как словно дальние поля,
холмы иль зори, меркли
вкруг облегавшие ее
любовники ея,
вот так и...

***

Как были век всего милей
мне женщины да церкви,
иль, может быть, всего милей
лишь то, что их роднит,
вот так и...

***

Как в сборнике «Помолвка» (пусть
я недоволен этим
«романом» – Бог его прости,
а заодно – меня)
четыре женщины ушло
на пятую Регину,
мужчин не счесть в Сёрене, но
есть в их числе и он,
вот так и...

***

Как феминизм есть только род
самоуничтоженья
иль самоотрицанья – ну,
какой из мужиков
захочет бабой стать? (Ведь о
природных извращеньях

мы здесь не говорим – к чему?)
вот так и...

***

Как дурень дуре говорит:
«Когда б ты представляла,
какому идеалу я
с тобою изменил!
тогда бы перестала грызть
ты семечки ругательств
и поняла бы, наконец,
что значишь для меня»,
вот так и...

***

У экскрементов цвета нет –
есть тысячи оттенков,
но превалирует в дерьме
дерьма оттенок всё ж,
вот так и...

***

Как солью Иововых слез
разъеден – Бог из бури
рек: «Есть ли у дождя отец?»,
или у муки мать? –
вот так и...

***

Как женщина, что умерла,
приснилась мне живою
(лишь сорок дней известно нам
во сне, что мертвый – мертв) –
сон становился полусном,
сознаньем безысходным
и, как при жизни, думал я:

«Поснись, поснись еще»,
вот так и...

***

Как в Откровенье верим мы,
что времени не будет,
его на улице, в часах
и не было, и нет,
вернее, есть, но не оно,
а то, что разум всуе
единовременно – давно
свернул в пустой рулон,
вот так и...

***

Как наш кровавый век уже
смежает свои веки,
(о, сколько душ лишилось тел
под тяжестью сих век),
вот так и...

***

Как осень зорче, чем весна,
ветвистой наготою
глядит она, а у весны
век слиплись лепестки,
вот так и...

***

Как ни глубок ты, не вместишь
в себя всю скорбь о близком –
ни в мозг, ни в душу – даже в дух
ее не втиснешь всю,
и оттого она одна
шатается по свету,
пока не встретится кому,

собою не полна,
вот так и...

***

Как в дни рождений говорят
сперва: «Будь счастлив, весел»,
а после только: «Будь здоров», –
твердят, как алкаши,
вот так и...

***

Как в стихотворстве много мух.
(Иль Блейковская муха
невинноубиенная,
иль Эмили моей
та муха, что стучится в пыль
стекла существованья,
иль муха Пушкина – символ
невольных летних дней,
иль А. Тарковского стихи,
засиженные мухой,
иль Бродского – она жужжит,
666),
вот так и...

***

Как катится иль скачет плод
от яблони подальше,
как изо всех земных людей
наибезгрешный Ной
родил же Хама. И в ковчег,
заметьте, Бог позволил
со всею гадостью земной
и хамство погрузить,
вот так и...

***

Как одиночества закат
(потом и ночь) – не утром
и уж – куда там – белым днем,
но собирается,
вот так и...

***

Как есть луна в моем окне,
но нету в нем Мтацминды*
и телеэйфелевой – вай!
нет башни на горе,
вот так и...

***

Как ни одеться ей теперь,
поди, во что угодно,
чтоб всякий видел, что она –
нагая из нагих,
вот так и...

***

Как из какой-то старины
горбатый взялся ворон –
времен и тлена птица – ВРАН –
возле трактира «Спорт»,
вот так и...

***

Как в бешенство приводит нас
тот факт, что в этой жизни
лишь неизбежностью одной
не обойден никто –

* Сочетание луны с горой Мтацминдой – атрибут тбилисского лирического пейзажа.

ее ж кругом не обойдешь,
задами не объедешь,
или на ИЛе от нее
не улетишь в Париж,
вот так и...

***

Как видишь снизу облака –
они тебя превыше*
иль с самолета вниз взгляни –
не стал ты выше их,
вот так и...

***

В. К.

Как наконец-то мы сошлись
в застенке обстоятельств
и сочинили, наконец,
две книжицы вдвоем,
вот так и...

***

Как на ухватистый подвох
поддыхом не ответить,
и как не плюнуть в пустоту
лохматого лица,
вот так и...

***

Как, встав до света, вроде рад
ты странных строк явленью
заутреннему и дневных
умению трудов,
чуть рассветающим в окне
домам, снегам округлым –
всё ж на душе твоей темно,

* Иов, 35,5.

как бывшей ночью,
вот так и...

***

Как белый ангел – эскулап,
слетев с высот познанья,
сначала обоняет он
одеколон мой, и,
уверившись, что запах впрямь
сродни заморской марке,
он спрашивает, наконец,
про крест: «А это что?» –
вот так и...

***

Как каламбурим мы сперва
(и после каламбурим)
о том, что там, мол, хорошо,
где нас покуда нет,
вот так и...

***

Яко стоянье на Угре,
на площади ль Сенатской,
стоянье ли на рубеже
Варшавской бойни – всё –
экономический застой,
акафисты у кассы,
устойчивость невесть чего
неведомо на чем,
тако и...

***

Как некогда (иль никогда)
«четвородневен» Лазарь
по слову Божьему отверз
застывшие глаза,

явивши драгоценных две
звезды существованья,
преодолевши смерти хлад
воскреснувшим теплом,
вот так и...

***

Как эту ненависть и спесь
на лицах неофитов
с той верой не сообразишь,
чье действие – любовь*,
вот так и...

***

Как, если сон не по душе –
страшит иль отвращает,
проснуться можно и забыть
навеки этот сон,
но не проснуться в яви, не
очнуться – вечно длится
бессонно явственный кошмар
до окончанья дней,
вот так и...

***

В. Р.

Как богоданные зазря
«имевший уши», все же
сперва не слышал слов чужих,
но, мучим глухотой
безвыходной, он стал кричать,
как в глушь лесов заблудший,
но оглушенный сам собой
настигнут немотой,
вот так и...

* Гал. 5–6.

***

Как слеп сказитель старины –
былин, баллад ли, песен –
не «отражал» он ничего,
но отразился в нас,
вот так и...

***

Как мы, мы сами: в этот мир –
заклеенные окна,
иной – распахнутая дверь –
а тот, глядишь, – врата,
вот так и...

***

Как надоели мне мои
обиды! – больше самых
обидчиков и даже их
порою правоты,
вот так и...

***

Как оставаться нам самим
собой и впрямь – легко ли? –
(для этого ты должен сам
собою представлять
хоть что-нибудь) и потому
никем не оставайся:
не мучайся, других не мучь,
будь сам собой,
вот так и...

***

Как я не изменил тебе
с красой новогородской,

как, Псков речной, не изменил
ты памяти моей,
и, как за Псковом – белый свет
лишь За́псковья пустыня,
иль За́величья темна ночь
отечественная,
вот так и...

***

Как, став собою, наконец,
должно быть, видят души
иначе и, на нас «взглянув»,
безгрешно видят нас,
вот так и...

***

Как, покрививши раз душой,
назад не распрямить уж
души, и эта кривизна –
изнанка лжи прямой,
вот так и...

***

Как чад восстанья – не конец
ни света, ни потемок,
а лишь – «поднявшаяся пыль»*:
из праха прах восстал,
вот так и...

***

Как филолог, он, словно клещ,
вонзился в плоть творенья
и тайну ясности его,
как кровь живую, пьет,

* Излюбленное Достоевским выражение, вычитанное в Писании.

с тем, чтоб творение само,
не став из камня паром,
бескровным стало, словно все
теории о нем,
вот так и...

***

Как око есть светильник тел –
коль чисто твое око,
то светом полнится душа
и даже тело всё,
как око есть светильник тел
в том случае редчайшем,
когда сей невечерний свет
не есть кромешна тьма,
вот так и...

***

Как безмятежно говоря
о старости «глубокой»,
не ведаем мы, сколь «глубок»
клад памяти ее,
вот так и...

***

Как Павел помянул не зря
тех, кто весь век учился,
но, истин не постигнув высь,
до басен воспарил,
вот так и...

***

Как, написавши «Для кота»,
оглядываясь, вижу
и день, распахнутый в листву,
и спящее бедро

подружки и ее одежд
расплывчатые клочья
и за возможным пивом в мир
безоблачно лечу,
вот так и...

3.

***

Как, – пусть! пусть смешан отчий прах
не вемо с кем, не вемо
где погребен – его душа,
не смешана ни с чем,
вот так и...

4–5. 4. 87

***

Как мне в Алмати не бывать
теперь, ему во мне ли –
(какая разница для миль,
разъединивших нас?),
вот так и...

***

Как первый раз столкнулись мы
в Перовском закоулке
еще синевшим вечерком
сентябрьским, роковым,
вот так и...

***

Как, отомстив, а не простив,
ты хочешь, чтоб мы были
прощенья Божьего с тобой
по разным сторонам
уже и с этой стороны
житья-бытья... Опомнись! –

чей суд спесиво ты берешь
в былую ласку рук? –
вот так и...

***

Как наших прегрешений глубь,
поди, куда страшнее,
чем наши представленья о
поверхностности их,
вот так и...

***

Как прежде на деревне всяк
знал с точностью исконной,
что коль петух не прокричит,
то ночь не минет век,
вот так и...

***

Как сквозь игольное ушко,
проникнув в воскресенье,
вселенной обернулся дух
Спасителя Христа,
хотя падучею звездой
ученикам являлся
Он сорок дней, едва мерцав
в неузнанной плоти,
вот так и...

***

Как кровь людская горяча,
огонь предвечно чистый
хоть и горяч, но не кровав
бесчеловечный огнь,
вот так и...

***

Как рыба ЖАЖДЕТ, хоть живет
в воде своей проточной,
и на крючок ее никто
покуда не поддел,
вот так и...

***

Как древний восьмикрылый крест
базарной тусклой бронзы,
и на обратной стороне
нательного креста
молитва стерлась – чуть видна –
во сколько ж тел впиталась
она – лишь слово «врази»* – всё
что можно разобрать,
вот так и...

***

Как солнце в городе встает
не из-за горизонта,
не «из-за леса, из-за гор» –
из-за бескрылых крыш,
вот так и...

***

Как – нет! – не образами, не
словами мыслю, мысля –
я мыслю звуками: из них
все образы, слова
мои столь зримо состоят,
что, «звукописи» козней
чураясь, видимо, затем
рассудочен порой,
вот так и...

* «Да расточатся врази его» (молитва «Честному Кресту»).

***

Как был «Граф Нулин» сочинен
всего лишь за два утра:
четырнадцатым декабря*
была одна заря,
другая же – пятнадцатым –
выходит две эпохи
ушли на то, чтоб сочинил
наш гений этот фарс,
вот так и...

***

Как никому не прочитать
весны предначертанье:
то – разночтенья черных крон,
то – скоропись кустов,
вот так и...

***

Как ни хотелось бы забыть
тех дней осиротевших,
пропахших морем и смолой,
что впрямь не позабыть,
вот так и...

***

Как Новгород, глядишь, стоит
на том, а вдруг – на этом
холмистой Волховской воды
старинном берегу,
вот так и...

***

Как рукописей вечный смысл,
вестимо, не сгорает,

* Да-да: 1825 года.

но и его не обойдет
грядущего пожар,
вот так и...

***

Как воронье-то не кричит,
а вправду-что пророчит
количество помойных куч
и суковатых рощ,
вот так и...

***

Как из болезней, дряхлых лет
на жизнь былую глядя,
не в неком «розовом» ее,
а просто в «свете» зрим,
ведь этот ярко-белый свет
существовал взаправду,
но был естественней стены
столь очевидных дней,
вот так и...

***

Как очевиднее всего
на белом свете чудо
хотя бы тем, что всяк привык
не замечать его,
вот так и...

***

Как трапеза без хлеба иль
мятеж без лжи – лишь шутка
иль голод темно-голубой,
иль мятежи все те ж,
вот так и...

***

Как изо всех людей воскрес
пока один – который
отвека мертвым не был*, хоть
родился вдруг на свет,
но удивительней скорей:
как вечный, присносущий
Он исхитрился умереть,
намучившись сперва,
вот так и...

***

Как давка толп подземных иль
пустынность стогн воскресных,
ночей ли сползшихся со всей
вселенной полный мрак
или как яркий и слепой
весенний день нездешний –
все – одиночества пере-
насыщенный раствор,
вот так и...

***

Как всё на свете было, но
былого ж не воротишь,
и повторится много раз
незыблемый мираж,
вот так и...

***

Как человек, что до конца
испил Тбилиси чашу,
запомнил привкус, а не вкус
грузинского вина,
вот так и...

апрель 1987

* А Лазарь?

***

Как наказанье упредит
порою преступленье –
(его б и не свершилось, коль
не сей анахронизм),
вот так и...

***

Как Богом избран наш народ
на муку и проклятье,
родивши Бога и затем
убивши Бога, он
лишился места навсегда
и времени в пространстве
и у истории в ногах
лишь путался, как цепь,
вот так и...

***

Как БЫСТРО нужно рассуждать
о прошлогоднем снеге,
о поколениях-волнах,
как ДАЛЕКО порой:
«Московские временщики»
есть в Питере и в Вильно –
везде, где, затаясь, как зверь,
безвременье живет,
вот так и...

***

Как достославней Иисус,
чем Моисей, подобно
тому как строивший славней,
чем выстроенный дом,
вот так и...

***

Как равно далеки ль? близки? –
к Пришествию второму
останки ль первохристиан
иль вольнодумцев прах,
вот так и...

***

Как я казнил бы палачей,
навечно даровавши
им совести палящий дар
и память на века,
вот так и...

***

Как неразлучно вдаль идут
пророчество нагое
и обреченность – никому
их не уразуметь,
вот так и...

***

Как с детства я навек постиг
окраины идею:
хибарки, урки, поезда,
как волки по ночам,
о чем-то воют; глубоки
ее болота, зимы:
смысл прост – куда б окраиной ни шел,
по краю ты идешь,
вот так и...

***

Как вечность-то, поди, одна
на свете, и порукой

тому и бесконечность, и
безвыходность ее,
вот так и...

***

Как, сознаюсь, с недавних пор
мои воспоминанья
вдруг стали столь остры, что страх
и прикоснуться к ним,
вот так и...

***

Как чуть изменится в тебе
черта души ли, тела,
мне неизменною она
приснится тотчас, вот
так и...

***

Как всё, что знаем наперед,
мы знаем слишком зыбко,
условно, словно в словесах
несбыточных стихов,
вот так и...

***

Как, поднимаясь вверх да вверх
по склону скользкой жизни,
в упор ты видишь кажду пядь
влекущей вверх земли
и за водоразделом мнишь
увидеть райски кущи,
но видишь деревушку лишь,
ручей и сельсовет,
и понимаешь, сколько бы
ты ни спускался – то же

ты будешь видеть, и спешишь
в открывшийся простор,
вот так и...

***

Как скорбь окутана дневной
цветистой Майей, горе –
оно, известно – не беда,
беспочвенна печаль
и безотрадность-то, глядишь,
не столь уж безотрадна
и трудновато было б жить
иному без нее,
вот так и...

***

Как я не схож, совсем не схож –
куда уж там – с поэтом
или с прозаиком, но аж
с читателем не схож,
вот так и...

***

Как рты открыты от их дум
предельно узколобых,
зато глаза глядят на вас
лишь поволокой глаз,
вот так и...

***

Как не любил я, чтобы в кадр
с навек застывшим храмом
входили люди, что уйдут
навеки из него,
вот так и...

***

Как у пророков «Бог» и «враг» –
почти одно и то же;
ведь «враг» есть кара, а она –
и есть, по сути, Бог,
вот так и...

***

«...несть эллина, несть иудея»

Как – эллины не знаю, но
кой-кто из иудеев
о «русском» Боге толковать,
куда востер, крестясь,
вот так и...

***

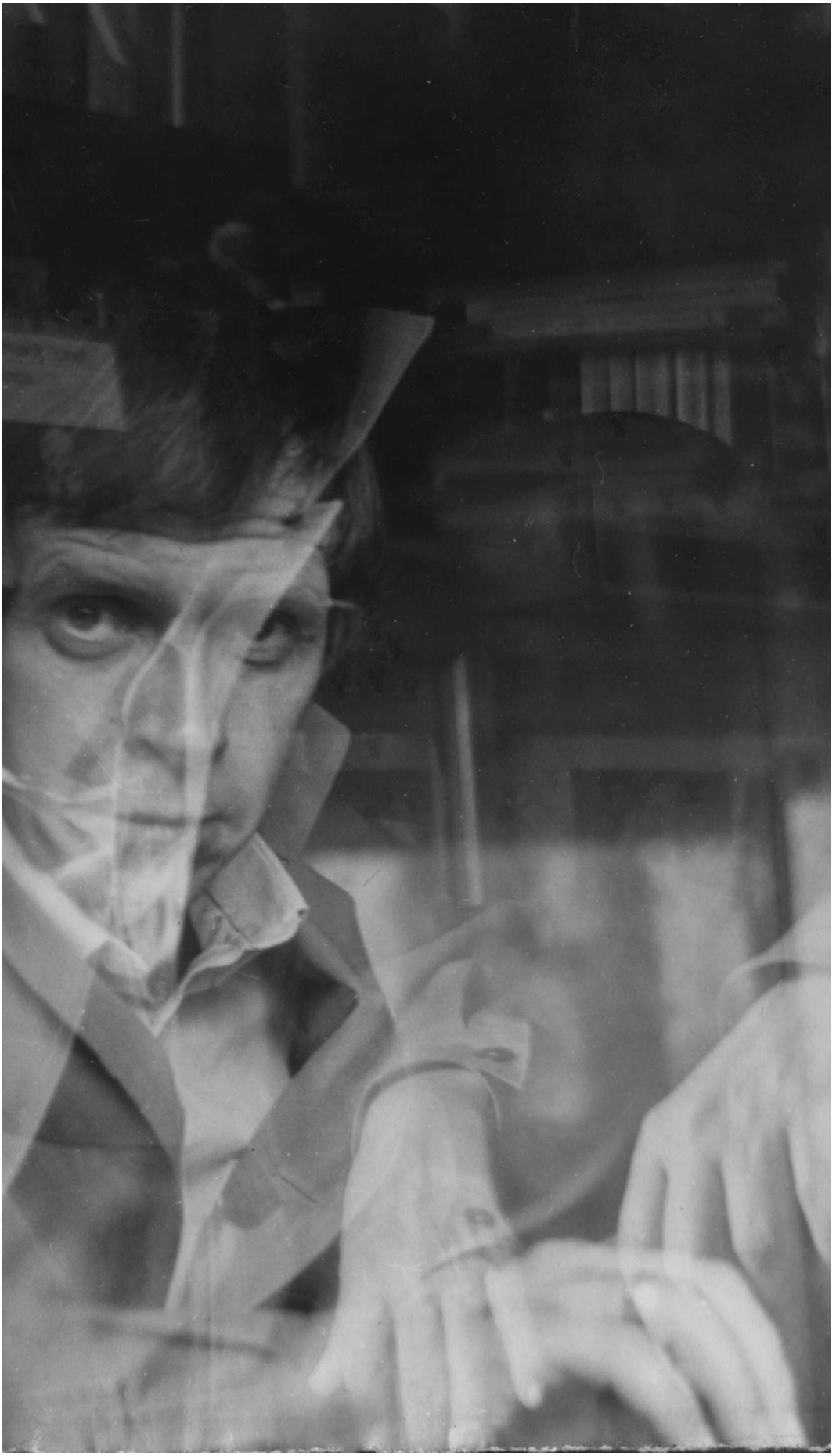
Как не понять мне, отчего
Он «Первенец из мертвых»
зовется – (что же Лазарь иль
«восста девица» что ж?) –
вот так и...

***

Как благ привыкший к игу – он
молчит уединенно
иль, «полагая в прах уста»,
«надейся», – говорит –
вот так и...

***

Как засветло, но облетев,
деревья походили
на собственные тени в том
античнейшем аду,
вот так и...



***

Как разве только дерева? –
ветвятся – руки, реки,
иль корни в темноте земли,
иль кровь «во мгле людской»,
вот так и...

***

Как каплевидный раб и человеконенавистник,
не зря нам Чехов подменил
порядочностью честь,
вот так и...

***

Как слишком тяжкая волна,
ударившись о берег,
вдруг превращается в валун,
валун же – в липкий ил, –
вот так и...

***

Как чем он ближе – дальше друг
живет от эпицентра
Москвы – лишь новостроек ширь
да смерть сближают нас,
вот так и...

***

Как светом раненый закат
зализывает раны
в глуши лесов, в дали полей
иль моря в глубине,
вот так и...

***

Как первым из ее мужчин
он был крещен – на шее
дюралевым крестом – она
между объятий им
играла часто, будто той
«очаковской медалью»,
что в детстве Ленский наш играл,
и доигралась, вот
так и...

***

Как пьяным никогда грузин
не станет, потому что
своею речью упоен
он больше, чем вином,
вот так и...

***

Как что за праведность, когда
она собой гордится –
глупа, тщеславна ли, – а всё
неправедна она,
вот так и...

***

Как время, если есть оно,
любому веку близко,
когда ж его не станет, то
и мигу – далеко,
вот так и...

***

Как избранный рожден народ,
чтоб мучится и мучить,
и длятся муки Рождества

Господнего поднесь,
вот так и...

***

Как в синтез я не верю зря
иль в дуализм двуликий –
ведь если что-то и дано,
то только ТРЕТЬЕ нам,
вот так и...

***

Как чтобы добрый злак восстал,
необходимо, Боже,
РАССЕЯНЬЕ. Да соберет
оно Твой урожай,
вот так и...

***

Как сор не выносили из
избы веками – (кроме
бессовестного сора, в ней
не стало ничего),
вот так и...

***

Как средь Москвы уже цветут
як у Киеве – каштаны,
и кашей гречневой глядит
вскипевшая сирень,
вот так и...

***

Как пением надземным был
силен Давид, стоявший
на почве той, на коей слаб

был мощный Голиаф,
вот так и...

***

Как лишь надеждою, затем
ее утратой (это –
одно и то же) жил кой-кто
из сверстников моих,
но поколеньем позже всяк
рождался в безнадежность –
жил в коллективе иль
бежал куда-невесть,
вот так и...

***

Как сон – он сам исполнен глаз
и уст высокомерных –
бессчетной тьмою глаз и уст
людских – не «por», а сон –
«виденьем головы» нарек
нагое сновиденье
пророк... (но чем мы видим сны –
душою иль умом?),
вот так и...

***

Как только в молодости миг
вдохнем мы вечной жизни,
и представление о ней
затем ветшает в нас,
вот так и...

***

Как до того, как умереть,
они играли в жмурки,
и ощупь настоящего
пытались уловить,

а ныне не они, а мы
протягиваем руки,
и под повязкою у нас
расширены глаза,
вот так и...

***

Как даже мертвый для тебя
чуть-чуть, да неудачник –
что ж говорить о тех, кто жив
и неудачлив, – их
ты сторонишься, как чумы,
страшась ума и воли,
растраченных – ужели впрок? –
на неудачи их,
вот так и...

***

Как, глядя в перспективу рельс,
товарищ Лобачевский
отлично знает, что они
пересекутся все ж,
вот так и...

***

Как неразумное дитя
на слух воспринимает
слепое вдохновенье книг –
на шелест, на разрыв,
вот так и...

***

Как до восстания дерев,
до яблок созреванья –
до той поры один лишь Бог
знал, где добро, где зло –
вот так и...

***

Как у раскаянья в плену
возненавидишь в ближнем
свой свежий грех и, смотришь, вмиг
забудешь про него*,
вот так и...

***

Как разве хочется кому
собою оставаться,
и оттого, должно быть, всяк
век будет сам собой,
вот так и...

***

Как зрители полночных стран
мы, съежившись, но знаем,
что ночь прозрачнее, чем мысль,
чем лето, чем печаль,
вот так и...

***

Как чем хотя б на вид светлей
да-да в темнице нашей,
тем запредельней и темней
в темницах наших душ,
вот так и...

***

Как днем посвистывать горазд
песок горячий, ночью ж
на лоно дюн ничком падет
глубокая роса,
вот так и...

* И про ближнего, и про грех.

***

Как небо в клубнях облаков
(куда оно несется?) –
сирени гроздья, гроздья гроз –
все это было въявь,
вот так и...

***

Как мы владели прошлым – мы
катались в нем на санках,
играли в прятки: что же, друг,
«пора» иль «не пора»? –
То было нашим прошлым, но
оно однажды стало
историей, и нам в нее
уже заказан путь,
вот так и...

***

Как позднею весною лес
великопостный вместе
с кукушки счетом отражен
в нахлынувшей воде,
вот так и...

***

Как землю – теплую траву
и теплые деревья –
холодным обдает дождем
смерч налетевших туч,
вот так и...

***

Как быть счастливым? – Раз мы шли
вдоль длинного забора
какой-то свалки, стройки ли
и были счастливы,
вот так и...

***

Как снов оазисы среди
пустынь твоих бессонниц –
неутолимой жажды лишь
отчетливый мираж,
вот так и...

***

Как симфонический буран
кренит смычки деревьев,
весь город превратив в орган –
кирпич, стекло, бетон,
вот так и...

***

Как не какой-то мухомор,
но дерево познанья
мне ядерного взрыва гриб
напоминает, сэр,
вот так и...

***

Как – что такое темный лес? –
восстание деревьев,
и, так же как восстанья все,
он обречен на сруб,
вот так и...

***

Как в небесах предгрозовых
среди их мглы кромешной
являют троекратный лик
нам молний пробела,
вот так и...

***

Как был ли впрямь слепой Гомер
Гомером? иль Шекспиром –
Шекспир? – об этом им самим
неведомо досель,
вот так и...

***

Как дня спадет голубизна –
обманчивая Майя –
и обнажится без прикрас
космический хаос,
вот так и...

***

Как листопад сухой не вдруг
обрушится с небесной
уже притворной синевы
на мир, на город, на
машин застывших во дворе
цветистые капоты,
на зонтики грибные и
на отблеск твоих глаз,
вот так и...

***

Как мы единственностью душ
своих затем и живы,
что дух един, но несть числа
и имени ему,
вот так и...

***

«Сила моя и пение мое Господь
и бысть мне во спасение»

Как «пение» есть «сила» в нас
и райскому пределу

мы БЛАГОЗВУЧИЯ нашли
метафору (в ночи
пасхальной сквозь больничный храп,
услышав службы звуки
в транзисторный наушник) я
познал их смысл,
вот так и...

***

Не как на деву – как на мать
взирать на Церковь должно,
но это невозможно – раз
ты не родился в ней,
вот так и...

***

Как что бы ни писали мы –
стихи ли, акварели –
в конечном счете пишем мы
лишь приговор себе,
вот так и...

***

Как вера всей была землей
для этого народа,
что променял ее на злой
обетованный прах,
вот так и...

***

Как даже грешник, но несет
в себе крупицу Бога,
которая сама и есть
весь без остатка Бог,
вот так и...

***

Как долго в те бездонны дни
тропа сбегала к речке –
сначала чуть прохладна (тень
от дома и крыльца),
потом теплей (чрез огород
пахучий), а потом уж
самой речушки холодней
в обрывистых кустах,
вот так и...

***

Как этот воздух золотой
весенний глухо полнят
живые, мертвые ль слова
иль музыки разброд,
изображенья лиц и рож,
движений и пейзажей
под рокот тех же слов пустых
и самых низких нот,
вот так и...

***

Как счастья, славы ли ища,
ты обретешь добычей
лишь душу грешную свою,
куда бы ты ни шел,
вот так и...

***

Недосравнений сих разброд
подобен Моисею,
что крест пустынь не донесет
до Иорданских вод,
вот так и...

ВПЛОТЬ

1984–1989

Светлой памяти В. Кормера

«Самые стихии изменились, как
в арфе звуки изменяют свой характер,
всегда оставаясь теми же звуками».
Премудрости Соломона 19, 17

Веруем мы без веры, за гранью вер.

1.

***

Не открой своево сердца всякому,
не открой своево сердца некому,
не открой ты его никоему,
не открой ты его и сам себе.

***

То-то зима натекла:
ни холода, ни тепла,
ни тепла, ни холода,
ни коня, ни повода,
ни повода, ни узды,
ни постоя, ни езды,
ни езды, ни ездока –
лишь дорога глубока.

***

В войны последней
лихое время
своею смертью
никто не умер,
но все погибли –
герои, трусы –
и даже те,
кто в живых остался.

***

Время, срок – и в этом суть –
близок нам ВСЕГДА:

вечности бескрайний гимн –
краткие года –
пусть вода течет, «как суд»,
правда, «как поток»,
по щекам твоим нагим
в скомканный платок.

***

Господи, отчего тиранов
сотворил Ты подобно людям –
т. е. им Твоего подобья
тоже толика перепала,
отчего, как Шекспир, не сделал
Ты тирана горбатым карлой,
колченогим, кривоколенным,
чтобы лик его безобразным
был, как мерзость и как проказа,
и как козни его тиранства,
отчего, как Шекспир, Ты дал им
дар чернейшего красноречья,
а порою, как тот же Уильям,
ум давал им, хоть безоглядный,
но ухватистый и глубокий,
словно прорва иль ров могильный?
А ведь мог бы, Господь, тирана
Ты дебилом наглядным сделать,
чтоб безмозглости ряской трусы
оправдали его злодейства.

***

Леска микрорайонного края
означились средь сумрака зевоты.
– Все ждешь, когда затеплится заря
Господняя? –
Ага. Всё жду. Но кто ты?

***

Как пришла бодлива корова
к самому ли ко Господу Богу,

что рогов-то ей не дал, бодливой,
и мычит языком человечьим:
«Что ж Ты так надо мной наглумился –
уж трава-мурава мне не в голод,
уж вода ключева мне не в жажду,
уж и мык мне надойный не в муку,
уж телок мне ношенный не вношу,
рок не в рок мне, безрогой, без рог-то.
рок не в рок мне и Бог мне не в Бога.

***

Наша с соседом обитель (палата т. е.)
всем хороша: свой душ и свой сортир есть,
и, возвращаясь из них, сосед мой – свиток
необходимой бумаги с собой приносит
и заповедно ставит в изголовье,
занавес век иудейских не опуская
долу... Бывало так Катулл, вернувшись
утром с попойки иль с чужого ложа,
словно лампаду, ставил в изголовье
свиток стихов, у Лесбии отбитый.

***

Могильщик крикнул не грубей,
чем принято, и враз
устало стая голубей
над кладбищем взвилась

тысячекрыло... будто бы
из всех земных застрех
в небесный промысел судьбы
земной поднялся снег.

И жизни вплоть, и смерти вплоть
век связывает нить...
Чтоб праха глиняный ломоть
над прахом преломить.

И нет империи окрест –
ни крыш, ни этажа –

друзья, ноябрьский резкий лес
прозрачный, как душа.

***

Совсем вблизи она походит на
ту предотъездную не суету пустую,
но пустоту, что тупо стеснена
в подвздошье где-то. И пока ты всуе

одно и то же тщишься в сотый раз
не позабыть – но что? – вот в чем загвоздка,
она стоит, как позабытый класс
на фотоснимке вкруг тебя подростка...

Вблизи она походит на пробел
в подспудной памяти иль в знании ответа...
Как будто «на дорожку» ты присел,
и нету сил подняться, Лизавета.

***

Понуро, обреченно
уходит навсегда
измученная черная
рожалая вода
из голубого пыла
в свой беспросветный прах,
и что же это было,
я не пойму никак.

***

Сначала меньше,
потом лучше,
но все кромешней
черная вода,
и ты опознан
в отражений гуще
сначала поздно,
после – никогда.

***

Уж туч октябрьских толща
полна ноябрьской мглой.
Неслышнее и тоньше
листвы истлевшей слой.
Просвет так мал у суток.
Почти исчезла суть
свечения, и в сумрак
души не заглянуть.

***

Как возродился все же
язычества мираж,
так возродиться, Боже,
Ты Своей вере дашь.
То рассветает, а не
смеркается впотьмах:
заря в своем тумане,
как Лазарь в пеленах.

***

Человек – лишь состоянье,
а не сущность. Так и ты:
как сияло глаз сиянье,
как лучилися черты...
Не дай Бог, узнать нам скоро,
что таит души краса
в глубине колодца-взора,
за околицей лица.

***

Лишь тонкой коркой сна
от мякоти безумья,
ледком прозрачным от
пучин его – душа
отделена – оно
бок о бок с нами, рядом,

нет – в нас самих, как яд –
в тишайших травах: Ша!

***

Чуть от тела оттает,
через дождь или снег,
но душа отлетает
неминуемо вверх –
в космос – скопище теней –
черный – не голубой,
атмосферных явлений
не касаясь собой.

***

Стена стволов,
кустов ли прутья.
Обрывки слов.
Обрывы круч.
И коль не путь –
хоть перепутья
дай, Боже, – пустошью
не мучь.

***

Землей была им вера:
над странами они
парили, словно ветром
несомые огни
созвездий ли небесных,
селений ли чужих...
И за полета бездну
все сторонились их.

***

Торопясь на постой,
на зачахших конях
едет рыцарь худой,

едет рыцарь-толстяк:
толстый прет напролом,
доходяга – отстав,
(где же Санчо с ослом?) –
Дон Кихот и Фальстаф.

***

Когда бы был я
седым буддистом
и подлежал бы
пасьянсу кармы,
хотел бы я
перевоплотиться
в мелодию,
чтоб меня играли.

***

Тьма: сумерек осенних
связующий дымок
сметает все, как веник,
как ветер, из-под ног,
и шапкою на воре
горит заря – точь-в-точь –
расплывчата, как море,
беспочвенна, как ночь.

***

Поначалу лишь обрядом скорби
кажутся нам смерти годовщины.
А чуть позже – юбилейным лаком
лессируется о близких память, словно
удаляются от нас они, но после,
если хватит незаметной жизни,
в праздник превратятся эти даты,
оттого ль, что с каждым годом ближе
мы к ушедшим, оттого ль, что в смерти
глиняной и вправду мы не видим,
но предчувствуем рождение второе.

***

Не таскать нам воду
летом безоглядным,
невозбранный воздух
ребрами сжимая,
не колоть нам дров – эх,
воздыхая темный
предвечерний воздух
осени бескрайней,
не глядеть, как гладит
ласковое пламя
алые поленья
тягою небесной.

***

Бескрылых деревьев слетаются стаи – пора
опять расставаться со словом – что может быть
горше? –
но нам расставаться со словом теперь уж не
гоже –
сегодня расстались, зато неразлучны вчера.

***

Чтоб вам провалиться,
щеки и глаза! –
исказились лица,
скорчилась краса.
Что ж былого пыла
лицам не вернуть? –
иль в них проступила
их былая суть.

***

То лета красного пылища,
то осень – раз в седмицу – синь:
весна навыворот, а зим
снега: былого пепелища.

И человек – не слеп, не зорок –
в лежалом пожилом пальто
век что-то вымолвить спросонок
хотел бы, но не знает ЧТО.

***

Я побывал у подножья берез,
видел рябины кровавую гроздь,
кровосмешенье желтка и чернил –
Иван-да-Марью, глядел, как закрыл
глаз свой цикорий. У спуска к ручью
я задохнулся огромной крапивой,
и облака синевою счастливой
вновь надо мной разыграли ничью.

***

Удаляясь по аллее
от ночного фонаря,
с каждым шагом все длиннее,
все бледнее тень моя –
так иду я среди ночи –
мне ж навстречь от фонаря
следующего – все короче
тень идет, но не моя.

***

Забвения лед,
словно зеркала гладь,
глядит лишь вперед –
не оглянется вспять:
из лжи отраженья
не надо, поверь,
ломиться в забвенья
ОТКРЫТУЮ дверь.

***

Довольно дури! –
поеду к морю –
поймаю в нем
золотую рыбу,
все тайные
ей повем желанья
и с миром в дом
возвращусь утешен:
в пучину канула
моя тайна,
как будто камень
немой, как рыба –
как ни реви,
ни рычи, пучина,
молчит в тебе
моей рыбы тайна!

***

Сухая пустынность весенних бессолнечных
дней:
ни черного снега, ни зелени проблеска – сухо:
как в рыжей глуши фотографий – серее, рыжей
слепых фотографий, где мы б не узнали друг
друга.

***

Стволы берез, как свитки:
невнятен нам с тобой
сей грамоты-улитки
подтекст берестяной,
и только ветер броский
читает – грамотей –
сырых ветвей наброски,
каракули ветвей.

***

Я так привык к упрекам, что иной
раз принимал в свой адрес безымянный
то колкость, то подначку, то навет,
которые ко мне и относились,
раз я их принимал пусть без причин
достаточных...

***

В нашей плоти провал и проруху
кануть оной Прообразу вдруг? –
не во плоть Он облекся, а в муку,
в корчи наших разбойничьих мук.

***

Ангел крылами
закрыл лицо,
ангел зажмурил
свои глаза,
и даже нимба
его кольцо
гаснет,
не замыкается.

***

Мятежи:
вакханалия грез или грозных заоблачных
планов,
вакханалия, ах, гениальной тактической лжи,
вакханалия плах и предательств, предательств,
измен и наганов,
вакханалия страха, табу нарушенья, МЕЖИ –
преступить чрез которую, чья же решалась
нога? – но
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – атавистический,
нечеловеческий страх...
Страшен пастырь трусливый, пугливое стадо
баранов,

но страшнее всего, когда страхом охвачен
смельчак.

***

А может быть, премудрый Боже,
душа и смерть одно и то же –
один единственный, но миг
в подушках влажных, чуть живых.

***

Махровые маки, черемухи ль дымный Эдем,
иль черные розы, забытые нами в пельменной,
высокие гроздья голландских ручных хризантем,
гербарий гербер иль нарцисс, или крокус
подземный,
тюльпаны, раскрывшие клювы, – весь этот
гарем –
прими от меня и от времени мглы незабвенной.

18.7.87

***

Ясность это – тайны
затемненье,
а не антипод
бездонной тьмы.
Слишком полагались
мы на разуменье,
слишком полагались
на безумье мы.

***

Была одна вода,
и мрак над пустотою,
и Божий Дух тогда
носился над водою,
но вот, сорвавшись с уст
последнего пророка,

наш мир горит, как куст,
в огне являя Бога.

***

Осенний дом, а возле –
старик в худом пальто:
все стало «ДО» и «ПОСЛЕ»,
но все же больше «ДО».
Погоды льются сводки,
но старику зараз,
как до и после водки,
как до и после нас.

***

Вы наконец нашли врага,
который вам не страшен –
его же можно оскорбить,
тем выместив на нем
все оскорбленья от врага,
которого бояться
приходится и в той норе,
что верой стала вам.

***

Захотелось травине
сквозь снег прорость.
Захотелось барану
с волками пожить –
у волков ли житье
вольготное,
у волков ли житье
досытное.
А и вышел баран
в широку степь,
что ль по-волчьи выть
научитися.
Как и вышел баран
в широку степь,

с той поры о баране
и слуху нет.

***

Мне страшно слушать говорящих
во сне и нестерпимо жаль
заблудший говор их. Сей ларчик
не открывается. Едва ль
рассудишь ты по дряблым фразам,
по снам, которые глядим,
что он там делает – наш разум,
что он там делает – ОДИН?

***

Извилистая нежность
моих былых подруг
вдруг помертвела внешне,
и свет их глаз потух,
но снятся мне доселе
они, как в оны дни,
как будто не старели,
а умерли они.

***

Пусть, как поземка низок –
как ветром ветра вой –
ты музыкой пронизан,
как музыка тобой.

***

Холодные астры.
Чуть теплые строки.
Высокие зори.
Глубокие росы.
Сусального солнца
прозрачные тени

не бредят уже
прошлогоднею тьмою.

***

Позднее лето. Голубое поле капусты.
Огнеопасный, покуда не вспыхнувший лес.
Брошенных велосипедов
не ветер ли крутит колеса?
Ох, а мы лезем и лезем
в Москва-реки серый отвес.

***

Флот тонет в море. Пир – в вине.
И все блаженнее Антоний.
И все божественнее Август.
И все незванней всякий гость.
И у привыкшей хохотать
от плача занемели плечи,
глаза, затекшие от плача,
таят свою златую злость.

***

Дождь перестал,
и, опоздав,
ты все ж пришел
в замоскворецкий
июльский двор,
но нынче дождь,
навек, должно быть,
зарядил он.

21–24.11.77

***

Первая желтая прядь
в русалочьи волосы леса
впуталась. Впредь – только время

и срок его верный не вем.
Прядает ветер,
испуган неведомо кем,
жалко кривятся
стволы фонарей из железа,
и облетает с них свет
на рассвете совсем.

***

Член ИКП анкетный,
как гений богодан,
не понял он, что «captain»
не значит капитан

большого парохода
иль полковую вошь,
а значит: воевода –
великих браней вождь.

Трагического действа
весь смысл Шекспира в том,
что гения бездействия,
что Гамлета с брюшком,

что этого болвана
под славный звон мечей
«четыре капитана»
уносят в мир теней.

***

Раз заходил ко мне сей правоверный еврей –
был он тогда математик, но ныне своей
вывезен в Лондон – английской своей
половиной.
Не математик теперь он – истсайдский раввин он.

Зингера «Страсти» пришел он кошерно продать
(не разживешься, поди, в одночасье мильоном)
за подороже плюс двадцать процентов – он
(мать...
он математиком был), хоть еврейским бульоном

залит был сборник и жирною грязью порос
(так мы узнали, что значит и впрямь chicken
broth).
И, очутившись в моей, как решил он, каморке,
снявши роскошную шапку, остался в ермолке.

В комнате он на Николу-угодника страсть
как... вопросительно глянул, – но лишь как на
моду.
Библии же углядевши славянскую вязь,
рек он: «О, нет не вино вы здесь пьете, а воду».

Как мне хотелось ответить ему, что вино
их иудейское кончилось в Кане давно:
вода крещенья в вино обратилось причастья
(греческий он не постиг за отсутствьем
пристрастья).

Спорить полезно лишь с единомышленником.
Вместе с деньгами я отдал раввину бесплатно
стихи для сборника, что составляла тайком
его жена – англичанка – ну, отдал и ладно,

но, сознаюсь, ненавистен мне был этот мой
«либерализм», хоть беззлобный, но слишком
немой!
И удалился несбывшийся сей поединок –
только вода, что стекла с его снежных ботинок

стояла в комнате (просто вода, не вино),
я же глядел на нее, ведь еврей я отчасти,
видно, молчанье отчаяньем мне суждено...
«Страсти» же Зингера мне полюбились до
страсти.

***

Сорока – запустенья птица –
о чем она кричит одна,
когда сыта и не боится?
Природа осенью больна,
у листьев пожелтели лица,
но снег просох в ночной траве,

и еж шуршит, когда клубится
в попрошлогодневшей листве.

***

Пустыня. Люди в разных позах
лежат: потерянный народ.
Заутра снова, словно посох,
песок змеится: вновь вперед.
И сколько лет сей сон кошмарный
не прерывается нигде:
песок мы называем манной,
привыкли к каменной воде.

***

На востоке тайной
именуют всю
видимость созданья,
мерзость и красу.
Что ж такое Майя,
а всего скорей –
НАИМЕНОВАНЬЯ
всех земных вещей.

***

Тогда мы с милой жили, словно
вожди – в душистом шалаше.
Текла под нами Воря сонно –
мы искупались в ней уже.

В ней слева мельница плескалась,
а справа, где реки излом –
ночами что-то зажигалось
в деревьях – сумасшедший дом.

А прямо – каменная веха
пустого ветхого села –
с конца XVI века
стояла церковь бел-бела.

Допреж ее – Тверска застава –
здесь был Микулин-городок,
и слева мельница, и справа
бездомный призраков приток.

...Мы ж в кружке с длинной ручкой – мерной
молочной кружке – на костре
варили кофе. Дождик мелкий
шуршал листвой о сентябре.

И дым костра к реки кувшинкам
сползал безветренно. Порой
интеллигентный мельник с шиком
дымил огромной бородой.

А тот студент из дома справа,
нас приютивший средь ветвей
орешника, давно, держава,
преуспевает в Ю-Эс-Эй.

Все было счастливо и странно:
река, дурдом и храм, и луг,
и то, что Рассела Бертрана
зачем-то мы читали вслух.

***

Сошлись деревья
во время оно
решить, кому же
царить меж ними.
И вот маслине
они глаголят:
«Цари, маслина,
над деревами».
«Довольно мне, –
говорит маслина, –
того, что люди
моим елеем
себя, царей и
богов венчают –
моя ль забота
ходить над вами».

Смоковнице
говорят деревья:
«Смоковница
да цари над нами».
Смоковница ж
им в ответ глаголет:
«Довольно сладости
в моих смоквах
царям и людям,
и божьим жертвам –
ее ль оставлю
ходить над вами?»
Тогда лозе
дерева глаголят:
«Цари меж нас,
лоза винограда».
Лоза ж златая
им отвечает:
«Покину ль я
то вино, что бродит
во мне, чтоб тешить
богов, царей ли –
покину ль хмель свой
ходить над вами?»
Тогда, отчаяв,
рекут деревья:
«Цари, терновник,
над деревами».
И отвечает
нагой терновник:
«Довольно ли
наготы и терний,
чтоб вам венчаться
моей сенью? –
А коли мало
моих уколов,
то выйдет огнь
из среды терновой,
как выходил он
пред Моисея,
испепелит
великаны кедры,
нагорны кедры,
красу Ливана».

***

Успокойся, дружище:
твоя совесть ПО-ЧИЩЕ,
башмаки по-дороже,
поджинсовей джинсы,
ты участливей слетов,
ты костлявее счетов...
Что мы делаем, Боже,
без него на Руси.

2.

***

Страшный Суд вверяя Богу –
пусть со страху, сгоряча –
может быть, я с веком в ногу
и простил бы палача,
но не названы ни имя,
ни вина его черна –
от того и непростима
непростимая вина.

***

А истина? – а истина –
не лабиринт крота –
как нагота таинственна,
проста, как нагота –
она умом незрячим
окутывает нас,
мы ж прячем ее, прячем...
но как-то напоказ.

УЛИЦА КРАСИКОВА

Снизойдя до нашей прозы,
в тень отбрасывают тень
внеслужебные березы,
внеслужебная сирень,

и, обтянутые в ситцы
до мучных советских плеч,
внеслужебные девицы
движутся себе навстречь.

***

Сгорблена его душа,
обветшавший дух,
чуть ворча и чуть дыша,
туг на зренье, слух:
немотой обтянут рот,
взор – нагой оскал –
раз уж ты еще не мертв,
хорошо, что стар.

***

В январе полуодета,
ах, весна, ты входишь в дом –
начинаешься со света
и кончаешься теплом.

В путь пора, пятак мой медный.
Солнце, тень свою не блазнь –
да минует нас бессмертной
ясности водобоязнь.

***

Крапива. Забор.
Задворки. Сарай.
Не пойман – не вор.
Не потерян – не рай.
Когда этот свет
не воротишь назад,
когда нет как нет
и когда рад не рад.

***

Зимы белый свет.
Беспутная высь.
Как волки – след в след –
и днесь, и надысь
идут глухо, слепо,
а оттепель слов:
посмертные слепки
застывших следов.

***

Любите самовлюбленных,
они-то вам не изменят
ни с ангелом, и ни с бесом,
хоть век изменяют, но
сухими они выходят
постелей чужих из пены
и разлюбить им вряд ли
кого-нибудь суждено.

(ПРИЧ., 25,20)

Это Он снимал одежду от стужи бел,
это Он лил уксус себе на раны,
это Он опечаленным лишь о печали пел,
и Его ненавидели бездари и тираны.

ноябрь 1986

***

Земля кружится, воздухом прикрыв свои края,
НО БЕЗДНА ЯКО РИЗА ОДЕЯНИЕ ЕЯ.

Луна кружится, кратеров все язвы заголя,
НО БЕЗДНА ЯКО РИЗА ОДЕЯНИЕ ЕЯ.

Кружится в танце парочка – бум-бум
и тра-ля-ля,
НО БЕЗДНА ЯКО РИЗА ОДЕЯНИЕ ЕЯ.

***

Не римлянин, не иудей, не грек –
мертвецки трезвый русский человек,
лишившийся не облика – его-то
давно лишили школа, кодла, рота
иль подвиг трудовой, то бишь работа,
но ОБЛАКА, в которое, как тень,
на миг он погружался, даже – БЛИКА,
в глазах, как пепел блеклых – погляди-ка:
как будто в клетке, он в очей сетчатке, Вень.

***

Суждений порывы
сухи, как песок –
мы немы, как рыбы,
меж собственных строк:
ведь рыба средь ила
ль, на сковороде
ни уха, ни рыла
не смыслит в воде.

***

Завиднелся лес
еле... поневоле.
Первый в сердце всплеск
непредвзятой боли
был, как первый крик
предутренней птицы:
просто «чик-чирик»
в садике больницы.

***

Спасенья ищи от унынья-греха
лишь в чистых глубинах, в ключах языка,
лишь в речи изгибах, провалах, в самом
забвенье ее о себе, обо всем.

***

Вечернею зарею
мир сделался опять.
Меж жизнью и собою
легко ли выбирать?

Ты, словно жребий, выпал,
а мнится, словно роль...
Бог создал боль и выбор:
иль выбор или боль.

***

Калиостро (не граф),
стихотворец-профан,
стопы пересчитав,
он продолжит роман,

и взлетит высоко
умозренью в укор –
почерк крыльев его –
его крыльев узор.

Среди торсов и морд,
нежилого жилья
он составит кроссворд
быть-иль-небытия.

Что же мог этот маг?
Поднят занавес век,
но на сцене и мрак
непроглядный померк.

Все сказал до конца:
«Опустеет музей –
станет пылью пыльца
крыльев бабочки сей».

***

Не пренебрегайте,
вернейшие жены,

ни любовью тайной,
ни влюбленностью,
ни влечением вечным
мужчин, окружающих
вас на улице, в метро,
на царской службе... Вы
все эти «подходы» и
«подъезды» и косые
взгляды и улыбочки,
что просят кирпича, –
как аккумуляторы
вы их аккумулируйте
и супругу вечером
дарите сгоряча.

***

Как странник, что из рока –
котомка и клюка –
так и не узрев Бога,
пришел издалека,
клюку поставил в угол,
котомка – в головах,
лег на скамью и умер
в потемках впопыхах.

***

Непониманье – стена крепостная.
Непониманье – живительный хмель.
О, от стыда этот гнев не сгорает:
в этом бою не бывает потерь.
И глухота косной роскошью пышет
и правоты попирает почет,
но коль имеющий уши не слышит,
он, хоть имеет уста – не речет.

***

Отрезвитеся пьяницы
от вина ли от хмельного,

возрыдайте, восплачьте ли
до пианства пиющие –
уж отъяся от ваших уст
все веселья и радости,
как от плоти отринутся
ваши души истошные.

***

С волками живший
вой себе по-волчьи,
раб, обжирайся
выданной гордыней –
как не понять
тоски твоей овечьей –
повадки волчьей
НЕДОДАРОВАНЬЕ.

***

В священных словах покружив,
нашел я ответ настоящий:
СКРЫВАЮЩИЙ НЕНАВИСТЬ ЛЖИВ
И ГЛУП КЛЕВЕТУ РАЗНОСЯЩИЙ.

Душа ж твоя слишком нища
для точного притчи прорыва,
и ненависть, лишь клевеща,
ты приоткрывал боязливо.

***

Скорый в заступленьи
Сын единый,
посети же свыше
жизнь Твоей рабы,
порастеплив иней
боль-недуга,
и Себя прославить
тем дабы.

28.7.1987

БАЛЛАДА О ЗАХОЛУСТЬЕ

Когда бы знать, когда бы знать
свой срок и свой черед,
две годовщины отмечать
мне б полагалось в год,
мне б полагалось дважды в год
устраивать пиры
для всех, кто до сих пор живет
средь этой, брат, дыры.

Когда бы знать, когда бы знать
срок смерти наперед,
я внес бы в чистую тетрадь
приход свой и расход,
и два бочонка б выставлял
друзьям до той поры,
покуда Бог меня не взял
из этой, брат, дыры.

Когда б нам знать, когда б нам знать
вперед и день и год
не за какие-нибудь пять
минут до смерти – вот
тогда бы освещали нас
ДВЕ видимых зари,
покуда нас Господь не спас
из этой, брат, дыры.

***

Сам будучи хлебом, что с неба грядет,
хлебами пятью Он насытил народ.

Но в чудо поверить Он не дал им сил –
и сердце диавол им окаменил.

В баркасе пославши их в Генисарет,
поднялся на холм Он молитве вослед.

Уж челн далеко – в средоточье пучин,
а Он на земле остается один.

Смеркалось, и знали апостолы страх,
толкуя о рыбах, а не о хлебах.

Тут ветер пустынный крыла распростер,
и море нахохлилось, словно орел –

и волны, как крылья оно развело,
а бурь оперенье, как саван, бело.

Молили они избавленье от бед,
но Он уж по водам ступал им вослед.

И, видя неверья их мертвую гладь,
сперва маловеров хотел миновать.

Размеренным шагом все ж шел Он к челну,
и кланялось море волнами Ему.

Он шел по волнению бурной воды,
и волны пред ним распрямляли хребты,

вскричали двенадцать со страху ль, спроста
Христа принимая за призрак Христа.

Но рек Он, в неверии их не виня:
«Аз есмь токмо аз – не страшитесь меня».

«О, Господи, – Петр воскликнул Ему, –
вели, чтоб и я мог ступить на волну».

«Иди, – отвечал ему Бог, и пошел,
но вере легчайшей сомнений тяжел

был камень – как камень пошел Петр ко дну.
«Спаситель, спаси, – прокричал он, – тону».

Втащил маловера Спаситель в баркас,
и бурное море затихло сейчас.

Челн к генисаретской причалил земле,
лежавшей в тогдашнем и нынешнем зле.

***

В главе 4-й от Луки Диавол –
на гору возведя в пустыне Спаса,
с ней показал Христу во мгновенье ока
все царства мира и все богатства царски.
В той же главе евреи Назарета
на гору вновь они возвели Христа и
смерть показали, что лежит в низине –
сбросить грозя. Но тут Христа не стало.

***

Связует нас ненастье:
в его пустотах ты,
как испытавший счастье
на горестном пути,
и нам не мрамор-памятник
за жизненной чертой,
а маятник, а маятник
кивает головой.

3.

«Рыдайте, врата!»
Ис., 14,31

Слез наготу не обнажая, скорбных
душ не прикрывши шелком голошенья –
лишь капель воска свеч заупокойных
живое жженье.

***

Кругом топтались ноги.
Дыхания дымок
окутал лица многи.
И понял я, как мог,
что все мы одиноки,
лишь ты не одинок,
уйдя от нас за сроки,
за свой последний срок.

***

Всё ближе твой уход
из соприкосновенья
со зримым миром тленья
в свет безвозвратно «тот».

Я рад, что холодней,
чем пьяною слезою,
прощался я с тобой
все эти сорок дней.

***

Смерть – водопад недвижного потока
в мир, уж во всяком случае, безводный.
Смерть – это тоже ВОПЛОЩЕНЬЕ, только
души БЕСПЛОТНОЙ.

***

Твое наследство не только труд, но веха:
«здесь» или «там» – глядел ты слишком вольно –
а ко двору приходится от века
только дворня.

ноябрь 1986

***

Иль – вверх, иль – вниз,
иль сторонишься краем,
но знаешь из
Евангелия ты:
воскресший во плоти
неузнаваем,
и как теперь найти
тебя, найти.

***

Стал ты теперь причастен миру мертвых
и Воскресенья таинству причастен.
Будь снисходителен к нашему горю в горних –
прости, несчастных.

25.11.1986

***

Знать, ни сумы, ни посоха не надо
(сколь неподвижен порог и позадь – дорога),
если уходит душа в страну возврата,
в страну итога.

28.11.1986

***

Свет ОДИН. Мы не живем –
я на этом, ты – на том –
на одном живем мы белом свете –
фотография твоя
с пробелами бытия
тем живее на былом портрете.

***

Стихи – это радость,
а Грузия – грусть,
пусть светлая и незабвенная пусть.

Друзья – это радость,
а Грузия – грусть,
пусть верная и неизбывная пусть.

Любовь – это радость,
а Грузия – грусть,
пусть страстная чаще для виду, но пусть.

Краса – это радость,
а Грузия – грусть,
пусть спеси пустынной исполнена – пусть.

Вино – это радость,
а Грузия – грусть,
и стол наш сегодня невесел и пуст.

Но вот что таят в себе все письмена.
Любовь для чего нам и дружба дана,
но вот в чем секрет и красы, и вина:
коль Грузия – грусть, значит – радость она.

***

Эх, Джемали, вправду мы ли
в беспрепятственной дали
вверх по Барнова ходили,
вниз по Барнова пошли?

Так уж мир устроен или
миг: «тогда», «сейчас», «потом» –
вниз по Барнова ходили,
вверх по Барнова пойдем.

Не забуду и в могиле
вросший в дерево балкон...
Или вниз мы не ходили?
Или вверх мы не пойдем?

Ты – Джемал Аджиашвили,
паспортным клянусь столом,
Величанский я – ходили
и теперь стоим на том.

Днесь в наигрузинском стиле
твой благословляю дом.
Так уж нас благословили:
есть извечный смысл и в том,

что, взглянув на вечну зелень,
на запас голубизны,
мы исчезнем, словно Зэмель,
с милого лица земли.

***

Рад или не рад я,
но «химеры» прах –
черта с два бурят я,
черта с два поляк.

Трудно плыть по руслу
отческих кровей –
черта с два я русский,
черта с два еврей.

Да и православный
я едва-едва.
Но сродни средь зла мне
край твой, татарва.

***

На ре́ках Вавило́нскии́х
там мы, сидючи, плакали,
поминая Сион-гору́,
Сион-го́ру Господнюю –
поминая лишь памятно,
схоронив голоса в гортань,
по ракитам развесивши
наши гусли, пластири ли.
Полонившие нас в полон
говорили: «Воспойте нам
ваши песни сионские
со сионским веселием».
Как же Господу песнь воспеть
на земле, на безбожныя?
и 136-й псалом
мы покорно пропели им:
«Коль забуду, Ерусалим,
я тебя на чужой земле,
пусть отсохнет рука моя,
крестно знамя творящая,
пусть язык закоснеет мой,
пусть ко горлу прилепится,
коль не станет Ерусалим
солью песни – веселия».

Да припомнится ворогам,
как с весельем рекли они:
«Рушьте, рушьте до камушка
до пуста́ Еруса́лим-град».
Дочери вавилонские,
век пребудьте бесплодные,
как бесплодна без нас земля,
вся земля иудейская.
А коль младня спородите,
пусть же враг, Богом посланный,
о каме́нь разобьет его
разорения нашего.

***

О. Васильеву

Твоя дорога из дорог –
дорога в родину и в рок:
бредет обочиной кривою
осинничек, не чуя ног –
он беспросветен, словно «вдруг»,
он полн, как колея, водою,
давно ни свет он и ни мрак;
и страшно бы, когда б не шаг,
безгрешный шаг твой за спиною.

***

Запомнить сразу –
значит зазубрить –
пейзаж ли, фразу,
знаний целый том,
но связь иная
есть – иная нить:
мы все запоминаем,
но потом.

***

У веселия на дне,
где мы тешились гулянкой
не с Кузнецким рядом, не
уж тем более с Лубянкой –

в двух нетвердых, но шагах,
у его подножья прямо –
у Николы в Звонарях –
благолепнейшего храма.

***

Ветер с рощей ссорятся
на исходе дня.
СОЖЖЕННОГО СОВЕСТЬЮ
помилуй меня.

И всю ночь, наверное,
длится их грызня.
Ты ж БЕЗДЕРЗНОВЕННОГО
помилуй меня.

Чтоб опять сподобиться
видеть: осень-скит,
сожженная совестью,
Тебе предстоит.

***

Что ж душа? – Иль воздух-вздох?
Или спрятанная влага?
или алой крови ток?
иль страстей бродячих брага –
нет ей имени живаго,
если есть она – то Бог.

***

Печальная отчизна,
ты не затмила их –
тех дней без укоризны,
мелькнувших, словно блик,
когда на сердце чисто
и каждый вздох, как стих,
все эти числа, числа
и годовщины их.

***

Он поэт безупречный, и это не лесть.
Но в порядке решения тысячи личных проблем
ему свойственно дико и глухо, и немо ко всем
со своими обидами и оскорбленьями лезть.

***

За душой – ни гроша,
за душой – лишь душа,
да и та –
маята –
больно уж хороша.

***

Утренний лес
это – ночь наяву.
Свет, как болезнь,
неприятен ему.

Тою же пущей
стоит он, застыв,
словно пропущенный
сквозь объектив.

Тысячи веточек,
веток, сучков,
листьев – навечно
застыли. Таков

брак тьмы и солнца:
тускнеют, смотри,
туманов кольца
на пальцах зари.

***

Пленяли нас не раз,
не первый раз из плена

ушли мы, взяв запас
мацы. И по колено

моря нам были – мок
лишь враг, чем глубже в сердце
наш возносился Бог,
и криков «сгинь, рассейся,

чужого праха персть!»
в ушах навязла глушь, но
«Како воспоем песнь
на земле чуждой?»

***

Никогда не увидите вы,
как березы растут из травы,
из коры ль заскорузлой – побег,
из беспутной толпы – человек
иль как храмы, о высях скорбя,
каменисто стекают с себя –
благодатными водами с гор –
как не видел и я до сих пор.

***

Всей силой древа свет вберет
и силе древа вмиг отдаст
слепая ветвь – и кислород
овеет благодатью нас:
вот так и наше среди тьмы
раздвоенное естество:
«ВНУШИ МОЛИТВУ И ВОНМИ
МОЛЕНЬЮ СЕРДЦА МОЕГО».

***

Теперь я птица: у меня
есть клюв, есть хвост, есть пух и перья,
не фигуральные крыла
сгибаются в суставах, словно

рука в локте, и ноги есть
чешуйчатые и с когтями –
их цепче взор мой – он в виду
окрестность всю имеет сразу,
вот я в нее слетаю с вяза
и испражняюсь на ходу.

ПО ПУХУ СЕРОМУ ОКИ

Оки напористой по руслу,
в пространстве сером, как шинель,
я плыл не в славную Тарусу,
тем более – не в Коктебель,

а в, как ее?.. – забыл названье,
верней, оно ушло на дно,
что глубже даже ПОДсознанья,
и, как часы, заведено

на некий миг. Наш челн беспутный
бил лопастями по реке
с таким отчаяньем, как будто
тонул земли невдалеке.

И на корыте том паршивом,
против которого Ока,
одним на свете пассажиром
я был в виду у старика:

в тельняшке, трезв и опечален,
не очень трезв, но и не пьян,
он челн свой безбилетно чалил
к своим безлюдным пристаням,

надеясь, что с узлом-прилавком
и за спиной, и на груди
из пустоты возникнет бабка
и крикнет: «Милай, погоди!»

Но ничего не возникало –
лишь берега в Оке по грудь,
и я до своего причала
решительно решил соснуть,

что в те поры не составляло
труда мне – вдруг хрипатый крик,
и вот уж тащит, как попало,
меня на палубу старик,

совсем зашедшийся от крика:
«Все счастье редкое проспишь, –
кричал старик, – гляди, гляди-ка,
гляди, мудило, – БЕЛЫЙ СТРИЖ!»

И я увидел средь зигзагов,
вблизи черневших и вдали,
стрижа белее белых флагов...
увидел, только к счастью ли?

***

Ниже выцветшей зари
там, где птицы «сизари»
не летают между крыш,
а на задних лапах лишь
жадно рыщут меж плевков
и окурков – кто таков? –
кто лежит меж голубей –
расстрелянный воробей.

НАБРОСОК ПОРТРЕТА ОДНОЙ ПОЭТЕССЫ

Сама в себя упрятана краса –
ее извне еще обдумать надо.
Она, как глянцем вылощена вся –
от облика до слов условных злата.
Но так, как ее добрые глаза
малы, и доброты в них маловато.

***

Всю зиму снег,
знай, возносился,
а вот и сник.

Обманом слыл,
небесной манной –
вдруг нету сил –

одна вода...
Весна-усталость,
но в миг, когда

очнулась вдруг
и вдруг всплеснула
ветвями рук:

кругом ни зги –
под деревами,
как под глазами
ее, – круги.

***

Морей раскинутые сети,
вершины храмов, гор прибой –
как много, Господи, на свете
еще не виданного мной...

Но разве невидали эти
сравнятся с невидалью ТОЙ?

***

Здесь зимою, куманек,
на вес золота денек,
а уж ночь-то дешева –
еле утра дожила,
но зато с зарею Русь,
как на алых лапках гусь,
колыхается.

***

Судьба, что колечко –
распаялось только –

станет как литое –
сольется навечно:
кто косою косит,
кто крестами метит,
времечко-то спросит –
извечность ответит.

***

Хлебниковская русалка? –
нет – та в омуте живет –
наша же – среди болот
выступает, как весталка,
как весталка без хвоста,
ибо торс ее раздвоен,
что не видно нам за слоем
тины – в ней по пояс вся
берегиня наша: на
язве уст – остатки гимна...
Берегиня! берегиня!
сколь по пояс ты стройна.

***

Не злорадствуй, милый мой:
крив рожок, да звук прямой.
Хоть правы твои слова,
но душа твоя крива.

***

На земле стоит напев,
как высокий шум дерев,
когда ветер или «дух»*,
заломив им ветви рук,
клонит долу их, а сам
не молится небесам.

* Дух – ветер (*церк.-слав.*).

***

Тот, кто родился в Назарете,
был тем, чего я не пойму:
все именуется на свете,
но нету имени Ему –
названья есть, но шиты гладью
условности людских словес,
поскольку Он не есть ПОНЯТЬЕ,
а просто нету или есть.

***

Невеста неневестная,
Господа Бога родшая,
предвечно в мире бывшего,
во тленну плоть сошедшего,
всем людям – Бога сущего,
Себе – Невесте – Господа.

***

Сусальна золота сентябрьская гарь.
Октябрь, заржавело твое злато.
Душа ж до Покрова зеленовата,
как встарь, моя прекрасная, как встарь.

***

Лес Тебе, закатно тлея,
причастился, чуть дыша,
это кровию Твоею
очищается душа.
Собираются в леса
дерева-единоверцы,
в сердцевине, т.е. в сердце,
пепел слов Твоих неся.

***

Не читайте биографий
бунтарей, вождей, поэтов –
на свой лад неладен всякий –
мрамор сгорбится фигур
столь блестящих; исказится
слава их, и на портретах
чуждо обнажатся лица
под вуалью крокелюр.

***

Обоюднодесте
распрямленных спин.
«Но диавол есть и
среди вас един» –
так Господь вещал им,
и, потупя зрак, –
«Уж не я ли – диавол», –
в страхе думал всяк.

***

Мы внемлем мессы звукам вечным,
где в каждой ноте пробил час,
но в нас какой-то вихрь заверчен,
и хочется вина и женщин –
святой гармонией увенчан,
а хочется пуститься в пляс.

***

Удел двоих
любить сквозь грех
сперва на миг,
потом на век –
и вы правы,
когда вдвоем
схватились вы
с небытием.

***

Он был невидимо красив,
хотя был палачом (курсив),
и плод познанья надкусив,
не канул в тайнах Леты:
о нет: доныне не зачах
огонь в слепых его очах,
златые кудри на плечах
лежат, как эполеты.

Он умер, но остался жив,
хотя был палачом (курсив),
к нему, заслышавши призыв,
текут забвенья реки –
не тем красив он и силен,
что златокудр, как ангел он,
а тем, что, как слепой закон,
он САМ забыт навеки.

***

Мгновений тех без края
святая простота.
И всюду – золотая
вечерняя вода.

Все: небо с голым садом,
нас и проводки нить
вода вечерним златом
готова отразить.

Лес вышел на опушку:
как припозднился май!
Мы слушаем кукушку:
«считай», «считай», «считай».

30.11.1986

***

Чем глубже к нему следы,
тем лучше в срубе самом:

среди огромной зимы
глубоким он полн теплом.

И тяга печная ввысь
уносит дым сигарет,
слова и песни, и мысль,
невысказанную, нет.

Вот тяга печная, но,
в отличие от земной,
ей в небо нести дано
все то, что стало золой.

***

«Аминь, аминь, – глаголит, – впредь
хотя вы тлен и прах,
но Царство Божие узреть
сподобитесь на днях».

И чрез неделю Иисус
учеников ведет
на гору горнюю, боюсь –
одну из тех «высот»,

где идолам молился всяк
язык окрестный, и
там, где крутой подъем иссяк,
они стоят одни –

Иаков, Петр и Иоанн
и перед ними – Тот,
кто Сам Себе среди крестьян
Предтечею слывет.

Но вдруг пророка нет, как нет –
им зреть дано на миг
и ризы белы, яко свет,
и, яко солнце – лик.

Тут сон горы тяжеле всей
свалил их с хилых ног.

Но им приснился Моисей,
и Илия, и Бог.

***

Рылеевские «завтраки». Часа
ну, этак в два – четыре пополудни,
и шуб, и перевязей колкая краса
оставлены пока в прихожей. Судьи

на скромный сей сошлись синедрион:
Бестужев... Греч... И под мундиров ряской
горят сердца, как зимний небосклон.
За окнами – мороз: пустой, сенатский.

Горюет сам Булгарин: о-хо-хо,
так где ж хотя б лафит, коль не «Клико» –
слова, слова и, чтоб им было пусто,
российский квас да кислая капуста.

***

«Вечности день» велик –
к чему исканья
сравнений: миг,
звезда, песчинка, капля.
Суть величин
есть встреча на просторе:
«Здравствуй, песчинка!»,
«Здравствуй, капля в море!»

***

А ночами зимой
зол мороз-постовой...
то ли в стены из бетона
вьюга бьется головой,
то ль всю ночь напролет
снег поземкою бьёт
свои земные поклоны
тебе, холод, тебе, лед?

***

Нет, нельзя печали
указать дорогу,
нет, нельзя отраде
долго греться тут,
у печурки, – в путь пора
туда, где, слава Богу,
кудреватые ветра,
как ангелы, поют.

***

С какого конца ни зажигай
свечу – с начала ль, с конца –
давно потерян твой чахлый рай,
и слиплись черты лица –
сначала предавший предаст в конце
и, походя, невзначай
предаст в середине. Коль нет в лице
обличия... обличай.

***

Скорей засыпай
или слушай впотьмах
подопытный лай
больничных собак –
он, слышимый днем,
не так одинок...
Давай же соснем
на положенный срок.

***

Нищий, годами сидевший у Красных ворот
Храма, был хром от рожденья и жил подаяньем.
Он попросил у Петра с Иоанном, и вот,
те углядевши в душе его свет покаянья, –
«Нету, – рекли, – у нас золота иль серебра,
но подадим от Иисуса тебе исцеленье:

встань и ходи»... И колени его, как вода
тряские, мигом окрепли, и, словно олень, он
ходит и скачет, как серна ль, у Красных ворот.
«Вот и хромой», – люд глядел, как скакал он
средь пыли.
И многолетний обман заподозрил народ.
И исцеленного злыми камнями побили.

***

Индустриализации дымы
качались в небе. Смазавши наганы,
и не довольствуясь одним
гудком бесплатным заводским,
«котлы» снимали с граждан уркаганы,
и мы рождались с наступленьем тьмы.

***

Нет ничего страшнее правых дел,
ну, разве что, неправые, но те хоть
не прячутся за правоты пробел...
Куда бы нам уйти или уехать?

***

Кладбище нагое,
как горе... Смотри –
так вот что такое
«земли» «пузыри»:
то пучится почва,
надрывом могил,
кустарник чтоб молча
меж ними ходил.

***

В утробе – стать монастыря,
на праздник в «зимнем» храме,
сойдясь из дальних деревень

дорогою большой –
кто молится перстами лишь,
кто молится устами,
кто молится ушами, кто
соблазном иль душой.

***

Чуть детства невинная маска спадет,
враз в щели морщин глянет древний народ –
и взглядом голодным наполнит глаза,
и все же безродна душа-егоза.

***

Наступает момент,
когда можно спастись
легкомыслием лишь –
им и прежде спасались –
в легкомыслии есть
и паденье, и высь –
кому – хлеба на труд,
кому – водки на палец.

***

Под горчичными ветвями
им слетаться не дано –
птицам, что давно склевали
то горчичное зерно,
то, которое – всех мене,
а коль всеяно, дает
больше всех тенистой сени,
укрывающей полет.

***

Как прах, что приобщили
ко праху и крестом
навеки отличили,

где «до» и где «потом»,
так одинок на тризне,
как совесть или сон,
вдруг знание от жизни
не отличает он.

***

Ушел, как оглашенный,
раскаяньем палим,
из храма столь блаженно
воздвигнутого им –
из каменного рока,
из извести веков
в нарышкинском барокко
кудрявых облаков.

***

Пересчитывая стопы,
словно мелочь – крохобор,
вы полны высокой злобы,
но бескрылы, как укор –
кто вы? – камень ли в полете,
опустевшая ль праща? –
но лица не обретете,
маску тщательно ища.

***

Вдруг настанет день, когда
не настанет света,
прошлогоднею листвой
сухо прошурша,
за пустынною весной
не настанет лето,
за чуть теплым летом вслед –
осень хороша.

***

Близорукость – это свойство дали.
Близорука жизни злость:
в тесноты глухом подвале
сблизиться не удалось
никому ни с кем – все дальше
стискивает нас толпа
от оксюморонов фальши
беспросветна и тупа.

***

Прав пророк и потому –
страшной правотою –
раз грядущее ему
то же, что былое.
Заживут ли язвы все
под его устами,
но с рассветом ясности
времени не станет.

***

Лета миг – как будто не пил:
вековечно наг и нищ
белый, словно белый пепел,
черных посреди кострищ.
Лета миг – как будто не жил:
ночи мрак – как пепел сед,
свет твой безнадежно нежен,
словно тьмы грядущий след.

***

Короче этот выдох
табачный и, увы,
родившись от убитых,
всю жизнь они мертвы –
до рокового жженья
в груди, до седины –

зато столпы крушенья
в них не сокрушены.

В СТРАНЕ, ЧТО ПОД ВОЛНОЙ

Всяк кельт измлада знал о том,
что обретет покой
не на заморских островах,
не в небе над собой
и не в Аиде, не в аду –
под бренною землей –
в окрест лежащая стране –
в «стране, что под волной»,

что даже, лежа на земле,
ты должен утонуть,
но из «страны, что под волной»,
к нам не заказан путь –
хотя слепым, хотя глухим,
в забвении по грудь –
ты можешь к нам придти живым,
как ледяная ртуть.

***

Узы дружбы – узы все ж:
цепи, кандалы:
никуда ты не уйдешь
от себя, от них,
и скрываются друзья
в той же, брат, дали,
чей зазор меж нас всегда
был не узок ли?

***

Как из синя моря,
как из дальней дали
ко берегу волны
ползут, подползают,
сединой увенчаны,

вретищем прикрыты –
кланяются низко,
а глядят высоко.

***

Всяк, кто жил без крова,
знает и без слов:
ночью небо – прорва,
а днем небо – кров:
ипостась ли ада
или рай хорош –
ночью небо – правда,
а днем небо – ложь.

***

Хотя они безгрешны
и духом высоки,
как в небесах скворешни –
до гробовой доски
им надобна соблазна
испытанная власть:
быть ангелом опасно,
поскольку можно пасть.

***

Я еще не знаю, брат,
сколь тенист Аид,
сколь смолой своею ад
до краев налит,
но давно звучит во мне,
словно лейтмотив,
ностальгия по земле,
на которой жив.

***

Ветер, воющий по-волчьи.
Среди бела дня – огни.

Электрические ночи.
Электрические дни,
когда свет не поглощает
окружающая тьма,
но как легкое отчайнье
в нем замешана сама.

***

Весь иудаизм твой, предвечный Господь,
есть лишь Откровения крайняя плоть.

Весь социализм наш, трехзначный Господь,
был лишь Откровения крайняя плоть.

Неверия плод надкусивши, Господь,
Твой нынешний люд – только крайняя плоть.

***

Ах, Сирах, впрямь не жаль ведь
нам заклинателя,
когда его ужалит
ослушница-змея –
смеется созерцатель,
а я своей стезей
иду, как заклинатель,
ужаленный змеей.

***

Я три года жил среди
Беловежской пущи
и средь окружающей
тосковал среды –
даже чем красивей лес,
поляна ли – тем пуще –
об огромном городе,
где-то впереди.

Никакой не урбанист,
но тем ведь и печальней –
без теорий – просто так
тосковать во сне,
на проклятом ли яву
хоть по Ново-Песчаной
иль по Горьковско-Тверской
гранитной кривизне.

Нагляделся я болот
под Пинском – это доля,
это рок, а не земля
и не водоем.
Я согласен с куликом,
и не напрасно поле
названо Куликовым, –
за ним же отчий дом.

Нет, березок лапать мы
напоказ не будем,
свою дурь исконную
пробивать в закон –
кто по городам скучал
сильнее, чем по людям,
без которых город сам
пусть и незнаком.

***

Как объятые счастьем двое
вдруг объятыми всей вселенной
ощущают себя на миг лишь,
но за миг этот жизни ложь
всю отдашь той же необъятной,
той же длительной и нетленной
ледяной пустоте, к которой
в одиночку всю жизнь идешь.

***

Не в новом районе,
не в дальнем краю

таежном – нет, я
заблудился в раю,
где дерево жизни
средь чащи в ночи
от древа познанья
поди отличи.

ОДА НА СОРОКАЛЕТИЕ ВОЗЛЮБЛЕННОГО БРАТА

«И навсегда простились с небытьем».

Ахматова

Чрез изуверство иль веру, но люди не зря
братства отвека взыскуют, взыскуя добра:
кровью Господней иль ближнего кровью хотя б
кровно по-братски навеки связаться хотят.
Несть же замены насущнейшей этой нужде,
ибо без братства живут они в кровной вражде,
ибо ничто не связует их крепче, родней:
дети уходят из лона своих матерей;
Авель Адамом и Каин Адамом рожден –
рознь породивши, Адам понимает: не он
создал их, чуя в жене сокровенный обман,
что за порок первородно ему богодан.
Сводится к братству людская тоска по родству:
хочется сыну и хочется старцу-отцу
либо сынами единого Господа стать,
либо, сыскав Богоматерь (единую мать),
чистого братства безгрешно достичь. И не зря:
братству земному основа – та кровь, что земля
первый раз выпила из человеческих ран...
Братство земное стоит на крови, словно храм.
Пусть же любовь от себя укрывается в скит.
Дружеством Иов по горло коростное сыт.
Узами братства да свяжем развал наших дней –
связи отвека отраднее нет и трудней.

Брат, сорок лет, как мы братья – за этот же срок
пустошь свою Моисей, наконец, пересек.
И оттого ль, что запомнил младенчески я
несколько лет твоего с нами небытия,
я понимаю яснее, за что же мы пьем

в день твоего расставанья с небытием:
празднуем мы бесконечной пустыни конец,
а не начало слепое. Не так ли, отец? –
вечным молчаньем слова мои днесь подтверди,
сына поздравь с мирозданием – алаверды.

***

Три раза ты приснилась мне, но первый раз
коварно:
когда к смеющейся тебе я было прикоснулся,
как рыба, обернулась ты моей подружкой
прежней,
и смех твой простодушный стал ее злорадным
смехом.
Когда же ты решилась вновь присниться мне,
я было
уже смеющейся тебя коснулся, но внезапно
прозрел и вынырнул из сна, как из пучины –
рыба,
но долго слышался в ночи твой смех, как день,
невинный.
Когда ж ты в третий раз пришла тревожить сон
мой грешный,
и я смеющейся тебя не «было», а коснулся,
не тело обнял я, а смех бесплотный и
беззлобный,
устами тронув не уста – какой-то детский лепет.

БЕЗ ОДИНОЧЕСТВА

Про одиночество я врал
и самому себе скорее –
я – человек, и слишком мал
для одиночества – имея
друзей и братьев, Галатею,
был одинок я не вполне,
но я был одинок пред НЕЮ:
со смертью всяк наедине.

Тогда ЕДИНСТВОМ называл
я одиночество кичливо.

Но одиночество – развал,
предательство, забвенье, либо
такое царственное диво,
какое не под силу мне.
Передо мною кружка пива:
со смертью всяк наедине.

Но я тогда от счастья вел
счет одиночеству. В итоге
его и вправду я обрел,
но только как иголку в стоге.
А мне б рассчитывать о Боге,
которого я был извне...
Снег отрясая на пороге,
со смертью всяк наедине.

Вот снег тот вправду одинок.
Но мы-то здесь, но мы-то дома.
За нами щелкнувший замок
звучит, как музыка, без взлома.
И мы беседуем. Истома
недугов, бед – души на дне.
И там же жмется аксиома:
со смертью всяк наедине.

Зима все злее, видит Бог,
зима – мерзавка, недотрога.
И мы сошлись на огонек,
диковинный в ночи – нас много,
но одиноки мы убого
и в единении, зане
без одиночества – без Бога –
со смертью всяк наедине.

4.

***

Не в высях простертых,
а где-то у нас
как прежде, растет он,
растет про запас –
пусть гол и безлюден –

не там и не тут –
но ангелы лютые
рай стерегут.

***

Все движения природы
столь незримы – ни частиц
мы не видим, ни микробы
нам своих не кажут лиц.

Но гляди – девица... Мы с ней
чуть знакомы, но ей-ей –
неподвижнейшие мысли –
под игрой ее кудрей.

***

Хоть сыплется струйкой
точнейший песок,
хоть станет разлукой
и мелкий поток,

о коем Державин
или Гераклит,
когда жизни жаль им,
толкуют... Но влит

в движенье первичный
покой. И извне,
но вечность статичной
мерещится мне.

***

Грамотность нужна нам, блядь,
поголовная, как стадо,
чтобы всякий мог, коль надо,
но донос, а написать.

Грамотность нужна нам, блядь,
вездесущая, как атом,

чтоб не Пушкина – куда там,
но повестку прочитать.

***

Не город мертвых – град кумиров,
град памятников – их мундиров,
сапог испанских, галифе,
шинелей длинных и т.д.
Здесь конь Калигулы отлитым
по пьедесталу бьет копытом,
град указующих десниц,
гранитных брюк, жилетов, лиц.

В порядке наших дел амурных,
как мусор в столь помпезных урнах,
давай же встретимся с тобой,
где всенароднейший герой
окутан бранной славой,
стоит палач безглавый.

***

И.Б.З.

Да, мы не верим в привиденья –
невидимы – но обретясь
в незримом мире, в запредельном
они-то сами верят в нас?

***

Любовь и ненависть, позор, добро и зло –
что было, то как раз и не прошло,
а то, что не бывало,
как раз и миновало,
как холода не ставшее тепло.

***

Завороженно, чуть дыша,
мне видеть довелось,

как между леса-миража
бежал бесшумный лось –
в лесу, пригрезившемся мне,
сей лось мелькнул, как сон,
но как Плисецкая горе
вздымал колена он.

***

Белый день – то рай Господний.
Ночь черна – то ад напрасный.
А уж сумрачно, ненастно,
надо быть, во преисподней.

***

Что ж было? – похоти гульба? –
поди теперь пойми –
ведь я был пьян, она глупа,
и всё забыли мы.

Ан помним эти времена,
как взятые взаймы,
хоть я был зол, она пьяна,
и всё забыли мы.

Но друг без друга всяк из нас,
как нищий без сумы,
иль, как без хохота паяц,
раз всё забыли мы.

***

Не грядкой дерна в мире кратком,
не вздохом вечно молодым,
а станем мы миропорядком –
ведь мы и были им.

***

Сосулькой с неба к нам стекла.
Вокруг нее – тела, тела
холодные – тепло их переходит
в ее извечный холод –
ведь холод вечно алчен до тепла.

***

Дождь всенощной утром
курится, как дым,
но зрением утлым
мы видим за ним –
пусть тускло,
пусть слепо
«дождь в глине увяз»,
что зоркое небо
глядит не на нас.

***

Сквозь безвозвратность лживую
все в мире ярче, но
обратной перспективою
искажено:
как будто погрузился всяк
предмет себя на дно,
и стало явственней, чем знак,
лица ль, души пятно.

***

Август – иль как не бывало
лето? или даль честна?
Август? – не конец – начало,
август – осени весна.
Август – созреванья сгусток,
но у августа тайком,
как у автора «Августы»
в теплом горле – снежный ком.

***

Судьбы такая малость
осталась нам с тобой,
но то, что миновалось –
осталось: голубой,
зеленый цвет и алый
иль белый – пусть она
судьбы
не миновала –
гнилая желтизна.

***

Полное забвение (напрасно ты
ищешь то, что в глубь тебя ушло) –
как оно походит на стекло,
к коему из внешней тьмы притиснуты
сотни жутко искаженных лиц –
всею глубиной души вглядись:
ты ж не знаешь их в лицо, но я тебе
пропастью клянусь – ты знал их по
имени или рукопожатью,
по вражде иль едкому объятью...
полное забвение препо...

***

Нет, русалки не лгут,
даже если солгут –
они НЕ ГОВОРЯТ –
это кажется только –
разве только поют
в унисон и не в лад
безурывно и тонко,
на деревце сидя,
на водицу глядя
или на беспутицу гибельных болот.

***

Нагл белым днем, стал под вечер уныл,
ИСПОВЕДАЛЬНО главу ты склонил
пусть над газетою, пусть над едой,
пусть над подружкой своей молодой,
но да покроют мирок твой миры
епитрахилью вечерней зари.

***

Л.Н.Г.

Раз представ пред Господом,
вопрошу грешный аз:
«Вправду ль грешники космосом
станут, в нем распыляясь?

Значит, мир – не гармония,
и на звездном огне
вечно длится агония
сопричастных вине?

Ай да сферы небесные! –
значит, вот где Твой ад! –
Где же держишь ты, Господи,
тех, кто не виноват?»

...Но пойму в безответности
суету своих слов:
не увидеть нам вечности
ни в какой телескоп.

***

Если бы не все на свете,
если бы ни я, ни ты,
сколько раз пустоты эти
стали б всплеском полноты,
и восточной сказкой – сухо
в горле, угасает глаз –
обернулась бы разлука
тысячу и один раз.

***

Как заметил иудей,
прославленный пением,
создал Бог допреж людей
людское спасение,
без которого, мой свет,
человеку спасу нет.

***

Ведь он на вид
поэт, но видит Бог:
воск не горит,
а плавится... и впрок.

***

И. Б.

Если боль настолько одинока,
одиночество страшнее, чем Освенцим.
...Так идет он от итога до итога
«с гордым оком и несытым сердцем».

***

Не в приволжском городишке древнем –
в городе голосовавших рук,
возле Академии Наук
корчатся весенние деревья,
словно изваянья адских мук –
тех, что терпит ныне тот,
за кого нас мука ждет.

***

Не ведая про стыд,
но опуская веки,
понятия «прости»,
не ведая пока,
праматерь говорит,
сорвав познанье с ветки:

«Не век же Он ворчит
и гневен не на веки,
и нас с тобой простит наверняка».

***

Более чем три недели,
вставши прямо под окном,
и качались, и шумели
три больших шатровых ели,
и предельно надоели,
как несбывшаяся песнь –
просто ели – неужели
могут эдак надоесть?

***

Не туфта эпитафий –
остаются впросак
лишь черты биографий,
искаженные, как
крон венозные линии,
чуть листва станет небом,
обожженная инеем,
обожженная снегом.

***

Перед тем, как отвечать главою,
вернее – вечною душой,
скажу я: «Боже, пред Тобою
я согрешил – но пред Тобой.
Пусть в словоблудие облек я
простое, словно хлеб, «прости»,
но согрешил, как человек я,
а Ты, как Бог, меня прости».

***

Звон твой, Джон Донн,
или кубков на тризне –

что означает сей звук? –
с райских времен
смерть – условие жизни
невыполнимое, друг.

***

Природа темно-синяя
огромна, но одна –
в ночной рубашке инея
она насквозь видна...
Но рассветает: вёдро –
белей, чернее лес,
и беспросветен гордо
природы пышный блеск.

***

Как пословица избита
в мире всякая дорога –
шин узор, сапог, копыта,
птичьих ли следов кресты –
и ведет она, как прежде,
в Рим транзитный от порога –
так оставь свои надежды
в отчем доме и иди.

***

Они как люди – ведь
и в них Бог с виду ярок –
они умеют петь,
ласкать детей, овчарок.
Покуда мы горим,
они поют, рыгая,
про ласточку один,
другой – про нахтигаля.

***

Так всякий миг земли вокруг
сияет солнце где-то,
и ночи черный полукруг
вневременен – он властен
над местом лишь (и тем темней
всё зло его), но света,
но Тайной Вечери Твоей
мир всякий миг причастен.

***

Поднимите взоры, лица –
без перстов касанья ясно:
только человек и птица
созданы крестообразно –
в пропасть тот свою стремится,
та – в заката позолоту –
только человек и птица
век обречены полету.

***

По правде сказать, я не верю в циклонов разор –
в обрывы ветров и клочки атлантических туч –
меня занимает проблема заоблачных зорь,
меня занимает извечный заоблачный луч.

***

Вверху? Внизу? Нет, где-то,
скорее сбоку – ад.
Воскресшим нету сметы
по сокрушенью врат.
А вот и Евы явлен
бесспорный образ нам
и с нею – травоядный,
бесхитростный Адам.

***

Сперва тебе из-за беды
не видно бед чужих.
Но те, кого забыла ты,
забудут о твоих
несчастьях, ибо меж тобой
и ближними – стена –
ты им незрима за бедой –
беда у всех одна.

***

Поначалу свежим летом
солнце светит без заботы.
За девичьим силуэтом
ночи полуобороты
столь прозрачны.
Осень следом –
разлучения, излеты –
плоть с душой, как тьма со светом,
в полумраке сводят счеты.

***

Свято место пусто
не бывает, но
если свято. Русь-то
вспять святить грешно.
Не бывала небыль.
Нет добра во зле.
Были кресты в небе,
а теперь в земле.

***

И ты, от срока
отставший срок,
и ты, осока,
и ты, лесок,
и ты, воочье –
заря без сна,

как белой ночью,
ты днем черна.

СНЕГ

Он сер, как штукатурка,
он серовато-бел,
как с летнего окурка
осыпавшийся пепл –
ишь, сколько налетело –
холмом глядит ухаб.
Захолонуло тело,
и ветхий дух прозяб.

***

Обособилась особь,
но с ногами или нет –
змий не гад – это способ,
это – эксперимент...
Иова расспросите,
сколь божествен искус...
Саваоф искуситель!
Искуситель Иисус!

***

Язык из нас
рвут на корню беззвучно,
не речь, а со-
кровенный смысл ее;
не звук – душа
окружена ушами
бездушными,
но слышащими все.

***

Я только лирик, потому мой рок,
мечтать хоть о комедии не впрок –

пусть в ней полупрозрачный персонаж
вдруг вечности заглянет за корсаж,
чтобы под тканью вспученной найти
чуть различимые наземным человеком,
далеким переполненные млеком
холмы ль, ухабы Млечного Пути.

***

Вот в чем напева диво
насущнейшее – коль
в беспамятстве порыва
ты хладен, как огонь
незримого недуга –
души поверхность, гладь
бестрепетна, как фуга –
пучины благодать.

***

Как связанные нитью,
они всегда вдвоем –
агония соитья
с самим небытием
(меж ними одночасья
мгновеннейшая синь) –
и к вечности причастья
агония... Аминь.

***

Недуг – печная тяга
из песни в небеса.
Так где ж друзей ватага –
пускай погреется.
Топчан. Пустая полка.
Свеча. Иконостас.
Недуга вся недолга
недолговечней нас.

***

Лишь в вере – правда и порука,
но Молхово лесное ухо,
Петром отрубленное вдруг,
вещественнее всех порук:
чем несуразней, тем вернее,
тем достоверней этот штрих
для нас слепых, как лотерея,
как ухо Молхово глухих.

***

Лежала секира
при корени древа
грядущего мира
во знак.
Но высохли корни,
секира истлела,
забыв об исконных
плодах.

***

Жизнь состоит из рока.
Это так.
Река ль, поток, дорога –
это он:
нас из созвездий
сочетавший мрак
в нас, где невесть,
но где-то заключен.

***

Из разбойников трех,
трех заблудших овец
одного лишь обрек
на кончину творец,
взят второй в райский сад,
раз уверовать смог,

за Варраву ж распят
сам, о Господи, Бог.

***

Дар речи – дар слышанья, слуха.
И хоть благозвучней ручья
звучала разумно и сухо
стихов запредельность твоя.
Узор твой так тщательно вышит,
красы же невиданной сей
имеющий душу не слышит
посредством улиток-ушей.

***

Снег пожизненно сер.
Дни глядят «из-под льдин».
Жизнь у нас в СССР –
пересчет годовщин –

пятилеток ли гиль,
иль столетья зазор –
и с каких это пор
стала небылью быль?

Пусть не мир – лишь мирок,
но сгорает слепя.
Всяк из нас – только срок:
годовщина себя.

***

Но через сорок дён
от мира отойдет,
не оглянувшись, он –
всё зная наперед,
в край миновавших тайн,
числа которым несть,
о том, что вечно там
и не случайно здесь.

***

Фамильный ли фарфор
усадебного пруда.
Фамильно серебро
заиндевевших лип.
И даже просто снег –
его алмазов груда –
всё крадено, всё
вам не принадлежит.

***

Внеслужебные деревья.
Внеслужебная вода.
Первых листьев оперенье
внеслужебно, как всегда.
Внеслужебны облак гребни.
Два по слякоти следа.
Только люди внеслужебны
не бывают никогда.

***

Что гробница для пророка –
у него повыше кров –
это памятник и только
злодеяниям отцов.

***

Воспоминания, помноженные на
неповторимость бывшего – в итоге
дают забвение. Забвения ж блесна –
как зеркало, в котором столь убоги
действительность и то, что так ясна
она в конце пути, и край дороги.

***

Если – где? – да где угодно:
иль в метро, иль на проспекте,
даже в доме – за окном ли,
иль за дверью – голытьбе
коридоров – где б ты ни был
поименный? анонимный? –
но – нет-нет – а чей-то оклик
вдруг послышится тебе –
это что-нибудь да значит
пред- иль просто знаменует
ну, а что – известно только
безалаберной судьбе.

***

Был человек невидим смерти,
прозрачен был – невидим смерти,
проточен был – невидим смерти,
и оттого так долго жил.
Но был он до того невидим,
что сам он никого не видел
и, с ней столкнувшись, вдруг увидел
всю смерть – как в небе тьму светил.

***

Все началось само собой,
чей трубный глас позвал на бой?
Все кончилось само собой,
и некому трубить отбой,
папаша...

***

Пир горой. Глубока посуда.
Боже, из одного сосуда
наполняешь Ты до свершенья –
чашу ужаса, чашу блуда,
чашу гнева ль, опустошенья.

***

«Истлели зерна
под глыбами своими»,
курится сор на
разрушенных полях,
даже скоты
ко Богу возопили,
и только ты
безмолвен, словно прах.

***

Чуть вдохнет дитя
вечной жизни –
выдыхает плач
человечий.
Вместе с плачем
старец убогий
выдыхает бренности
вдосталь.

***

Исчерпанный убог
Иаковлев колодец...
Ветхозаветный Бог –
судья и полководец
раздался до краев
земли, и вы найдете
везде издревний кров
ветхозаветной плоти.

***

Так что ж нас ждет, скажи же ради Бога –
казенный дом иль дальняя дорога?
могила, что укромнее подлога?
Души ли взвесь – бишь смесь добра и зла?
– Гнедой огонь Пришествия Второго,
и белый дым Пришествия Второго,

и черный угль Пришествия Второго,
и бледного безвременья зола.

***

Всякий путь ведет нас
туда иль обратно,
а куда ведет нас
наш беспутный стих:
чающий-то чает
для чающих, брат, но
ищущий-то ищет
НЕ для ищущих.

ПЕПЕЛ

Ты съеден нашим пеклом,
и, как заведено,
твой пепел смешан с пеплом
сожженных заодно
с тобой – в одну декаду?
иль месяц – знать бы надо,
но знать о том, нам смертным, не дано.

Там свой режим. Но ясно
одно: в геенне той
небрежно-безобразной
из кучи из одной
по пепельницам вас всех
распихивают наспех –
в белесый гипс – ваш пепел чуть живой.

Вот равенства и братства
бесхитростный предел.
Бывали, правда, раз-два,
что в урнах этих тел
не находили гари –
они то пустовали,
то полнил их того же гипса мел

или земля – бесславья
предел наш. Тут ясна
в пределах православья

обряда новизна
и новое уродство –
«издержки производства»,
издержанного, как царем – казна.

Не знал ты свальной казни,
не строил ты канал,
убит в бою под праздник
ты не был наповал,
и все же братской свалки,
как все, не избежал ты –
и хоть посмертно, без вести пропал.

С чьим прахом прах твой смешан
и навсегда стеснен?
Не слишком ли небрежен
был шанс? Она иль он?
Они? И кто такие?
Темно, как всё в России –
все смешано, темно, как страшный сон.

В сырой декабрьский холод,
в апрельский водостой
на чью могилу ходим
мы взбалмошной семьей,
за чьей могилой нам бы
ходить прилежней, дабы
прилежнее ходили за тобой?

Под нашими цветами –
она или они?
Вдруг смрадный грешник с нами,
а праведник? так дни
его поминовенья
не зная к сожаленью,
мы чью-то тень и огорчить могли.

Кто на твою могилу
в Родительские дни,
в дни скорби ли по сыну
приходят – кто они? –
кто над тобой на Пасху
пьет водку без опаски –
чьи дочери, чьи матери, сыны?

Возможно, что ты в разных
захоронен местах –
и скромно ль, безобразно
твой украшают прах?
иль вовсе позабыли
о ком-то, о могиле?
иль это урна в стенке и цветах.

Нет, множество деревьев,
быть может, над тобой,
цветов – красивых, редких
сортов – старик седой
какой-то их сажает
и сам того не знает,
что оба вы породы с ним одной.

Одно могу лишь знать я,
что мать, а также мы –
сыны твои и братья
с тобой погребены
на кладбище на нашем
никак не сможем – ляжем
мы с кем-то вовсе чуждым нам, увы.

...Ольха, березы, дальше –
старинная сосна,
жасмина куст удачный,
еловость, кривизна
тех слег, что мы с братьями
срубили наспех сами
там, где давно ограда быть должна.

Пред кем мы виноваты
за то, что видит Бог,
небрежно, небогато
могилы этой клок
ухожен – перед всеми
сожженными – пусть семя
взойдет над ними хоть из этих строк.

И вот мы год за годом,
когда заведено,
стоим здесь над народом
кремированным, но

и над тобою, ибо
здесь все же твое имя
среди нагих дерев погребено.

***

Не зря и не втуне
былая краса
владеет так юно
чертами лица.

Как стан ее гибок,
старинный набор
столь пылких улыбок –
и кажется – вздор,

не властны нимало
над ней времена...
Но вот задремала
на солнце она,

и юности тает
рачительный след,
и сон раскрывает
лицо, как секрет,

как тайну... И вместо
покоя на нем –
вдруг выплеснут резко
морщин водоем.

СЛАБОУМНЫЙ МАЛЬЧИК

Больной, нелепый малый –
чей плащ ему до пят? –
лицом с улыбкой впалой
на слабой шее – в такт

шагам нетвердым – дробно
качает, и добра
его улыбка, словно
он рад дыре двора,

дождю и лужам, маю
плакатов и знамен,
и словно помовает
всему на свете он.

***

Мы – словно приезжие в собственном городе.
Нам
в нем так анонимно – не верим своим именам.

Нам так незнакомо в толпе, набухающей днем –
своих отражений в витринах мы не узнаем.

А ночью так тихо, так призрачно нам, хоть кричи.
Невнятны нам крики за окнами в пьяной ночи.

Меняется город заочно и исподтишка,
и не узнаем мы в лицо его издалека,

вблизи ли: сливаются в общем массиве дома –
всех микрорайонов его долговая тюрьма.

Но чуждые лица до боли знакомы... Постой –
мы сами – морщины всеобщей безликости злой.

Мы сами проездом в столице. Нас ждут поезда.
Но только не знаем, откуда мы или куда.

***

Всё в городе близко,
всё в городе рядом –
части света и небес
тусклые светила:
рассвет за соседним
заоконным домом,
закат за гостиницей,
но для иностранцев,
иль луны воздушный шар –
меж домов в просвете,
иль Венера – за углом
высоченной башни.

Всё в городе близко,
всё в городе рядом:
вечность разлученья здесь
на метро покрыл бы
ты минут за тридцать,
просмотрев газету...
Меж смертью и жизнью здесь
тоже ходит транспорт.

***

Смерть зазор-
на, как зачатье.
Долу взор
свой опустив
иль горе воздев,
молчать и
прятаться в напев...
в мотив.

***

Кто ж – не поэт? –
фантазий наших шалость –
в них смысла нет,
есть счастия печаль...
К истокам отчества,
где без тоски дышалось,
кому ж не хочется,
но хочется ли впрямь?

***

Я один как один, –
думалось кретину –
не попал в равелин,
попаду в куртину.
Жизнь – есть рок иль фантом, –
думалось невежде –
после нас – хоть «потом»,
а до нас – хоть «прежде».

***

Все то, что было, как сейчас,
не испарится вдруг –
спроси у уст, спроси у глаз,
спроси у ласки рук:
как моря вечная гряда,
как слитность псковских рек –
пусть то, что было, навсегда
останется навек.

***

«Heirs of shame»
Shakespeare

Пора перебеситься
нам с вами, господа,
наследники бесстыдства –
наследники стыда,
пора идти под окна
того, что днесь – наш дом,
и завещать потомкам
бесстыдство со стыдом.

***

Вот рецепт бескрайней воли:
прибывший издалека,
сыщик ищет ветра в поле,
ветер ищет сыщика,
и от холода так душно
за бескрайнюю страну,
и тревога так воздушна,
как в минувшую войну.

***

За деревней – выселки,
за выселками – лес –
сперва сосновый, лиственный
затем в овраге, где
в глубине черемуха

ничком лежала без
оперенья белого
в цветов чужих орде,
а после за стволом ее –
еловый «черный» лес
стоял над хвоей выцветшей
в еловой темноте.

***

День поздней осени без края.
Кирпич листвы. Печной дымок.
Ночь, словно бабочка ночная,
слетается на огонек
и засветло к тому ж. Не вечен,
как черный день, как белый свет –
пусть обернется ночью вечер
средь зимней поросли планет.

***

Кто сей «большак»,
пусть только наизнанку,
просфорку дара,
как пайку проглотив,
реквием «для
королей и кардиналов»
в фельетонном тоне,
на блатной мотив
сочинивши – храм
на крови взведя без веры
за грехи свои
всем отплативший – Он! –
он из отец
сермяжных наших «наци»,
он – наш свет в окошке
зарешеченном.

***

Дай вам Бог
друзей, подруг,

вздохов и утех,
дай вам Бог
над роком взять
хоть какой-то верх,
дай вам Бог осилить их –
много разных мук
и бесстыдства своего
не стыдиться век.

***

Тамерлан или Аттила
встал над сварой мировой? –
нет, ничтожен, как бацилла
страшной язвы моровой –
он, хотя и непригляден,
как невидимый микроб,
но своих родимых пятен
ради – всех загонит в гроб.

***

Жрецы иль просто
рецидивисты? –
давясь, как будто
на службе тесной, –
кому, кому
они бьют поклоны,
крестясь своей
перекрестной рифмой.

***

А память, а память,
как море, неизгладима.
Бездонно, как память,
чуть теплое море само,
что сверху зимою
похоже на слепок дыма –
замершее море –
застывшего плеска клеймо.

***

Ночь вам будет вместо виденья,
а и глушь заместо слышанья,
а и ложь-то кривобокая –
уж завзята правда-истина.

***

Пегасу что ж всего нужней –
непониманья шоры:
незряче всхрапывает он
и мчится хоть куда.

У одного блестят глаза,
а у другого – шпоры...
Давайте же не понимать
друг друга никогда.

***

Как мир в отмеренной плоти,
во вретище ее
в сравненье с дальностью пути
сам – недобытиё:
он ловит воздух жизни сей
зиянием могил –
за хвост свой посох Моисей
так некогда ловил.

***

Как пропасти лакун,
твой полнодневный взгляд
был нестерпимо юн –
не юн, но вечно млад,
как, собственно, века,
где истовости ад:
средь пепелищ греха
огни его горят.

***

Неси скорее
дровец с крыльца
и, руки грея
о пыл лица,

гляди, как плачем
горит смола,
как ал и алчен
огонь сперва,

чтоб речь отпела,
и искор сноп,
и купол пепла
остался чтоб,

чтоб осень тлела
бы за окном,
как уголь спелый
в жару печном.

***

Надо дойти до стены, то есть до тупика
и, обернувшись, в кирпич упереться плечами:
все, что скрывалось, хоть было весь век пред
очами,
душе на миг, но откроется наверняка.

***

Снег, что ордою налетел –
белей, чем лета был пробел,
и небеса стоят босые
в закатном розовом снегу –
ни зги, ни звука, ни гу-гу –
что ж так живит тебя, Россия,
морозов ли анестезия?
Когда зима слетелась вся...
Разительна твоя краса.

5.

***

Боль – род одиночества,
раз от нас она,
как в миг боли – почти всё,
не отделена:
с трепетной опаской
спрятав под белье,
как камень за пазухой,
носим мы ее.

***

Человек одинок,
как в груди клинок.
Человек одинок
с головы до ног.
Человек одинок,
словно во вселенной Бог.
Оттого, что виноват
с головы до пят.

***

Пусть, погорячившись,
мы охладеваем вдруг
навсегда друг к другу,
подружки, товарищи,
все же есть тепло в нас
и в бешеной стуже вьюг,
потому что «Бог наш
есть огнь поядающий».

***

Когда синей гладью
станут клочья туч,
холодной печатью –
горячий сургуч,
времени и места

вечный мир скрепя,
станет наконец-то
мне не до тебя.

***

Осень. Вечер не медлит.
С наступлением тьмы
даже звуки померкли,
потускнев, как огни,
когда вкруг излученья
стало вправду темно.
...Что ничтожней отчаяния,
коль ничтожно оно?

КИСТЕР

В одном поселке,
что нынче – город,
оставив фабрику,
англичане
оставили
пролетариату
октябрьскому
нечто вроде клуба
с оградою
и парадным входом –
клуб назывался
Народным домом
и при, и после
своих хозяев.

До революций
в Народном доме
ткачи с ткачихами
пили пиво,
кадриль субботнюю
танцевали
и даже ставили
представленья:
«Разбойников»
или «Дядю Ваню».

А по прошествии
революций
в чуть обветшавшем
Народном доме
не только пиво
или кадрили
ткачи с ткачихами
затевали –
то митинг, то
«антиклерикальный»
разоблачающий
Бога диспут,
и местный батюшка,
схожий ликом
с иконой новою,
бородатой,
в конце бессмысленных
словопрений,
разбитый в пух,
говорил приходу:
«Помолимся ж
во спасенье купно», –
и клуб молился
единогласно.

...Но не о том я:
по истеченье
времен, позвольте
я сообщу вам
одну простую,
как нота, тайну:
в то лихолетье
вслед зим бездымных
бывали так же,
как нынче, весны,
и вновь трудящиеся
смотрели
«Разбойников»,
или «Дядю Ваню»,
балы весенние
затевали,
хоть и на новый лад,
но как прежде.

И заводилой
в веселье этом
был местный служащий
лысоватый
иль молодой,
или моложавый
в штиблетах и
по прозванью Кистер –
весельчаком был
и острословом
и пел людя́м
под свою гитару
романсы иль
про себя куплет:
«Шапку набок,
жены нет –
это Кистера
портрет».

Он одинок был
и гол, как лампа,
в его каморке
весенней ночью,
когда черемуха
за оконцем
лишь смеркнется
на мгновенье ока
и вновь затеплится,
зажигаясь –
так одинок
и почти прозрачен,
и призрачен,
что исчез однажды
навеки из
своего веселья;
так одинок,
что и не спросили,
как нынче в Чили
иль в Сальвадоре,
ткачи с ткачихами
у начальства:
«Куда пропал
наш веселый Кистер?»

Кто помнил Кистера –
все погибли
своею или
чужою смертью –
всё, что осталось
от человека:
лишь песня с шапкою-
невидимкой.

Упокой, Господи,
раба Божья,
чье имя кануло
в Твою вечность –
ведь Ты-то помнишь,
как звали душу,
что прозывалась
меж нами Кистер.

***

Тайна, словно тать,
прячется в нас – в ночи
ее не разгадать
и нам самим – молчи –
в удушье ли души
иль в глубине лица,
в правде или во лжи –
ни слова, ни словца.

ИЗ СИНГА

Поэт ирландский, словно брата,
обнявший дуб знакомый, вдруг
заметил, сколь зеленовата
под летней кроной кожа рук,
и другу рек: «Из твоих досок
мне выстроят крепчайший дом,
но я возьму дубовый посох
и выйду из твоих хором».

***

Уж скоро три века
сей город, увы,
как церковь-подделка
стоит на крови.

Сей город – подделка
под город – боюсь,
разлился, хоть мелко,
зато на всю Русь.

Гусиные перья
скрипят там с утра
три века... Творенье
юрода-Петра,

в чьем крылся юродстве
расчетливый бред
(сродни ему Грозный
по крови иль нет?).

Величия были
текли по усам,
и всадник весь в мыле
с коня не слезал –

сей сыноубийца –
и он в декабре
стоял средь ост-зейцев
в мятежном каре.

Страшны и скрижали
градских небылиц:
чухонки рожали
от немок-цариц...

Корабль-тритон,
город, севший на мель,
качается он,
словно впрямь «колыбель».

Град тайных убийств – что
ни день, что ни царь –

буржуй ли обычный
или комиссар.

То Санкт-Петербург,
если верить молве
иль смыслу потуг
здешних виршей листве.

В июне не в пору
белеет гранит,
там в полдень Аврора
из пушки палит.

Там ночью, устав,
предаются стыду
фригидные статуи
в Летнем саду.

О, ЛИФФИ

В начале столетья ирландец и бард
был схвачен врагами и ввергнут в амбар,
чтоб утром его, где круты берега
старинной реки, расстрелять, как врага.

Но барды в Ирландии очень ловки,
и утром, покуда дремали враги,
ирландский поэт из-под стражи бежал
и прыгнул в реки леденящий пожар.

Очнулись враги и помчались вослед.
«О, Лиффи, – к реке обратился поэт, –
спаси меня ныне от этих людей
и я подарю тебе двух лебедей».

Хоть пули хлестали, как ливень, но вот
он вышел сухим из декабрьских вод.
Когда же беда миновала, поэт
дословно исполнил свой белый обет.

***

Предстоит нам перейти границу,
хоть она нас и не разделяет –
там сержант поймать нас не ловчится
и овчарка воет, а не лает.
Стар Харон, и лязг его уключин
заржавел меж мифов берегами... –
там за боли проволокой колючей
доведется ль свидеться мне с Вами?

1986

ПРЕДАНЬЕ

Вот старца, пастыря страны, призвал к себе
тиран
и пастырю сказал он так сквозь грозные усы:
«Веди народ свой на Алтай, владыка – и часы
отсчитаны твои и срок тебе кратчайший дан».

Тирану старец отвечал: «Ты всемогущ, мой сын.
Согласен я вести народ в неведомую глушь.
Но ежели и вправду ты настолько всемогущ,
сперва перенеси туда святой Эчмиадзин».

«Перенесу», – сказал тиран. Ушел владыка
прочь.
Недолго старцу довелось народ и град беречь:
чтоб поперечную прервать в его гортани речь,
в Эчмиадзинском храме он удавлен был в ту
ночь.

***

Вот в чем печать подобья
жертв твоих, друг-недуг:
лиц твоих исподлобья
злобно глядят вокруг,
вслушиваясь в неволю
боли внутри – на дне,
все же источник боли
ищут они извне.

***

Без конца и без края,
без лица и названья
опустевшего неба
опустившийся гнет,
и на бронзе вопросов –
патина пониманья,
и на прозе ответов,
как на горле – налет.

***

В этой чаще величавой
на пути домой
до краев полны ухабы
черною водой,
черною водой, замшелой,
черною водой,
хоть жара на свете белом
стала золотой.

***

Сила ли, слабость, облик, лик –
мы коренимся в нас самих –
суглинок или чернозем
нам нипочем – в себе несем
мы тот поток, что перейти
попробуй обреченно ты:
вот уж по пояс, вот по грудь
системы кровеносной глубь.

***

Были вы – воздух:
я слушал извне,
как этот отзвук
стихает во мне,
но словесами
вы стали, как есть...
чьими глазами

теперь вас прочесть? –
знаете сами,
я стал им чужой –
чьими глазами?
чьею душой?

***

Течет вода, но отраженье
на ней недвижно. Жизнь и есть
воды подспудное движенье
куда невесть, куда невесть.
А что же дальше, бога ради,
скажи? – За треском тростников –
недвижный взор окрестной глади,
и в нем движенье облаков.

***

Как в детстве я любил ходить по кладбищу, что
рядом
с Всехсвятской церковью (давно снесли его под
дом),
и безымянные читать не имена, а буквы
и числа – сей кратчайший сказ о жизненном
пути.
...К могилам гнулись дерева и бабушки
в платочках,
и с фотографий на крестах, как прежде с лиц
живых,
сошел румянец-анилин – казалось, загрубели
безликие черты: мороз, ненастье... И тогда
не понимал я, чем влеком я был к тому погосту,
что век не разомкнет уста, объятия крестов
век не сомкнет... и почему я вроде бы стыдился
прогулок этих средь могил горбатых, но теперь
я понимаю: дело в том, что я СТЫДИЛСЯ
СМЕРТИ –
казалось мне, я подсмотрел зазорное, и стыд
мой был младенчески глубок. Да: я стыдился
смерти,
я и теперь ее стыжусь, коль с нею тет-а-тет.

***

Донага обобраны –
у своего ж порога,
осквернённые извне,
равно как изнутри,
церкви заблудившиеся
стоят одиноко
по обочинам дорог,
по которым шли.

***

Скажи, бога ради,
вдруг былого лед
не растаял сзади,
а уплыл вперед,
и в грядущем только
дней прошедших наст
предательски тонко
поджидает нас?

ОСЕНЬ

Два глухонемых
на лавке сырой,
один – стар и тих,
помоложе другой.

Невнятица рук.
Глаз круговорот.
Пронзительный звук
гримасы. Но вот,

устав от речей
рукотворных юнца,
старик невзначай
ЗАКРЫВАЕТ ГЛАЗА.

***

Октябрь трясет
падучей листопада,
и что ни год,
то явственнее нам:
и ты, и я –
давно в преддверье ада –
прощения
по разным сторонам.

***

Все воск, да воск...
Так где же пламя?
Нет искры? Фитиля?
Иль нет чего гореть огню во имя,
все прочее испепеля?

***

Какой уж там верблюд иль чудный град,
иль беличья распластанная шкурка –
но как походит на души разлад,
или на мозг блаженного придурка
юродивого облака разряд.

***

Настала эра... переворотов,
и, как предсказывал Достоевский,
безбожники впрямь друг к другу жались
в объятьях или в трамвайной давке,
в бараках или же в коммунальных
перегородках квартир дремучих,
в «телятниках» иль в полей застенках
колхозных – но не любови ради:
погибель стиснула их, связала,
но узами одиночеств только:
так в царстве разума, в царстве братства,
не чуя ног своих – только плечи,

овца немыслимо одинока,
хоть и несома волной отары.

***

Не в злато и не в латы,
не в шелка яркий цвет –
всяк ком земли когда-то
был в саван свой одет,
и были его крылья
не за спиной – в груди –
ком злого изобилья
безоблачной земли.

***

Не распахивая, как
летом – сжав людей в кулак –
средь пространств и полумер
безответный дует ветр –
из таких он дует сил,
так решительно и резко,
будто что-то натворил
и желает отпереться.

***

Так пышут златом купола,
холодным пышным златом,
так снежна даль сгорит дотла,
сожженная закатом –
так на устах не крови вкус –
потерянного рая –
что испытал терновый куст,
горевший не сгорая.

ДОЛИНА СЛЕЗ

Один из юношей младых,
пройдя сквозь вереск грез,
лег на постель свою, сказав,

что жизнь – долина слез:
долина слез, долина слез,
а не долина грез,
в ней плачет малое дитя
и воет чей-то пес.

От роду не было юнцу
и двадцати пяти,
но он с постели не вставал
и не хотел идти –
идти? – куда? – в долину слез?
в долину длинных слез,
чтоб из погибели людской
лиловый вереск рос?

Вовек недуг не брал таких,
как сей молокосос –
напрасно лекарь приходил
и задавал вопрос:
«Быть может, у тебя бронхит
или туберкулез?»
Но юноша его прогнал
назад – в долину слез.

К нему сам пастырь приходил,
ему священник нес
причастия облатку, но
он мнил долиной слез –
долиной и юдолью слез
весь мир – юдолью слез:
«Я лег, чтобы скорей поднял
меня Иисус Христос».

Вот так лежал он сорок лет
среди седых волос,
пока в могильную постель
сосед его не снес,
покуда прах его не снес
сосед в долину слез,
и там он вновь лежит поднесь
среди крестов и роз.

И там он вновь лежит поднесь,
и с привиденьями,

когда они встают в ночи
его не видим мы,
да, в их толпе не видим мы
его в долине слез
и, знать, увидим лишь, когда
придет Иисус Христос.

***

Заутра с Елеонской Он сошел ночной горы.
Средь храма будущих руин учил слепой народ,
свидетельствуя о Себе лишь словом до поры –
до часа, что к Нему, как тень, сквозь солнцепек
грядет.

Его глаголы вдруг прервал многоголосый крик.
Из полумглы священных стен Он вышел в
полдня тьму:
толпа кипела – каждый в ней был лишь чужой
двойник –
последний, первый ли, старик иль юноша.
К Нему,

терзая, волокли жену в грязи, полунагой:
«Побить каменьями ее велел нам Моисей –
той всенародною ничьей, той круговой рукой
(Второзаконие, см. гл. 17.7)

Что скажет исцелявший по субботам?» И от
стен,
еще не рухнувших отшед, воссел Он перед ней.
И пахло от нее грехом – да, первородным тем,
и за власы ее таскал сутулый фарисей.

На камень разоренья сев, безмолствовал Исус,
не поднимая глаз на сей беснующийся сонм,
над тенью собственной склонясь, чертил Он
наизусть
«Аз есмъ свет миру» по земле божественным
перстом.

Костер толпы все полыхал. Склонившись
глубже в тень,

промолвил судьям Иисус сквозь нависанье влас,
не глядя протянув толпе безжизненный камень:
«Да верзе камень в нию тот, кто без греха из вас».

Вслед за Христом, потупив взор, родной увидев
мрак, –
пошел народ от Бога прочь, душою уязвлен –
все те, кто встанут вкруг Его страстей толпой
зевак...
и перед грешною женой один остался Он.

Растерзан был ее хитон, и волосы, как боль,
струились потом грязным по щекам ее нагим.
А Он чертил в песке перстом «О, Господи,
доколь?
Познанье истины одно – спасенье будет им».

Из ссадин кровь престала течь, небесной
синевой
налились синяки ее, и, в землю глядя, Бог
спросил: «Никто не осудил позор презренный
твой?»
«Никто, о, Господи» «И я судить тебя не мог».

Был диким взор ее нагой, метавшийся кругом:
кругом лежали камни – всяк был тих, как
смолкший крик
иль как небесна синь. Иисус чертил в песке
перстом
«Но словеса мои вовек не уместятся в них».

***

Милому Брему

Свесив голову набок
или лапу подав...
позабудешь свой навык,
добродушнейший нрав,
позабудешь и нас ты
средь заоблачных кущ –
пес печальнейшей масти
уносящихся туч.

6.

***

Не свищет постовой.
Шипенье шин все глуше.
Что слышат в час ночной
имеющие уши?

Вот садик, вот цветник,
вот улочка, вот дом их,
вот яма для слепых,
друг дружкою ведомых.

***

Ты была... но в метафорах поздних и праздных
что толку? –
замыканьем коротким сгорели сравненья дотла,
облетели все «как», «точно», «словно»,
оставивши только
разночтенье одно – в нем и воля, и плен: ты была.

***

Дождь повис на стеклах
кистью виноградной,
и созвездий летних
ускользает близь.
На всю тьму кромешную
зимы безоглядной
снега белизною
надо запастись.

***

Родимые места
смеются времени в лицо.
Не то что дома нет – снесен
весь переулок тот,
и нас самих почти что нет,
но остаются все

от дома – древний монастырь
и часовой завод.

***

Воет в трубе.
Суди сама:
свет, что в тебе
не есть ли тьма?
Кто же так прост,
как истин свет? –
и на вопрос
ответа нет.

***

В костюме иль в джинсах,
во грешной плоти
уже в этой жизни
и я, брат, и ты –
лишь сено средь стога
с иглой про запас:
мы признаки Бога
и призраки нас.

***

Как далеки края
полночной темноты.
Лирическое «я»,
лирическое «ты» –
пусть разъединены
они давным-давно,
коли не спят они,
хоть врозь, но заодно.

***

Ложка самоубийства в этом пенье,
чей глас звучит, не поднимая глаз, но

остановись же, остановись, мгновенье,
ты столь ужасно.

***

Я позвонил ей, но она была
мертва (я б наяву не стал звонить ей) –
во сне ж она сначала удивилась
и даже мне обрадовалась, но
потом в разбитой трубке ее голос
увял до равнодушья, а потом
вдруг зазвенел такою неприязнью,
что я запнулся: мы не перешли
еще от общих мест: ну, как дела, мол –
да так себе – и вдруг почти что гнев
(мы в жизни были шапочно знакомы,
а гнев, известно, век простоволос) –
вдруг гнев потряс невинную мембрану,
и все же я спросил: «Ты что и слышать
меня не хочешь?» – «Да – и видеть тоже» –
«Но ты ж меня не видишь – я незрим
и доношусь лишь сквозь подземный кабель» –
«И все равно: не смей, не смей звонить мне», –
уж в истеричных корчах билась речь.
«Ну ладно. Будь здорова». – «Никогда
и ниоткуда...» – Я повесил трубку,
наполненную визгами ее...
и, вмиг проснувшись, долго в полудреме
соображал: чем я ее обидел,
когда? иль где? – но за окном КамАЗ
полночно взвыл, и тут я тупо вспомнил,
что да: она жила еще недавно,
но после умерла, а я живу
наедине с бессонницею темной
и по сей день – во сне и наяву.

***

В царской куще Саул плачет –
пуще ярится, нежли плачет,
пуще плачет, чем ярится:
ярости шерсть растет сквозь перстни,

как в печи, в нем плач клокочет:
НЕ ВЫЙТИ ЗЛОБЕ ИЗ САУЛА.

Средь пустыни Давид плачет:
пуще томится, нежли плачет,
пуще плачет, чем томится:
отпустил тетиву Создатель –
с тетивы стрела не слетела:
НЕ ВЫЙТИ ЗЛОБЕ ИЗ ДАВИДА.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
(семь стихотворений)

1.
Словно с крыши лед
падает. Ты же – нет,
чтоб прижаться к стене – от нее
прочь бежишь. А полет
полнит весом гранит
глыб ледяных, и твое
время, сын, настает.

2.
Свежей косности клуб
перестает быть тобою,
и подушки глубь
сливается с головою,
и наступает, сын,
конец противостоянью
меж мной и не мной, и сон
становится явью.

3.
Клубящаяся косность
твердостью пустой
становится, тесная ясность –
непроглядною той
далью... и тут, и тут
немощнейший сосуд,
данный нам, сын, судьбою
полнится сам собою.

4.
Имей в виду, сынок,
когда кончается срок –
много его или мало –
кончается он с начала
и до конца: вся даль
зимы выцветает сразу –
декабрь, январь, февраль,
весны обрывая фразу.

5.
Предчувствовал ты не зря
декабрь без января –
дважды твое сбылось
предчувствие, чтобы «вместе»
переполнило «врозь» –
так, сынок, многие песни
обращаются вспять,
чтобы собою стать.

6.
Видимы ли вы нам
отсюда? Но слово «там»
условно: нельзя сказать
его впереди иль позадь
дней ли, недель, годин.
Здесь видеть нет смысла. Сын,
известно небесам
лишь то, что ты знаешь сам.

7.
Это знание – за
незнанью противостояньем
или связью их. Ни аза
не узнаём мы здесь – мы,
как нищета без сумы –
сами становимся знаньем
и пребываем, как срок,
всегда и всюду, сынок.

Декабрь 1989

***

«Благо очи́ма
зрети солнце»,
благо в отчизне
жить, как дома,
благо: ночесь
сомлев, наутро
проснуться вновь
для вечной жизни.

***

Они идут ко Мне
не сердцем, а устами,
за псевдо словесами
сердец их суть извне –
далеко где-то. Для
Меня их вопль несносен.
Но тщетно чтут Меня.
(Матф. 15,8).

***

Высоко иль низко,
тяжко иль легко,
но пока Ты близко –
мы недалеко:
Ты – фитиль, мы воска
жар и холод враз,
пока словно воздух Ты
окружаешь нас.

Раньше или позже,
но в урочный час,
удаляясь, Боже,
оглянись на нас
еще не испитых
судьбою до дна,
пока даль путей Твоих
не отдалена.

7.8.1990

Величанский
Александр Леонидович

ПЕПЕЛ СЛОВ
Том 1

Директор издательства Орешин Б.В.
Зам. директора Горжевская Е.Д.

Формат 60x100/16
Бумага офсетная. Гарнитура PetersburgC.
Печать офсетная. Объем 44 ,5 усл. печ. л.
Тираж экз. Заказ №

Издательство «Прогресс-Традиция»
119048, Москва, ул. Усачева, д. 29, корп. 9
Тел. (495) 245-4903

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., д. 6

ISBN 9785898263560